



В. С М И Р Н О В

СЫНОВЬЯ

В. Смирнов



СЫНОВЬЯ



Роман

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва

1952

УЗ 872

*...Ты скажи, скажи, моя матушка родная:
Под которой ты меня звездой породила,
Ты каким меня счастьем наделила?*

Старинная русская песня



часть
ПЕРВАЯ





I

Тропа шла от речки, мимо амбаров и житниц, перерезая гумно.

Прямая тропа эта была проложена резвыми ногами Анны Михайловны весной, в первый год замужества, когда еще была жива свекровь. Как-то поутру, проводив скотину за околицу, Анна повстречала подругек и по девичьей, еще не забытой привычке остановилась поболтать с ними. Подруги наперебой рассказывали свои нехитрые новости, и она, слушая, смеялась, точно сама была девушкой. Потом вдруг вспомнила, что у затопленной печи ждет хворая свекровь — ей не поднять на шесток чугуна с водой, и картошка на завтрак не чиншева, и в избе не прибрано. Леша, полн, спит себе в чулане, забыв, что нужно итти в лес рубить жерди, — и Анна заторопилась.

Сокращая путь, она побежала напрямик, гумнами, по высокой траве. Холодная роса приятно щипала босые ноги. Метелка и конский шавель хлестали по намоченному подолу юбки.

Эй, молодуха... гуменник торчешь! Али чужого не жалко? — громко и сердито закричал из-за тына сосед, старик Гансеев.

Маленькая, кругленькая Анна так и присела в траву от испуга.

Вот и те косяк по телям пыткам! — пригрозил сосед и выругался.

Примятая трава не успела подняться, как следом за Анной прошли на речку бабы, потом побежали ребята.

Старик Елисеев, горячий, взбалмошный человек, ругался, грозил, даже колотил малышей, не раз вбивал острые тычки, сваливал бревна, преграждая путь, но тропа была проложена однажды и навсегда, как морщина на лице, которую ничем и никогда не разгладить. Сосед махнул, наконец, рукой и сам пошелся этой попой, прямой и короткой, дорогой в капустник...

Сколько тысяч раз хожено здесь Анной Михайловной! Если сложить этот путь, наверное до неба протянется дорога. По этой тропе она бежала по утрам в поле косить, жать, теревить лен, по ней же возвращалась в полдень и, наскоро похлебав пустых шей или квасу с луком, опять бежала, чтобы поздним вечером брести здесь же, разбитой от усталости. И до чего коротка была эта дорога утром, и какой длинной она казалась вечером! Здесь, возле тропы, в копнушке сена, ласкал ее молчаливый Леша. Высокий, сильный, он поднимал ее на руки, укачивал, словно ребенка, и, если было темно и никто не видел, так на руках и нес до избы...

Этот же путь вел на речку, куда она ходила помыть белье, в капустник — за листьями для коровы. По этой тропе провожала Анна Михайловна за счастьем в Питер своего Лешу-плотника, продав телку, чтобы купить билет, и, должно быть, по ней же, по тропе, таясь от соседей, пробирался муж из Питера — без топора, пешком, в лаптях, в грязной, выцветшей рубахе, так и не найдя своего мужицкого счастья. В престольные праздники та же дорожка уводила ее, избитую, в ригу, прятала от пьяных Лешиных кулаков. Огибая мшистые углы сараев и житниц, здесь бегали ее первые ребятушки купаться в Бездонный омут, ловить щук и карасей в заросших осокой бочагах; здесь же понуро шла она с кладбища, маленькая, хуленькая, как подросток, схоронив детей, одного за другим скошенных злыми болезнями, которых не могла победить даже всезнающая лекариха бабка Фекла.

Так по этой короткой прямой тропе прошла жизнь, долгая и вовсе не прямая, с малыми бабьими радостями и большим бабьим горем.

В германскую войну муж Анны Михайловны два года пропадал без вести, в семнадцатом вернулся домой в рыжей шинельке внакидку, с двумя крестами на оранжево-черных ленточках, бритый и такой молодой, голубоглазый, что она прямо ахнула.

Будто подменили Лешу, стал он разговорчивым и непоседой. Как староста, наряжал сходки, командовал, спорил.

— Царя свергли, свобода объявлена. А народ опять гонят в окопы вшей кормить. А землю, говорят, не трожь... Да почему ж, скажем, не трогать, коли она наша? спрашивал он растревоженных мужиков. — Почему на этом свете нет беднякам свободного вздоху?

— Вздоху нет, так сдыху хоть отбавляй! — кричали фронтовики. — На войне издохнешь либо здесь — одна музыка.

Леша поправлял сбившуюся под ремнем гимнастерку, точно затыкая за пояс топор.

— Именно. Вот, гляди, всю жизнь рубил я чужим пятистенные дома со светелками, а себе обыкновенного сарая постронть не мог. Отчего это?.. Да очень просто — не дома надо было рубить богачам, а головы.

Странно слышать Анне Михайловне такие речи.

Видиное ли дело — супротив богатых итти? — бокально говорила она мужу ночью. — Попридержал бы язык твой, долго ли до греха! Живьем сожрут.

Подивился, усмехался Леша.

— Это тобой, что ли? — сердилась Анна Михайловна. — Ведица теперь!

Но очини и Народ поднялся. А народ не проглотить.

И вдобавок было темно и душно. Треснул сверчок в сенях. Леша сбежал с кровати, открывал окно, курил, вынул трубку, и, возвратившись, пропахший табаком, присел к себе Анну Михайловну, ласкал, поглаживал ее, серокаветную, как в первые годы замужества.

— Живнем, матка... чую, наше время пришло, —

говорил он, вороша ей спутанные волосы.— Первым делом — мир... Хватит, повоевали досыта. Вторым делом — земля мужикам. Дадут! Ленин, он не обманет. Видел я его на Финляндском вокзале в Питере. И в Таврическом дворце, на съезде, доводилось встречаться. Горой за бедноту стоит. Он нас не выдаст, а мы его и подавно... Власть своя будет. Никаких тебе господ... скажем — сами себе господа. А?.. Заведем мы с тобой, матка, лошадь... Земли будет вволю... Ребят народим кучу... ведь не старые еще... Заживем...

Постепенно голос его переходил в сонный шопот, срывался, затихал.

С открытыми глазами, не шевелясь, лежала Анна Михайловна у стены, боясь потревожить мужа. «Господи,— молилась она,— вразуми моего Лешу. Может, он что и зря болтает... Научи... Пожить ведь хочется... по-доброму... по-хорошему, господи...»

Брезжил рассвет, холодком тянуло из окна. Осторожно приподнявшись, опершись на локоть, Анна Михайловна подолгу смотрела мужу в лицо. От него веяло спокойствием и силой. Упрямо торчал русый вихор. Предрассветная зыбкая тень лежала на лбу; казалось, Леша, хмурясь, о чем-то крепко думает во сне.

Анна Михайловна тихонько поправляла смятую подушку, кутала мужа и себя дерюгой и, прижавшись головой к теплой, просторной Лешиной груди, забывалась коротким сном.

Леша верховодил на селе целое лето и осень, воевал с богатеями, делил помещичью землю, помогал Анне Михайловне по хозяйству, а зимой, в погожий день, попрощался за околицей.

Утираясь полушалком, она долго глядела вслед мужу, в его широкую рыжую спину; глядела на высокие, как в молодости, приподнятые плечи, на его большие ноги, обутые в стоптанные солдатские сапоги.

Муж шел не оглядываясь, левой рукой придерживал котомку, правой ладно помахивал в шаг себе. И только когда ушел далеко, повернулся, постоял — безликий, сухой, точно верстовой столб. Потом, ей приметилось, снял папаху, поклонился и пропал за поворотом.

Ушел Леша в Красную Армию, ушел по своему добровольно за новым, непонятным ей тогда, счастьем. Ушел и точно в воду канул.

А весной, вечером, идя из лесу, Анна Михайловна родила на гумне двойню. Час был поздний, никто не слышал ее крика.

Знать, еще не все силы взяла жизнь у Анны Михайловны. Радуюсь и стыдясь, понесла она домой в завернутом подоле двух сыновей.

II

Притаившись в свою старенькую, в три окошка, покосившуюся избенку, Анна Михайловна впотьмах, наощупь, положила детей рядышком на голбце¹ и бросилась искать спички и лучину. В горсти, чтобы не заронить огня, поднесла лучину, взглянула на голбец и заплакала.

Руки у нее тряслись. Лучина шипела и дымила. В розовых, то вспыхивающих, то замирающих отсветах таращились на мать, суча сморщенными ручонками и пожатками, два родных человечка, ее жизнь, больше чем жизнь — ее сыновья. Один был худенький, черноволосый, кареглазый, как она, другой, должно быть, первый, — вылитый Леша: большеногий, длинный, с синими глазенками и русым пушистым хохлом на макушке.

Мать уронила лучину на пол, прижала сыновей к груди.

Родненькие вы мои... печальненькие... два солнышка! Хоть бы одним глазком посмотрел на вас сыночек! Где ты, Леша? Где ты, или тышка? — шептала она в темноте, целуя личико, ручонки, пожки сыночков.

Сидела она надбеем малятник хохлом. Шуршали тараканы по полу. И окна грядущи звезды, они мигали, тоже плавали вместе с Анной Михайловной.

Она окончила, когда сыновья громко и дружно

заплакали.

заголосили. Вставив лучину в светец, кое-как нагрела воды, с трудом принесла из сеней корыто, достала с божницы бесценный, хранимый с прошлого года мылочек. Немножко отдохнув, выкупала ребят, натуго, как требовал обычай, спеленала в старые мужнины рубахи, сама помылась и легла.

И мягок ей показался постельник, набитый соломою, и тепла была дерюга, укутавшая ее с сыновьями.

— Слава богу, слава богу! — твердила она, засыпая. — Экое счастье мне на старость привалило... Недоем, недопью, а выращу обоих, золотеньких моих...

*

С этой ночи вторая жизнь началась для Анны Михайловны.

Она назвала большеногого, синеглазого сына Алексеем, в честь мужа, второго — Михаилом, в память дедушки. Плотник, хромой Никодим, сделал по ее заказу сосновую просторную зыбку. Она сама приделала к матице гибкую березовую жердь, подвесила зыбку и клала в нее сыновей врозь головками. Чтобы поровну поделит молоко, она и кормить их пробовала вместе, но было неловко держать ребят на руках, да и молока в левой груди оказалось меньше, чем в правой. Тогда она завела строгую очередь: если с утра первым тянул грудь большеенький, то уж в следующий раз, как бы ни заливался он, всрочая головой и ища ртом сосок, он получал свою долю вторым.

Скоро меньшеенький заболел. Анна Михайловна парила его в печи, натирала уксусом, выпрошенным у дьякона, кормила без всякой очереди и меры. Она не спала ночей, баюкая его и поминутно пеленая, словно хворь оттого должна была отступить.

Ничего не помогало. Ребеночек уже не принимал груди, посинел и таял, как лед весной. Жалобный плач его становился все тоньше и тише.

— Аннушка, голубка моя, не мучай себя и парнишку. Видно по всему — не жилец он на этом свете, — говорила сердобольная лекариха бабка Фекла. — Бог дал, бог взял... Еще один остался, ну и слава тебе...

Грех противиться воле божьей. Дай парнишке умереть спокойно.

Старуха принесла желтый надломленный огарок свечки, прилепила его перед образами, затеплила и, мелко и часто крестясь, нашептывала:

Исусе праведный, прими ангельскую душу младенца Михаила... Матерь божья, пресвятая владычица, ослобони и успокой грешную рабу твою Анну.

Не дам умереть! Не дам! — иступленно кричала Анна Михайловна, хватала ребенка на руки, согревала теплом своего тела.

Малыш лежал пластом и хрипел. В отчаянии, мать раскрывала ему рот и, славив грудь, брызгала бедую живительную питочку молока.

Были они ночь, когда и матери показалось, что малыш не выживет. Но потом ему вроде как полегчало, он перестал плакать и уснул. А через день и глаза открыл и, слабый, бледный, пошевелился на материнских руках.

Анна Михайловна заплакала и перекрестилась.

Будет, будет жив...

И точно, ребенок выздоровел, хотя так и не догнал в росте маленького брата.

Любо было матери, как заагукали и заворковали первым смехом ее сыновья. Точно голуби завелись у нее и в бе. Часто после работы, усталая, Анна Михайловна забывала похлебать щей или супу, и варево прокисло у нее в печи. Но не было такого вечера, чтобы она забыла поиграть с детьми. Постлав на стол тарелку и положив на нее сыновей, при трепетном свете дущина она подолгу любовалась на ребяткишек.

Агу, Мишенька... Агу, Мишенька... Агу, голена-стенкине мои! — приговаривала она, тормошила и водила их, пока ребята не покрывались сизыми пухлячками и не оживляли губу сердитым криком.

Нарушая введенный порядок, растроганная мать, дрожавшицею, брала обоих на руки, клала к груди, слушала, как сонит и чмокает сыновья, как теребит ее ручонками. Принимая истома одиличья, глаза заикались. Тихим, сонным голосом они нашептывали что-то бессмысленное, ласковое, известное одним матерям.

И чудилась ей широкая, залитая солнцем, праздничная улица села. Народ толпой гуляет. Гармонь туг и молодежь. Кипит улица... И вдруг точно волна по ней проходит. Расступается народ, дает дорогу ее сыновьям. Высокие, статные, идут они плечом к плечу, взявшись за руки. Пиджаки на них нараспашку, суконные, новехонькие. Голубые ластиковые рубахи вышиты шелком. Сапоги лакированные — в голенища смотрись как в зеркало. При часах ее сыновья. Из-под картузов, заломленных набекрень, выются кольцами кудри.

Идут сыновья, на народ поглядывают, промеж себя ведут ласковые речи. А народ кругом шепчется: «Чьи такие молодцы? Чьи красавцы такие?» Отвечают соседи: «Да нашей Анны... Анны Михайловны Стуковой, разве не знаете?»

Сыновья будто ищут ее, мать, а она почему-то от них хоронится. И так ей приятно, так радостно!

«Вырастила... вырастила соколов моих ясных. Теперь и умирать можно... — шепчет она, улыбаясь сквозь слезы — Летайте по белу свету, ищите подружек-лебе-душек, счастье свое ищите...»

Горделивыми заплаканными глазами провожает она сыновей. Они идут вдоль села за девушками. Она смотрит им вслед и никак не может вспомнить, где видела эту широкую спокойную спину, эти приподнятые плечи. Ей хочется забежать вперед, посмотреть в лицо и вспомнить. Не тут-то было! Руки не поднимаются, чтобы растолкать народ. Она хочет бежать — ноги ее приросли к земле...

Вздрогнула Анна Михайловна и очнулась. Щеки у нее мокрые. Чадит, догорая, лучина в светце. Ночной холод подбирается к босым ногам. Сыновья отвалились от груди и спят на ее онемелых руках.

III

У колодца, встречая Анну Михайловну, бабы жалостливо причитали:

— Экий грех... Уж не по годам бы ребят тебе иметь, Аннушка.

— С одним — мука, а тут — двойни. И чем ты господу бога прогневала?

Отмалчиваясь, Анна Михайловна хваталась, точно за опору, за журавль колодца, цепляла на крюк ведро и старалась поскорей зачерпнуть воды.

— Окаянная наша жизнь. Право слово, окаянная! — трещала ей в спину краснощекая Авдотья Куприяшова, известная на селе балаболка. — Все на бабью головушку свалилось: и сряжай мужика, и корми, и в поле от него, нечистого духа, не отставай... Вваливай, матушка! Походя ребят таскай, мучайся.

Много ты мучаешься... Без детей живешь, — напоминала Дарья Семенова, не любившая Авдотью за пустой язык.

Тя размашисто крестилась.

— И слава тебе, господи! Радехонька... Вот как радехонька! Но крайности под окошком милостыню не собираю.

— Я собираю? Да? — гневно спрашивала Анна Михайловна, оборачиваясь. — Попросила я у тебя хоть кусок?

— Еще не известно, матушка, может, и попрошусь.

Расплескивая воду, Анна Михайловна рывком поднимала ведро.

С головой начнудохнуть — не попрошу.

*

У лошади у Анны Михайловны не было. Чтобы вспахать свои узкие, как межники, полоски, она отработывала в ирговую ямцику Исаеву и занимала семена у соседей. Чтобы как-нибудь протянуть до нового хлеба, она кланялась в ноги косоглазому лавочнику Кузьме Гущину и за пудовик ржи с костером, годной разве только свиньям, рубила ему пучки в лесу, упростила бабу Феклу поинтериться с ребятами.

Для себя ей приходилось работать и по воскресеньям. И не было времени сходить в церковь помолиться. Отец Василий, старый и строгий поп, встре-

чаясь, почти не кланялся с Анной Михайловной. На тронцу, придя в избу с молебном, он, отслужив, хмуро, не глядя на хозяйку, принял пяток яиц и сказал:

— В церкви не вижу тебя.

— С ног сбилась, батюшка... Леши-то ведь нет... Двойни у меня,— как всегда робея перед попом, ответила Анна Михайловна.

Отец Василий задержался у порога, вскинул на зыбку сердитые глаза из-под лохматых бровей.

— Помню, крестил. Не лишет... муж-то?

— Нет, батюшка. В голову лезет разное... нехорошее,— пожаловалась Анна Михайловна.

— А ты к богу обращайся,— напомнил отец Василий, выпрастывая из обшлагов рясы худые белые руки — Он милостив ко всем... заблуждающимся... Смугное время настало, скорей бы прожить его...

Он вздохнул, почесал седую бороду и, благословляя Анну Михайловну, строго спросил:

— Да ты дома молишься?

Анна Михайловна склонилась, прошептала:

— Грешна-а...

Из-под синей полобранной рясы ей видны были огромные, точно ступы, смазные рыжие сапоги отца Василия. Он грузно, со скрипом, шаркнул подошвами, словно раздавил что-то. Анне Михайловне стало страшно, и она заплакала.

— Утром вскочишь, как полоумная. Вечером иной раз так устанешь — свалишься, лба не перекрестив... Тяжело мне, батюшка, нужда одолела. Не знаю, как и...

— Бога забыл — вот и он тебя забыл,— сурово оборвал отец Василий и ушел, не притворив двери.

»

Когда на селе возник комитет бедноты, Анне Михайловне стало немного легче. Ей выдали семян из общественной магазен. От просторных гушинских земель отрезали для нее четыре больших загона. Комбедчик

Николай Семенов, высокий, рыжий, большой силы человек, при всем народе обязал ямщика Исаева бесплатно давать ей лошадь.

— Запрещаю тебе, Анна Михайловна, на сегодняшний день батрачить,— гремел на сходке Семенов.— И кланяться запрещаю. Требуй на сегодняшний день!

— Во! Грабь... Твое — мое! — кричал Кузьма Гуцин, злобно косясь.— Сапоги с меня сдери,— она в опорках ходит... У-ух, пролетария!

— Таскай двойней, как кошка... мир прокормит,— хрюкала жирная, точно боров, Исаиха.

Оскорбленная, сгорая от стыда, Анна Михайловна молчала.

— Оставьте меня в покое, Христа ради... Ничего мне не надо.

Председатель совета Сергей Шаров, всегда такой шутишко-веселый, рассердился.

— Нет! — грохнул он по столу кулаком.— К чорту покорность! Голову выше, беднота! Теперь наше время!

Шумя и негодуя, сход поддержал Шарова.

— Не старый режим, чтобы женщину забижать! — кричали с задних скамей бабы.— Попробуй роди двойню, оплоди и чини языком.

— Тебе, Кузьма Федорыч, власть горька, а нам сладка. Что поделасень? — сказал пастух Вася Жердочка.

Николай Семенов, писавший протокол, поднялся и потребовал тишины.

— Именем комбеда,— сердито сказал он, заглядывая в бумагу и вороша свои медные грипастые волосы,— объявляю на сегодняшний день гражданину Гуцину и гражданке Исаевой выговор за оскорбление женщины и народной власти... А тебе, Анна Михайловна, вот наше слово: живи... живи без горя, мальчишек расти на страх буржуям и на радость мировой революции...

Все-таки Анна Михайловна не решалась даром брать лошадь у Исаева. И Гуцину она кланялась за

каждый пудовик хлеба. Даже за землю, отрезанную ей, поклонилась по привычке.

Она толкла в ступе мякину, овес, сушеные картофельные очистки; просеяв, валила все это в квашню и, прибавив скупую пригоршню муки, пекла горько-кислые каравашки. Распаренный огрызок дуранды казался ей медовым пряником. А случайный ломоть чистого ржаного хлеба был пахуч, точно сдобный кулич. Молоко она пробовала лишь в рождество и пасху, копила сметану, творог, масло, яйца и, жадно торгуясь, выменивала у спекулянтов стакан-другой пшена ребятам на кашу, обмусоленные, пропахшие махоркой куски сахара, спички, соль, бутылку керосина. Иногда ей удавалось раздобыть аршина три линючего ситца. Вечерами, качая ногой зыбку, Анна Михайловна шила сыновьям новые рубашонки. Для себя она ткала холсты и, выкрасив их в коричневом наваре еловых шишек, кроила юбки, кофты и обогнушки.

Когда бывало немоготу и опускались руки, Анна Михайловна вспоминала мужа, и вся жизнь, прожитая с ним, казалась ей одним светлым днем. Она видела его ясные глаза, его сильные, не знающие усталости руки, вспоминала задушевные разговоры мужа о счастье, которое он пошел добывать. Анна Михайловна плакала, и ей становилось легче.

«Хоть бы весточку прислал,— думала она,— хоть бы одно словечко написал — жив...»

Приходили с фронта раненные красноармейцы, прибегали дезертиры, а желанной весточки никто не передавал. И Анна Михайловна кружила по деревням, расспрашивая

— Должно, погиб Алеша,— говорили знакомые красноармейцы, снимая буленновки — Вечная память красному герою... Эх, как бы пригодилась сейчас его светлая голова!

— Убит, куда ему и дорога,— кривя толстые пьяные губы, бубнил дезертир Савка Пономарь.— Коммунистов всех поубивали... Скоро, тетка, и здесь им придет крышка.

— Что же тогда будет? — спрашивала Анна Михайловна.

— Парастно небесное на старый лад.

— Прощи, ты, брехун! — сердилась Анна Михайловна — Облопидся самогона и мелешь незнамо что.

IV

Не все понимала Анна Михайловна, что творилось в крутом. Однако сердцем чувала главное: свои люди делами правят, худа от них не будет. И поэтому, когда деэртиры, предводительствуемые Савкой Пономарем и Подольской Иленям, подожгли ночью сельсовет и поехали по следу коммунистов, она спрятала в подполье мужниного проводка — комбедчика Николая Семенова.

До утра гудел набатом церковный колокол. Днем деэртиры и батюхи носили иконы и хоругви вокруг села. Как и пасху, горела на отце Василии золотая риза.

Завершившись и набе, Анна Михайловна сидела у окна, чинила юбку. Иголка колола ей пальцы, нитки рвались. Приислушиваясь к спокойному дыханию сыночка, спавшего на кровати, Анна Михайловна тревожно останавлила ли крестным ходом.

— Пронеси... ради деточек, пронеси... — беззвучно шептала в губы.

Она понимала, что спрятала Семенова. Но тут непонятность, что у него четверо детей мал мала меньше, что Дарья, жена его, была подругой ей, Анне Михайловне, в молодости, вспомнилось все добро, которое Семенов сделал для нее, и, главное, ей подумалось, будет сейчас Ленин, он одобрил бы ее поступок... и она успокоилась. «Пройдут мимо... Никто не знает».

И неожиданно, Нильс, кто-то ночью заметил огонь в ее доме и завопил. Когда крестный ход огибал гумна, он снова загорелся, и сгорели и переулочек вооруженных деэртиры.

Утром же Анна Михайловна встала и ударила табуреткой об пол.

Понимала, переубила в губах — и ребеточек погуляла. Иду!

Она перекрестила сыновей, для чего-то обулась и без зова вышла на крыльцо, захлопнув дверь щеколдой.

— Доказывай, старая сука, куда схоронила Кольку Семенова! — подступил к ней Володька Исаев.

Он толкнул ее прикладом в грудь, освобождая дорогу в сени.

Анна Михайловна ударилась затылком о косяк, от двери не отошла. Тихо попросила:

— Уйди... Ребят напугаешь. Спят они у меня.

На миг показалось — дезертиры послушаются. И, обрадованная, она жадно и торопливо молила:

— Уйдите, христом-богом прошу... Нет у меня никого. Уйдите!

— Не грехи! — взревел Исаев-отец, неожиданно выскакивая из-за крыльца с топором в одной руке и ямщицким кнутом в другой. — Видели, как сиганул к тебе гуменниками... Подавай мне Кольку... Искро-ш-шу!

Он хряснул топором по приступку и расколол приступок надвое. Савка Пономарь оттащил Анну Михайловну от двери, пригрозив револьвером:

— Найдём... тогда и тебя кончим.

Анна Михайловна бросилась в избу, упала на кровать и телом прикрыла сыновей. Ребята проснулись, заплакали. По привычке она растегнула кофту, замятовав, что отняла детей от груди. Ребята долго не брали грудь. Она удивлялась, все совала им, а когда они потянули, вспомнила. «Все равно уж... конец», — подумала она, слыша, как шарят дезертиры в чулане, как Исаев-отец поднимает западню в подполье и хрипит: «Вылазь, Колька... Эй, вылазь, шантрапа беспортошная... Хуже будет. З-заму-учу!» Анна Михайловна ждет сопротивления, крика, выстрелов, но все тихо. Кто-то лезет в подполье. И словно из-под земли доносится глухая брань.

— Пусто...

«Успел...» Анна Михайловна хочет приподняться, но чей-то кулак тяжелым ударом вбивает ее голову в подушку.

— Где Колька? Не знаешь? В муженька-а... — ши-

она Пелагию, стаскивая ее за ноги с кровати. Цепляясь за постельник, она успевает одной рукой накинуть на голову дерюгу — Землю делить? Лошадь тебе?..
Сидит?

Бьют Анну Михайловну по полу, как чурбан, Пелагию бьют каблуками в живот, в спину, по голове, Анну ремнями вутом. Кровь заливает ей лицо.

Никто! — гогочут девертиры. — Ай да папаша! Анну ей попола... Хлопни!

Придавите шеня! — визжит из сеней знакомый арестантский голос Пелухи — Придавите пискунов!

Пелуха сама поднимает Анну Михайловну с пола. Черный ошметок крови выплывает она из пересохших рта.

Пелагию не трожь. Глотки перерву!

Пелуха была тот принт. Слезая от залившей ее крови, растерянно вытаращив руки, Анна Михайловна рванулась навстречу девертирам. Табуретка поехала ей под ноги и с грохотом отлетела в сторону.

А ну ее к черту! — скинул Пелагию, отступая.

Девертиры, стоя в каре, понявшись к порогу, обступили дерюгу.

Пелуха подползла к Анне Михайловне до стола, подставив дерюгу на ноги и сплывая на пол. Точно обожгло, так, сходящая она вниз слюней и отрывистые звуки, как, как, как...

Пискуны тоже. За руками на ошине...

Никто?

Никто! Фомин и Серожку Шарова.

Никто! Остаток

Анна Михайловна была рассказывать Анне Михайловне, судя Пелагию, Длинная, худой, в одних рубашках, но стоявшая на земле и не хотел двигаться. Пелуха Шарова испугал его и сказала:

Пелуха Шарова, вот он страшно. Помнишь, как он вставал на землю? Ты же была кругом нас!

Пелуха Шарова, вот он страшно. Ему напихали перья, на него он падает, вот, вот, вот, вот, вот. Потом улетел и не вернулся.

Остаток... как, как, как...

Мужики и бабы кинулись было отнимать Васю, но дезертиры оттеснили их к амбарам, а Кузьма Гушин, скосив к переносице бельма, потряс гранатой:

— Порешу на месте... кто двинется.

Когда вешали Сергея Шарова, оборвалась веревка. Он упал и, должно быть, больно зашиб ногу.

— Сволочь кулацкая,— просипел он, потирая колено и усмехаясь,— повесить человека смекалки нет... Дайте веревку! — приказал он, разрывая ворот рубахи.

Дезертиры послушно подали ему новые вожжи.

Поплевав на ладони, Шаров сам сделал петлю, затянул ее на вздрагивающем кадыке и, волоча ногу, полез с веревкой на осину. Сучья трещали и ломались под его грузным телом. Он добрался до развилины, вставил в нее здоровую ногу, раздвинул жестяную, звенящую листву. Мужики и бабы видели от амбаров, как он повел горящими глазами в их сторону, будто меряя расстояние. Потом махнул им рукой, словно прощаясь, и вдруг, скинув веревку с шеи, зычно командовал:

— Мужики! Хватай их сзади... Бей, мужики!

Сергей коршуном упал на лавочника, вырвал гранату. Дезертиры навалились на Шарова. Обороняясь, Сергей то ли уронил, то ли нарочно бросил гранату себе под ноги.

Гром ударил среди белого дня. Подбадривая себя криком, мужики бросились к осине. Бабы, зажмурившись, присели в траву. А когда отдышались и опомнились — кругом была тишина.

Под осинкой, на бугре, лежал Сергей Шаров. Лежал он на спине, просторно раскинув ноги, сунув под голову согнутую руку, и точно спал. Подле него, как плахи, валялись Кузьма Гушин, Савка Пономарь и еще кто-то. Двое в шинелях ползли в крапиву и скулили. Мужики с кольями и подобранными ружьями гнались по полю за дезертирами. Те бежали к лесу. А наперерез им, из-за речки, летели верхами, подгоняя лошадей прикладами берданок, глебевские коммунисты. И впереди, пригнув рыжую голову к гриве коня, мчался Николай Семенов...

Нерешая отдать Анна Михайловна своего мужа. Он умер, что она похоронила его вместе с Васей Жерновской и Сергеем Шаровым в одной братской могиле, которая выросла посреди села, на лужайке под липами. Соседний холмик земли бабы обложили черной дубовой Пиноним установил дубовый крест с железными, выгравированной суриком звездой и по решению общества обнес могилу палисадом. От себя Пиноним прибавил еще лавочку из слового горбыля.

И пошла с тех пор собираться на сходки под липами, около того самого Пинонима.

Осень пришла на бутар одуванчики. Чья-то добрая рука поставила гряды раки. Осенью могуче встала на землю новая осень, ветром раскустилась, пошла в гряды. Как и поле, завылились, гонимые коленчатые ветры, вылились усталой, в мужицкую четверть, осень. И вместе с рожью сплунули в небо васильки, синие и голубые. Девчонки сели.

Снова, зимняя ржа, Анна Михайловна не занимала поля, танила, и поле с двойными. А когда они немного попросили, забирали ребят в избе, оставляя на полу, как пожитки, блюдо с молоком и крошеным хлебом.

Чего тогда не творили они в избе! Опрокидывали сани и деревянные ящики, сби угли, дрались из-за посуды, гонимые на сараях, вытирали голыми животами ноги под лавками, били посуду, царапались о стены и потолок, достали надрезавшись, засыпали на пол. Прошумевшие, снова пошла по избе, обдирали по лавкам и сбивали их, пролили лужи посредине пола, вылились, застыли и падали, разбиваясь в кровь.

Соседями начали похрюкивать сыновья мать, грязные, черные и облезлые и тупые. Сердце у нее мутилось, рожь, рожь. Она вылила сыновей на руки. Выходила, выливая, приговаривала.

Пиноним, рожь, рожь, рожь. Вот и царап-за, царап-за, царап-за. В хвосте все движется.

Бед и горести, не пожелала рожь Анна Михайловна, как ни плакала, но хвосту, она не

могла вылезть из нищеты. Волостной комитет взаимопомощи поддерживал ее деньгами и хлебом. Как-то в уезд пригнали с фронта бракованных лошадей. Комитет взаимопомощи вытребовал одну для Анны Михайловны.

Все село сбежалось смотреть, когда Николай Семенов привел в поводу низкорослую гнедую кобылу. Она была заморена до того, что ее качало ветром. Горбато проступал хребет, ребра расходились от него кривыми сучьями. Грязной бахромой висела длинная шерсть под брюхом, холка и плечи были сбиты до живого мяса.

— Вот так рысак! Собакам на корм пуда два потянет, — потешался ямщик Исаев, только что выпущенный из тюрьмы.

Анна Михайловна с ненавистью огрызнулась:

— Тебя бы собакам скормить.

— Попробуй... Нет, вы гляньте, мужики, на кобылу. Ну, в аккурат пагрет советской власти, — злобно хохотал Исаев.

— За такие разговоры к сыну в гости отправим, — пригрозил Семенов.

— Руки короткие.

— Ничего, хватит рук на сегодняшний день — к стенке поставить.

— Ставь, шантрапа беспортошная, ставь!.. — забрызгал слюной Исаев. — Все равно дышать нечем... подразверсткой задушили.

— Подохнешь — воздух на селе чище будет.

Кобылу поставили во дворе. Чтобы она не завалилась, ее подвязали на ночь под брюхо веревками.

В эту ночь Анна Михайловна почти не сомкнула глаз. Уложив ребят, она зажгла фонарь, прихватила лохань с теплой водой и отправилась во двор. Кобыла понуро покачивалась у яслей, слабо переступая разбитыми ногами. Вскреки не давали ей упасть. Она не подняла головы, когда Анна Михайловна залезла с фонарем и лоханью в стойло.

— Страдалица ты моя... мученица, — пришептала Анна Михайловна, подсовывая под веревки пучки со-

волок, чтобы не так рвалось. — Ну, взгляни на меня, на эту самую штору. Ну?

Восхищен глядя на свою темный печальный глаз и равнодушно пощипывая охрипшими губами.

— Не прикасаться? Ах ты, сердитая!

С тихим, грустным смехом Анна Михайловна погладила локоть кобзаль. Синий платок с головы, заботливо вытерев свой из покорных глаз. Потом осторожно прижала локоть руки, смывала их снадобьем, который ей дал отец Петр Елисеев.

— Боженька! Ну, итерини, дурочка, что поделаешь, — усмехнулась она пошлостью. — Скорей заживет... Вот так тебе жить, не знаешь? — задумалась она. — Хорошо, Михайлов буду жить? Была у меня телка Маша... Охотница, баловница, что-то картинка... Прдала ее как Анну и Петру отиралила... На-ко, похрусти, Маша, картошку... и она съела ее гороховину. — Не съела? А хлебца хочешь?

Потом, по привычке, на крок, Анна Михайловна побегала и побу, пошаркала и суданке¹. Там лежала завороченная и прищипнутая горбушка хлеба, припасенная на завтра снадобьем. Анна Михайловна оцупала ее впрямую, горбушка как будто была порядочная. Отделила кусок, пощипала, пороснительно взвесила горбушку, на локоть и отделила еще кусок. Теперь горбушка горбушка была так мала, что ей не стоило шипеть и суданке.

«Прислушавшись к детям попку», Анна сварить может, съела хлеба, и дожидалась себя Анна Михайловна и хлеба и попку хлеб, вернулась во двор, из рук пошаркала Машу. Палада и дохаль воды для хлеба, хлеба попку, итерини картинка и посыпать картошку пошаркала до завтра вспомнила, до завтра... на завтра хлеба хлеба чисто.

Потом на завтра, свою малышня, с любопытством... 12, 13, 14, пошаркала, пошла ушами, тячет... 12, 13, 14, Анна Михайловна пошаркала под... Маша, дожидалась старости, примету, что до... на завтра хлеба хлеба чисто. Но она не старалась,

¹ Суданка — деревянный шкаф.

свиста у нее не получилось. «Подрастут ребятушки мои, они тебя, Машка, и на водопой сгоняют, и под-свищут вволю», — подумала она.

Потревоженная светом и движением, поднялась в загородке корова. Подошла, вздохнула и, просунув между жердями голову, лизнула хозяйку в щеку теплым шершавым языком.

— Я тебе задам! — строго сказала Анна Михайловна, отмахиваясь. — Пошла на свое место... Пить захотела? Не гостья, потерпишь до утра.

Машка оторвалась от лохани, долго жевала губами, словно раздумывая, что ей делать дальше. С волосатых мокрых губ падали в лохань звонкие капли. Анна Михайловна подбросила в ясли, полные сена, лишнюю охапку духовитого клевера и зачмокала призывно и просяще. Кобыла пожевала еще и, махнув облезлым хвостом, точно сказав: «Ну, уж ладно... ради тебя, так и быть, поем», сунула морду в ясли и медленно, с трудом захрупала.

— Вот и хорошо... Аппетит — первое дело, — одобрительно сказала Анна Михайловна, присела на плетуху с сеном и под этот чуть внятный, успокаивающий хруст задремала... А на рассвете очнулась, почистила Машку веником и пошла месить преснушки ребятам.

VI

Сосед Петр Елисеев, зайдя во двор проведать кобылу, учил Анну Михайловну:

— Главное — не давай ей попусту силы тратить. На привязи поболее держи. Я, знаешь, в гражданскую в кавалерии служил и, стало быть, лошадиный нрав знаю... Пусть наливается яблоком Овсена не жалея. Сама недоешь, а коню подбрось. Тут кобылка твоя и взыграет... Да на кой ляд ты раны тряпками залепила? А дура баба! — горячился он, прикусывая бурый, выцветший ус. — Мясо — живое, воздухом дышит... Постой, я сам...

Елисеев любил толковать о лошадях. По утрам, сталкиваясь с Анной Михайловной у крыльца или ого-

дом, он первым делом справлялся о Машке, а потом о Коронации Корюхастый, обожженный солнцем до шипов и побеленный, замаранный дегтем гимнастерок, ватными и пуховик, Блиссеев вдохновенно говорил:

Корюхастый — первым наша подмога, что на войне, что дома. Блиссеев спасет. Эхот, видела? — Он поворачивал короткую тугую шею и, откинув белесую прядь волос, покатывал стесанное ухо. — Чисто бритый и наша гордость. Не увернись мой Соколик маленький! Ахоты бы мне с раскроенной башкой... Вот был бы и, как юсаны! Машью — каурый, характером — черт. Все шивада, только что не говорил.

Иногда до работы, Блиссеев всегда что-нибудь делал по хозяйству: утащил по новым частым кольцам поправил двор, обкладывал свежим дерном заборы у себя, мылся, сидя под навесом на корточках, старые вещи, кидки.

Вот вой и бы и сейчас пропал, — говорил он, прищипывая длинный острый ус. — Пришел с войны — хоть широм покати. Что делать? Тряхнул головой баракшиной. Ревела Ольга, известно — баба, ахоты пришла не идет. «Не вой, — говорю, — на вой, — говорю. Мне бы только коня извести...» Подзабыл еще коня у Савини. Видела моего Буяна? Умненький был. Где чай пить, он у меня под окошком стоял, абы протит. Встану на ноги. Это уж ты мне говори. Да вой же не идет? Землю отвоевали, а вой не идет — вместе голышом ходить.

Он ждал, ждал Анна Михайловны, с которым дружил в парнях, ждала Сергей Шаров и Васю Жернов.

Васю Жуван помирали. Сидели! Кабы сора не была. Видеть бы мы с ними похозяйествовали. Чего из твои кони да коней, хоть на молитве за коней кони. А Савини! Да и паше за ним никто не идет. Илья, помираю. Ленина погибель. Чего же не идет? А вой не идет. А вой не идет.

Но все равно у него и шабранило.

— Ну, конечно, помираю и вой паше на чистую вой.

— Тебе, Петя, надо в партию записаться, — сказал ему однажды Николай Семенов. — У тебя глаз верный и сердце наше.

— Не знаю, чье оно, а только правду чувствует. Да разве я за чужое кровь проливал?

Елисеев выдалбливал из березового чурбана корыто для поросят. Анна Михайловна смотрела, как ловко он орудовал долотом.

— Про это и разговор на сегодняшний день. Партия такие нужны. Иди к нам, — предложил Николай, садясь на обрубок бревна под навесом.

Елисеев усмехнулся, показывая белые крепкие зубы, махнул рукой:

— Ну куда мне... Какой я партиец! Мужик я.

— А мы — ученые? Ты подумай, Петя, зараз не отказывайся. Дорога-то ведь у нас одна.

— Точно, дорога единая... — задумчиво согласился Елисеев, берясь за долото. — Верно говоришь. Но в партию записаться... Прикидывал я — ничего не выходит. У вас там собрания, заседания, а у меня дом валится.

— Помешался ты на своем хозяйстве, — сердито сказал Семенов, доставая кисет.

— Иди ты к чорту! — вспыхнул Елисеев и с силой ударил молотком по долоту.

Лишай на его обгорелом лице багряно налились. Он приподнялся с корточек на колени, молоток взлетел в воздухе все выше, описывая черную свистящую дугу, и Анна Михайловна казалось — молоток вот-вот заедет по рыжей голове Николая Семенова. Она торопливо пошла прочь, к своему двору, и влогонку ей летели разгневанные, короткие, как удары молотка, фразы:

— Ты — коммунист. А линию свою знаешь? Партия что говорит? Восстанавливай хозяйство... Я-то восстанавливаю, а ты? Портки свалились... Хорош пример для мужика... А, дьявол! Раскол из-за тебя корыто.

Как ни уважала Анна Михайловна Семенова, душой, сердцем она была на стороне Петра Елисеева.

Точно добрый, горячий конь, впрягся он в кресты

и кутит работу и гонит, не зная удержу. Он понукал и жену, и ребят, всем находя дело.

«Как влезл епидея в хозяйство,— одобрительно думала Анна Михайловна.— С таким не пропадешь — ты же, табитинный, как мой Леша».

Петр Савсеев был с ней ласков, захаживал во двор в роботе и, когда Манька отчего-то охромела, сам выхаживал лошадь. Это не мешало ему как-то сердито думать.

Робота была, Анна, мне всю луговину перед избой попустили. Народила, так гляди за ними, дьяво-вазаны.

— Говори, Петр Васильевич,— изумленно произнесла Анна Михайловна, — да взаперти мне их, что ли, держать?

— А мне какое дело! Хоть под подолом.

В другой раз он прибил ребят, и Анна Михайловна поговорилась с Савсеевым.

Он заглянул в дом палисадом, развел георгины и цветы на террасе.

В разговоры Анна Михайловна показалося, что за-была в поле ринны бы сушила, и полоса соседа буд-то такая пошире. Анна Михайловна не верила глазам своим.

— Ты манька, Петр Васильич, по ошибке... моей... — сказала Анна Михайловна, — сказала она нерешительно.

После того и побатронул.

— Манька, заготовка была! Где прихватил? Очу-тился? Ты вот сама жила спокон некон моя была.

— Да вот же ты? — все еще недоумевала Анна Михайловна. — Пронесла год, помню, и куст облахи-вала.

— Ты же, манька, обихаживала,— прошел сквозь зубы Савсеев.

— Манька, манька, манька Анна Михайловна. Она не по-сле-дила, что он соблаговолит ширину своего загона. Не-справедливо. — Петр Васильевич.

Но и в этот раз Петр Васильевич — груст-но смотрел на нее.

Елисеев закусил ус, придвинулся вплотную и, опалив горячим взглядом, прохрипел, задыхаясь:

— Что же, по-твоему... по-соседски... я тебя должен кормить... с выродками? Да катись ты к... Вершок земли тронь — ноги обломаю!

С тех пор Елисеев не здоровался с ней, не спрашивал о кобыле.

А Машка раздобрела, через полгода ее нельзя было узнать.

Кое-как, с грехом пополам, обзавелась Анна Михайловна сбруей, телегой, плужишком. «Может, жеребеночка нагуляет,— гадала она,— вот я бы и воскресла...»

VII

Когда началась свободная торговля, Анна Михайловна пробовала сеять больше льна, чтобы в доме завелась лишняя копейка. Загон льна, сиротливо затерянный в овсах и картофеле, голубел во время цветения, точно крохотное высыхающее озеро. Окруженные со всех сторон колючим осотом, обвитые повиликой, стебельки льна хирели, сохли и часто погибали. Анна Михайловна теребила редкий, словно выжженный, лен и чуть не плакала от обиды, что труды пропадают даром, что руки исцарапаны в кровь злым осотом. Потом лен надо было колотить вальком, расстилать, поднимать, сушить, мять на деревянной трехзубой мялке и трепать, трепать без конца, пока не отнимутся руки и повесмо¹ не превратится в серо-бурый короткий хвост.

Зимой на базаре сердитый барышник, в синей поддевке и высоких чесанках с калошами, раз пять браковал лен. Измучив Анну Михайловну, запугав, он, наконец, небрежно снимал кожаную рукавицу, не глядя запуская ладонь в пухлую горку волокна и назначал грошовую цену.

Связку баранок, золотую от ржавчины селедку и несколько аршин дешевенького ластика на рубашонки

¹ Повесмо — пучок льняного волокна.

лю пропадал в уезде по делам своей ячейки. Беременная Дарья кляла мужа на чем свет стоит и на себе таскала снопы с поля на гумно.

— Хоть заступом копай полосу да граблями борони,— горевала Анна Михайловна, отчаявшись.

Она брела по селу с ребятами, простоволосая, растрепанная. Полуденное жаркое солнце накалило полетному песок, он обжигал подошвы. Ребята пылили сзади и хныкали. И не было сил прикрикнуть на них, оправить волосы, стереть липкий пот с лица.

Сонно дремало село, чуть зологясь первой увядающей листвой берез и лип. Тягостно стучала сортировка на току Гушиных, то жадно захлебываясь, то умолкая, словно устав глотать зерно. В зеленоватой вонищей грязи пруда, возле ямщицкой избы, изчезающая от зноя, развалилась свинья, подрагивая жиром, точно сама Исаиха. Рыжая от пыли крапива чахла в канаве. На чертополохе, придавив колючки к земле, висел кем-то оброненный сноп ржи. Воздух был неподвижен, сух и горяч. Из-за церкви с самого утра поднимаясь и не могла подняться синяя, как купол, туча.

Народ возвращался с поля. Где-то скрипели невидимые телеги. Слышался говор. Вот из переулка выехал пахарь, опрокинутый на рогулях плуг блеснул осколком зеркала. От реки, в чащобе ольхи, еще зеленой, показался желтый, точно песчаная гора, воз. Лошади из-за густых ольх не было видно, и громада снопов медленно плыла живой скирдой.

Анна Михайловна пошла гумном, чтобы не встречаться с людьми. Ребята держались за подол и капризничали. Они устали, хотели есть. Она зашла в огород, выдернула по морковке и дала ребятам. Перестав плакать, они захрустели, как зайцы, и потребовали еще репы и бобов. Анна Михайловна позволила им самим выдрать по репине и нащипать полные горсти стручков. Присев на межу, рядом с матерью, довольные ребята угощались и болтали. Они не забыли и ее, мать, предлагали ей кусочки белой, как сахар, репы и темные крупные и жесткие бобы. Залезли к матери на колени, обвинили ее шею загоре-

матри испарившимися ручонками, повалили парзничь. Сидела она не позволяла ей встать.

Нужа тоска, свистелись над матерью глаза сыновей. Мать балуясь, теребила ее волосы, подвижное лицо ее морщилось от смеха, пуговичный носик раскраснел. Детики, навалившись на грудь медвежонком, чмокали в ухо, и русый вихор его щекотал кожу. Анна Михайловна вспомнила о муже и в первый раз подумала о том без боли, точно он был жив... И все, что происходило и мучила ее минуту тому назад, отодвинулось в сторону, забилось, уступая место простому и радостному чувству. Так хорошо было лежать, не переживать, не думать, смотреть в беззаботные сыновьи лица, слышать бездельно и смех, чувствовать на груди легкую, живую тяжесть и щекочущее, приятное прикосновение ручонки, упругих, пахнущих морковью губ, шепчущих шепотом.

Она заметила у матери слезы.

— Мамочка! — удивился Мишка, перестав смеяться. — Ну, и еще бабачка! Смотри, мам, как я кукарекаю, и он бабачка! Смотри!

Потом она оторвалась от груди и, внимательно глядя на сына, задумчиво и настойчиво спрашивала:

— Ты какой ступаешься, ин? Которое место?.. Давай покажи, мамочка!

— Ну, мамочка, — сказала Анна Михайловна, улыбаясь. — Ты какой хочешь? — Если хочешь, давай теперь и покажи маме.

Мишка схватил ее за руки, потянул. Она всколыхнулась так неожиданно легко, что сыновья, удивленно, пролетели на грану.

— А вот вам, Анна куча! — засмеялась мать и продолжала хихикать и щекотать ребят, приговаривая: — Ты какой мамочку измучаешься? На землю ронять будешь?

Потом, когда остались одни, Анна Михайловна пошла в кухню.

У окна, под тонкой клеенчатой занавеской, Елисей разговаривал сестры Булга. Дверь была приоткрыта, и он слышал шепот, и Елисей ругался. Шепотная гимназия.

стерка его, рябая от дегтя и бурых мокрых пятен, была, как всегда, распахнута на груди.

Анна Михайловна хотела пройти мимо, но Петр окликнул ее, точно между ними и не было никакой ссоры.

— Будет дождь, как думаешь? — спросил он, нетерпеливо поглядывая на небо.

— Должно, будет, — неохотно ответила Анна Михайловна, поправляя волосы.

— А стороной не пройдет? Тпр-ру, дьявол!

Он посмотрел еще раз на благодатную тучу, — синее крыло ее вот-вот собиралось размахнуться в полнеба, — поцарапал обожженную грудь и, уверившись, что дождь непременно будет, весело заключил:

— По заказу. Во-время отсеялся... А ты?

— На себе пахать собираюсь, — сухо ответила Анна Михайловна, поворачивая к крыльцу.

Елисеев бросил хомут и шлею на землю, резко свистнул. Чалый потный жеребец послушно выскочил из оглобелей и, фыркая и отряхиваясь, пошел во двор, махая пышным хвостом. Калитка была притворена, жеребец привычно толкнул ее мордой.

Наблюдая за конем, Петр пробормотал:

— Что ж ты... Всем кланяешься... а у соседа и попросить не хочешь?

— Какой толк? Все равно не дашь коня.

— А может, и дам... почему знаешь?

— Скорей удавишься, — сказала, озлясь, Анна Михайловна.

Петр рванул с земли сбрую, кинул ее на себя и побежал к навесу, печатая дорожку коваными каблучками тяжелых сапог. И, как бы замечая его след, порыв ветра поднял на дорожке пыль, закрутил ее и понес дымным столбом по двору.

— Не люблю правду-то слушать, — сказала Анна Михайловна и ушла в избу кормить ребят обедом.

Вскоре в доме потемнело, потом окна осветила молния, глухо прокатился гром. Ребята затихли за столом, перестав есть. Анна Михайловна перекрестилась, закрыла вьюшкой трубу в печи и притворила, по обычаю, дверь, чтобы не было сквозняка.

По стеклу осторожно стукнули редкие крупные капли дождя; снова и снова мигнула торопливо молния, резко подгоняемая раскатыстыми близкими ударами грома, настойчивее застучал дождь и, наконец, хлынул потоком.

— Ну, слава тебе... — еще раз перекрестилась Анна Михайловна и бросилась под сени искать старый ушат. За лето ушат рассохся, его следовало замочить и кетати заставить мягкой дождевой водой: это лучшее для настила и стирки.

Установившая под стоком ушат, Анна Михайловна заметила Петра Елисеева и подвинулась. Елисеев, скинув сапоги, стоял возле палисада. Дождь хлестал его гимнастерку и штаны смокли и прилипли к телу. Петр добро смеялся, пожевываясь и приплясывая в ушат.

— Чистно... как в бане... У-ух, хорошо!.. Да отвяжешь шорты! — отвечал он жене, знавшей в избу.

— Ничего не разбирает... чудака! — беззлобно подумала Анна Михайловна и несколько сама подставила красноватый рот стоку. Холодная вода приятно обожгла кожу.

— Что? Водно? — крикнул ей Елисеев. — Вот он, батюшка! мой то, заватной!.. Теперьча озимь, гляди, пошевели!

Скопленная сапоги, вышед из гаченной, как из ведер, воду и гуня сапоги подымаю, зашлепал под дождем из сеней в Анну Михайловну. Ушата не сходила с его плечевых и морщи лица. На ходу он поправил ногой ушат под стоком.

— Бери воду, — сказал он, выжимая подол гимнастерки. — Дождь пройдет — и заирягай. Пахать опосля этого можно — вытопить.

— Ну, конечно, если так, — недоверчиво поблагодарила Анна Михайловна.

Елисеев двинулся к ней, обливая сыростью. Лицо на его лице темнело сыростью, с обычных усов Петра свисали капли.

— Ты не жди, Анна, по сараю! У человека иденной гонимый. Чужой рот и пережидать. — Он смущенно кашлянул, выходя. — И жидкостью не попре-

И, не зная, чем еще отблагодарить Елисеева, она похвалила лошадь.

— Конек боевой, не жалуюсь, — сказал довольный Петр, ласково похлопывая жеребца по крутому жаркому крупу.

Он стал отстегивать седелку и насулился.

— Это кто же... чересседельник... порвал?

— Прости, недоглядела, — сказала Анна Михайловна, испуганно и удивленно смотря, как наливаются нехорошей кровью короткая шея Петра. — На завороте меня Буянко потрепал малость...

Елисеев швырнул чересседельник себе под ноги.

— Вот и дай дуре коня, она тебе всю упряжь ухайдакает.

— Не велик грех, Петр Васильич... ремень старый, сопрел, должно, — оправдывалась Анна Михайловна. — Да я тебе свой отдам, коли на то пошло.

— Чужое все старое да прелое... Я этот ремень с фронта принес, понимаешь ты? — закричал Елисеев, хватая чересседельник с земли и замахиываясь на Анну Михайловну так, что она попятилась. — Ни за какие червонцы такого ремня не купишь. Ах ты... Ть-фу! Безрукое отродье! Недаром у тебя все валится... нищета прожлятая!

Анна Михайловна молча побежала в избу, разыскала сохранившийся в чулане белый, сыромятной кожи чересседельник и вынесла его Елисееву.

— На вот... совсем новый у меня... Подавись!

Петр мельком взглянул ей в руки, ударил жеребца кулаком в скулу и погнал во двор. Анна Михайловна бросила чересседельник в палисад, на луговину.

Вечером, встречая корову, она заглянула к соседу в палисад. Чересседельника на луговине не было.

На крыльце, гремя подойником, плакала и причитала жена Елисеева — Ольга:

— Я ли не убиваюсь, бессовестный? Диви, неряха бы какая была, нерадивая — не обидно таковской попреки слушать... А то и по дому, и по хозяйству... Как в работницах у тебя живу. И все мало. Себя уморил и другим сдыху не дасишь. В три горла, что ли, жрать будешь?

— В четыре. Вона горла-то по лавкам сидят, — начался из сеней хриплый, лающий голос Петра.

Объели? Детки родные тебя объели? Гоши с горинками по миру!

— Замолчи, отрава!

— На ко, выкус! — закричала Ольга и так ударила подойщиком, что звон прокатился по крыльцу. — Разостылся... Эко слово ему сказали — повременить с акакиейбой! Ведь праздник завтра, окаянная сила, престольной богородицы день... Люди добрые в церковь пойдут, и он — под ригу. Ты еще ребят заставь молотить.

— И застаню.

— А ведь и мне, грешной, невдомек, что богородицын день завтра, — подумала Анна Михайловна, заговорила ворову на двор. — Все брошу — пойду помолюсь... Говорила Ольга, напоминала... Чисто она одноухого бредит, не помню ему...»

IX

Цицела Анна Михайловна — не одинох Петр Елизавин и владом своим старания. Почти все мужики на своем участке изгодотлавились по земле, поднимали забороненные и воню переологи, раскорчевывали пустоши, брали в аренду увеличивали огороды. Захрюкали по двору пашаки и кланья поросята, заблеяли овцы, цветники украшали крапивоные занозы налочки и ставни. А в садах, сотовою крыши на драночные, подрубаемые заборы, и кто побогаче — и новые ставил, пяти-шестиугольные, со столбами, кинутыми под самое небо, с расставленными пальцами, обшитыми тесом и украшенными вышивкой и резьбой.

Фоня, престарелая — изба тесна... Любота! — приговаривая, играл топором, хромой Никодим. Его разбитый топор выдала плачущая, злая золотые Никодимы руки. И он, жалостливый, дождливый, важно шел по двору, напевая табакерку и блаженно улыбаясь. Приговаривая, не переставая топором... Ах, сползай, злая, злая рука! На гроба нашего брата пойдешь. (Помолчи!)

— Да тебе и гроб — тоже доход, — посмеивались мужики.

Никодим сердито махал ручонками:

— Провались он... Не в доходе сладость. Сколачиваешь гроб — равно в могилу заглядываешь. Радости нет. Вот дом рубить — это сподручнее, это по моей душе.

Смотрела Анна Михайловна на свою старую, кособокую избенку, и черная тень не сходила с ее лица.

«Помрешь — не поживешь в новом доме».

Изредка, по праздникам, в часы досуга, Анну Михайловну навещала Дарья Семенова, тихая, грустная женщина. Однолетки, они вместе когда-то гуляли в девицах, замуж вышли в один год и сейчас одинаково были несчастливы. Дарья выглядела старше своих лет, постоянно была насмеш и голая — один живот да глаза. Она приводила с собой говорливый табунок ребят, к которым тотчас же присоединялись Миша и Ленка.

А они, две матери, садились на крыльце, смотрели, как играют ребята, и, отдыхая, задушевно беседовали вполголоса про самое хорошее, что было у них в жизни. Таким самым хорошим, постоянно радующим были воспоминания о девичестве и разговоры про детей. О нужде, о печалях они старались не говорить, чтобы не бередить сердце: у каждой своего горя хватало с достатком. Иногда они подолгу молчали, и молчанье было столь же приятно, как и беседа.

Все-таки Дарья, не стерпев, нет-нет да и жаловалась:

— Мой-то, непутевый, опять в город укатил...

— Бог с ним, Дарья

— Кабы бог... — вздыхала та, устало закрывая глаза. — С сатаной связался, куманисг... А в доме укусить нечего.

— Возьми у меня, — предлагала Анна Михайловна. — Я два каравая вчера испекла. И такие удачные вышли, заварные.

— Видно, так и придется сделать, спасибо, — говорила Дарья и смолкала, еще плотнее сжимая длинные черные ресницы.

был нас, грешных... И многим другим, знакомым и незнакомым, попадало от Строчихи и Куприянхи.

Послушать их, только и есть две праведницы на свете — Авдотья да Прасковья. У них и мужья по половине ходят, и в дому чистота, достаток и благодать божья. И все-то ладится, само делается — ну, рай небесный, ангелов одних нехватает.

Анну Михайловну жалели:

— Горемыка! У счастливых одно дите — помирает, а у тебя два — и живут. И хоть бы когда простудились, заболели насмех, окаянные! Нет, смотри, какие здоровяки растут... И сердиться нечего, тебя жалеючи говорят. Подумай, как бы ты жила одна-то. Припеваючи. Сама себе барыня, что работать, что отдыхать. А тут что же? И одеть надоть-ка, и обмыть, и накормить... Чай, и кусок-то не всегда припасешь... Ну? Уж будто всегда? Да и то сказать: наша сторона как раз для горюна — и вымучит, и выучит.

Анна Михайловна старалась, как могла, при бабах скрыть свою нищету. Она не обедала, если бабы торчали на кухне в полдень, не ужинала, если сидели вечером.

Но бабий любопытный глаз все видел.

— Что это, Анна, ты никак и чай без сахара пьешь? — спрашивала Строчиха, вертя острым носом. — Сахарница, гляжу, эвон в горке пустая... Да, заняла бы у меня, опосля отдашь.

— В чулане сахар держу. В избе мухи одолевают, — сухо отвечала Анна Михайловна.

— Беда с мухами... А у меня сахару, слава тебе, четыре пуда запасено. Второй год лежит. И скажи, зубы обломаешь, ай, ей-богу, такой крепкий, — строчила языком Прасковья. — И дочери на три платья припасено, чистый бархатный атлас. А одно тоненькое, ну, надень — и не видать, будто голая. А дорогое, шелк... И сколько денег я ухлопала — страсть! Да ведь что ж, невестится девка — припасай приданое. Вот лису замест воротника заказала...

— Хорош кусок ластику я на базаре отхватила. Немаркий, пятнадцать аршин, — хвасталась Куприянха.

Анне Михайловне нечем было похвастаться, и она стеснялась баб. Ей больше по душе были мужики, с которыми она, как хозяйка дома, сталкивалась по работе. Они не спрашивали Анну Михайловну о ребятах, не жалели ее и бранили, как равную, за худую породу в поле, за пару слег, которые она посмела брать в общественной роще у церкви.

Правились ей и разговоры мужиков. Скупые на похвальбу, всегда чем-то немножко недовольные, сдержанные в словах, каждый себе на уме, мужики толковали про всякую всячину, осторожно обходя личные удачи и неудачи. Их ничем нельзя было удивить, они все знали, все понимали и никому не верили, кроме как самим себе. Хорошее они чаще всего подвергали сомнению, а с плохим соглашались без спора, почти преувеличивая его. Они подсмеивались друг над другом, говорили намеками и любили замолчать на самом интересном месте разговора. Эту мужицкую дотошность и лукавство Анна Михайловна знала с давних пор и привыкла кое-что понимать по обрывкам речи, жестам, взглядам, недоговоренностям.

И то, что ей удивалось понять, волновало ее и обижало.

Самый вечер в газетке вычитал — серебряные монеты скоро появятся... также и полтины, — рассказывал Андрей Бланов, молодой степенный мужик, с широкими плечами, расквашенными глазами, широкими, в мозолях, ладонями. — И не ждите бы на этот серебряный рубль. Завтра, завтра, завтра, будет.

Анне так

Вчера переписал бумажного...

А ты как ждешь переписки? Будь, лишь бы в бумагу попал. Ты же ведь купил.

Андрей Бланов повторил, не слыша. — Андрей Бланов тебе говорит — С. пробай. Ты же ведь купил.

Андрей Бланов повторил, не слыша. — Андрей Бланов тебе говорит — С. пробай. Ты же ведь купил.

Андрей Бланов повторил, не слыша. — Андрей Бланов тебе говорит — С. пробай. Ты же ведь купил.

дымом трубки, словно причась от людей, хрипло за-ключал:

— Теперича все фальшивое,— что деньги, что люди.

— Да уж, рот не разевай. Марш-маршем в карман к мужику залезут... без спросу,— живо откликнулся Петр Елисеев.

— Али червячки завелись? — спрашивал Андрей Блинов, усмехаясь.— Беспокоят?

И все мужики ерзали и переглядывались, улыбаясь в бороды.

— Завелись, не завелись... с умом жить можно, — отвечал Елисеев, отводя в сторону сытые глаза.

— Это верно.

— И верно, да скверно.

— С умом и прежде жилось не плохо, — глубоко-мысленно говорил Ваня Яблоков.

— Уж не тебе ли? — насмешливо спрашивал Елисеев, с презрением глядя на Яблокова.

— А что же? И мне... — пыжился Яблоков, надувая щеки.— Я, брат, в Питере жил — дай бог каждому. День там как час. Пока магазин хозяину откроешь, товарец покрасивше на прилавок раскинешь... Ну, там, дамочке ма-де-паламу, который заваялся, присоветуешь, глянь, и обед. Сейчас в трактир... Стаканчикхватишь, рубцом либо студнем с хренком закусишь — аршин-то у тебя сам шелка меряет. Хе-хе... Барыня и мигнуть не успеет, как четверти в покупочке нет-с. Тары-бары разводишь, а аршин-то, стервец, меряет!..

Рассказывая, Яблоков весь преображался. Куда де-вались его лень и неповоротливость. Он вертелся перед мужиками выюном, кланялся, точно покупателям, подмигивал, хихикал и вдруг, благородно склонив набок лохматую, пыльную голову и лукаво скосив масленый глаз, вскидывал короткие руки, и они молниеносно мерили невидимым аршином.

— П-жалуйте-с! Натянул — и ножницы за ухо, рванешь, только треск идет... А хозяин, бес, тебе шепотком: «За старание — четвертак...» Стало быть, вечером опять в трактире. Поджарочку говяжью зака-жешь, графинчик-с... Рюмашечку одну-единственную

прокинешь, хлеба попохаешь и ждешь...— Ваня Яблоков срывал подле себя мятый лист подорожника, нетерпеливо засовывал его в рот и жевал, потирая руки.— Не-су-ут! — кричал он, захлебываясь слюной.— А она, мерзавка, шипит на сковороде... А тут песни... Снегой прошибает. Опять же граммофон... Ну, пир горой!

Мужики, как малые ребята, валялись со смеху на траву. Смеялась, глядя на Яблокова, и Анна Михайловна.

— Пи-ро-валь-щик!

— Помним, помним, как ты из Питера с березовым кондуктором прикатил.

— Вот-те и поджарочка... поджарила, честная мать!

Нико Яблоков сконфуженно замолкал, почесываясь. Вино сердился:

— Ну что ржете? Верно говорю... Дай-ка, Андрюша, табачку или сигурку. Кисет-то я дома забыл, вишь, забыл оном...

Винно недобро достал из кармана кисет и продолжал выкладывать в него табак.

— Вот мне нравится Гирьяна минут... На поклон, чу, к маме... Михаил Иванович Калинин посылает привет...

Нико Яблоков не ответил.

— Ты куржешь-то? — удивилась Анна Михайловна, выходя из комнаты и в разговор.

А это ты слышишь? Слышат нашего народа на башке... Сосрашился Петр Глиссев.— В гражданском мире он по-прежнему правдив. Приходится кланяться.

Давно-давно кончилась война. Блинны, осторожно выходя, бросил в огонь миску махорки.— Поклоняйтесь и вы всем нам. Нам всем.

Нико Яблоков не ответил.

Нико Яблоков не ответил.

Нико Яблоков, бросив в огонь миску махорки, горько улыбнулся, выходя из комнаты, бросил в огонь миску махорки.— Поклоняйтесь и вы всем нам. Нам всем.

позволит. Она линию нашу гнет. Сказала: землю мужикам—и сделала. Постой, так ли еще для мужика будет выгодно.

И, точно сердясь, что сказал лишнее, он заворачивал на палец ус и дергал его. Потом насмешливо цедил:

— Семенов Николаша наемник трепался... Выставка, слышь, в Москве была... сельскохозяйственная. Будто из города туда партийные ездили, смотрели... И показывали им машину. Не поймешь: танк не танк, автомобиль не автомобиль... Делать плугов зараз тащит... Врут, поди.

— Известно, брехня,— соглашались мужики.

Но по глазам мужиков Анна Михайловна видела, что они всерьез в эту диковинную машину, как верят в то, что жить им будет скоро лучше. И сама она, наслушавшись всего, начинала верить, что придет конец ее тяжелому житию.

Она ждала этого и не могла дождаться, и вера покидала ее.

х

Опять гремела бубенцами от станции до уездного города лихая тройка Исаева. Когда седоков стало много, Исаев завел гнедого рысака, новый тарантас на рессорах и ямщиичничал на пару с работником.

Снова открылась в селе бакалейная торговля Гушиных. За прилавок стал брат Кузьмы, Савелий, такой же, как Кузьма, косоглазый и в таком же белом фартуке. По хозяйству и в доме у него управлялась племянница Катюшка, выписанная из-за Волги, угрюмая, черная, как цыганка, длиннорукая девчонка-подросток. Савелий ласково звал ее невестой и, покрикивая на нее и чахоточную жену, носился по двору и лавке вездесущим бесом. Он сам пек крендели, ситный с изюмом, откармливал свиней, купал по деревням яйца и овечью шерсть, торговал, работал в поле, читал мужикам газеты и еще находил время петь на церковном клиросе.

Он любил баловаться-няпчиться со своей единственной дочкой, ровесницей ребятам Анны Михайловны.

— Писаная ты моя... королевна распрекрасная! — кричал он, тормоша и лаская большеглазую худую, такую же некрасивую и молчаливую, как жена, девочку. — У-ух, кровинка моя единая... живем!

Но иногда, подвылив, жаловался:

— Обидел меня госюдь бог, сыном не наградил. Потому честный род-фамилию поддержать. Э-эх! Дочка — как квочка: выросла — чужих цыплят завела.

Вертлявый, веселый, он, встречаясь с Анной Михайловной, еще издали махал ей суконным картузом и мило, по-бабы, перещал:

— Богородица ты моя... Жива? И двойняшки здоровы? Ну и расчудесно!

Он пертел во все стороны стриженной белобрысой головой, точно все высматривая и подмечая. Щуря весело, бегающие глаза, ласково спрашивал:

— И навзницу не подсобил? Совсем закружился. Дернул меня чорт торговлишкой заняться, а землица — плачет. Пудовик аржаной отвалю, я ведь не баяний, сама знаешь. Приходи... девок еще порядил... да и попомни песенки! Лалиной со свиной угощу... и чайку попою.

Анна Михайловна мука была нужна, и она, бросая свои дела, шла к Гусину.

Возвращаясь в Савиную много и весело. Сам он, расшатавшись от жаркого, босой и грязный, летал с вилами по двору, под песни и весело подзадоривал девок:

Песенку новую мы только подниму, — кто больше?

Отвечали ей потопом паровозную муку, Савелкой зовут Анна Михайловна и колола связку румяных пирожков.

Возвращаясь к своему делу, говорил: Чем я не песенщик?

Говорили же только оловянцы, пропавшие, местные ребята. Но все равно Анна Михайловна.

— Ты как же жидкий человек, как и девок? — спрашивала ее Анна Михайловна, по-прежнему, благодаря разлуке с Гусиной, сама сердитая.

— Делка и есть! — захохотал Савелий, кружась возле них и точно обнюхивая. — Да какая! Двойню в сорок лет родила — это надо понять. Не всякая девка так горлада.

Оборвав смех, вытер фартуком глаза и, скосив их куда-то в угол, шумно вздохнул.

— Жа-алко мне тебя, Анна... мученица ты, право. Живешь одна-одишешенька, ни ласки, ни привета... Плохо власть заботится, вот что я скажу. Кабы была я в совете, дьявол те задерн, тряхнул бы казной для красноармейских вдов... Может, лошади тебе надо? Я завсегда, только скажи. — Он погладил ребят по головам и грустно пробормотал: — Сопляки, ничего не понимаете... Тятку вам надо... Да ведь тятки в лавке не продаются... Поди, Анна, кипяток пьешь? Стой-ка.

Савелий побежал за прилавок, схватил с полки осьмушку чая.

— Возьми... на бедность свою вдовью...

Связка кренделей со стуком упала на пол. Голос у Анны Михайловны перехватило. Побледнев, она свистящим шопотом спросила:

— Милостыньку подаешь?

Позвав ребят, она отступила к порогу.

— Что заработаю — отдай... А милостыню я сроду не брала. Минька, положи пряник!

Савелий схватил себя за голову, хлопнул ладонями по белобрысой макушке, бросился к Анне Михайловне.

— Голубушка... богородица ты моя... обидел? Ну, прости дурака... Да от чистого сердца я... Ах ты, господи!

Торопливо поднял связку кренделей, подул на них, обтер фартуком и снова принялся совать вместе с чаем, усердно кланяясь.

— Не даром... Уж, пожалуйста, возьми... отработаешь... Ну, хорошо, хорошо, не бери, извиняюсь...

Загородив дверь, Савелий жалобно спросил:

— И за что ты меня не любишь, Анна? Всем добра хочу, ей-богу. Время то свободное, только бы жить да жить... в мире, в согласье... Вот и Коля Семенов на меня завсегда косится. За что, спрашиваю? Чем я не

— Кооперацию откроем — выкупим тебя, — сказал Семенов, уходя.

Савелий так и подпрыгнул, хлопнув себя по ляжкам:

— Ай, хорошо! Жду не дождусь, честное слово. Я бы в продавцы пошел, в услужение советской власти.

Он догнал Николая и, утираясь фартуком и вздыхая, пошел с ним рядом. Анна Михайловна слышала, как он визгливо бубнил:

— Брат-то мой Кузьма, царство ему небесное, выродок был. Супротив народа пошел... Ну, бог и наказал его прежде время кончиной. Я, Коля, с народом неотступно. Сам видишь — куда мужики, туда и я... Что тебе надо — заходи, с полным удовольствием... завсегда.

«Обхаживает... Жулик и есть», — решила Анна Михайловна.

И все-таки доброта Савелия Гущина, его веселый, открытый нрав, трудолюбие и, главное, простое обращение нравились Анне Михайловне. Иным был ямщик Исаев, открыто ненавидевший бедноту, кичившийся своим богатством и недовольный новыми порядками.

Когда выбирали совет, Исаева и Гущина лишили права голоса. Савелий только летал да посмеивался. Исаев же орал:

— Зимогорья слобода... Анка Стукова, нищенка, в министры ворье выбирает, а работающему человеку рот зажат. Вали... нише время... Да надолго ли?

В престольный праздник казанской божьей матери пьяный Исаев заложил тройку и катал по селу своих гостей, точно на свадьбе. Заливались бубенцы, саврасый коренник, разметав лохматую, в лентах, гриву, высоко нес расписную дугу. Пристяжные, вытянув оскаленные морды, стлались по земле, и пыль кипела под их копытами.

Исаев, в вышитой белой рубахе и бархатном жилете, метался на передке тарантаса. Картуз торчал на его голове лаковым козырьком назад.

— Врете, дьяволы, что голоса не имею. Голос у меня — ого-го! На всю округу слышно... — ревел он,

— Выкарабкались... сволочи, — бормотала она. — Попадать бы с четырех сторон... чтобы духу вашего не было.

Иногда в палисад заглядывал Николай Семенов. Он непременно опускался на лавочку и подолгу сидел молча, крутя «собачью пожку». Как-то раз спросил:

— Тоскуешь?

— Нет, радуюсь, — с сердцем сказала Анна Михайловна. — Живут люди..

— Ну?

— Вот тебе и гу. Мужей наших поубивали богатеи и жиреют... Так бы, кажется...

Она подняла кулаки, вздохнула и уронила их на колени.

— А ты ненависть побереги. Пригодится, — сказал Семенов, чиркая спичку.

Огонь озарил его худое черное лицо в рыжих колючках. Семенову тоже жилось не сладко. Семья все прибавлялась. Как с лютым врагом, бился он с нуждой и не мог одолеть ее. Помолчав, он сказал:

— Дай срок, и мы заживем.

— На том свете... — усмехнулась Анна Михайловна. — Спасибо!

Нахмурившись, Семенов зажег цыгарку и бросил спичку. Огненным мотыльком порхнула она в темноте и погасла.

— Зачем? Не об этом речь на сегодняшний день. Власть то в наших руках. Ленин знает, что делает... Чувешь?.. Силу коим. Придет время — разлавим кулачки, как букашек...

Он курил, покашливая.

— Ты вот что... в исполком сходи. Наказывали... Там тебе пособие выхлопотали.

Медленно и неловко повязывала Анна Михайловна сбившийся платок. С реки тянуло сыростью. Где-то во ржи неуверенно закричал дергач и смолк. В палисаде, на могиле, щебетали ребята. Анна Михайловна тронула Семенова за локоть:

— Не сердись, Коля... Баба я, вот и болею сердцем... Да не за себя, пойми, ребятешек жалко!

— Айда! — командовал Мишка, пряча хлеб за па-
зуху.

И они поспешно убегали из избы.

Анна Михайловна видела из окна, как быстроногий Мишка стрелой летел по улице, оставив далеко позади себя увалистого брата. Придерживая штанишки, Ленька переваливался с боку на бок и сердито кричал:

— Мишка, стой!.. Мишка, обожди меня!

Мать отходила от окна и бралась за дело. Иногда, вспоминая про умерших детей, она высчитывала: «Старшенькому, Володе, на Егорьев день двадцать лет минуло бы. Парень был бы... подмога. И Катюшке шестнадцатый пошел бы. Невеста... За какие грехи господь отнял у меня детей и мужа?»

Но чаще она думала о живых, и тревога не покидала ее.

«Кажись, и не поднимешь ребятушек моих, сиротами останутся,— тоскливо приходило ей в голову. — Силы, чую, не стало. Как наклонюсь — голова кружится и в глазах темнеет. Вот и поясница ноет, пес се задерн. Намедни плетюху отавы зараз не могла принести... Господи! Ради деток, дай еще пожить... хоть немножко... — жарко молилась она, опускаясь на колени перед образами. — Царица небесная, заступись ты за меня там, на небе. Ведь и ты матерью была, все понимаешь... Детские дома, говорят, есть в городах. Помереть не дадут, не такое время... Да без матки-то каково им будет? Побранить всякий умеет, а вот приласкать...»

И тут же, с огорчением вспоминая, как не замечают ребята ее, матери, она с досадой перечила себе: «А что им matka? Поели — убежали... ровно и нег матки. Им что родная, что чужая — одинаково, лишь бы сыты были».

Это была и правда и неправда. Сыновья не замечали ее, пока все шло хорошо. Но стоило их обидеть кому-либо на улице, ребята с ревом бежали к матери в избу.

— Так вам и надо! — сердилась Анна Михайловна, ожесточаясь. — Поменьше с озорниками водитесь. Я вот еще от себя прибавлю,— грозила она. Но, взгля-

нув на измазанные грязью и слезами лица сыновей, утешала и ласкала, как могла: давала по куску сахара, прикладывала к синякам медные пятаки, отмывала теплой водой грязь, приговаривая: — Смотри-ка, и мать сыскалась... Завсегда так. Пока не больно — и мамки знать не знаем... А у матери вся радость — лишний раз взглянуть на вас.

Ребята сидели смирно, умытые, покорные. Они грызли сахар, слушая мать, и, ласкаясь, клали иногда головы ей на колени. Она брала гребень, приглаживала вихры. Ей было хорошо, и она, довольная, закладывала:

— Много ли матери надо? Ласка для нее всего слаще.

Мишка поднимал голову:

— А сахар?

Анна Михайловна грустно смеялась. Ей хотелось подольше удержать сыновей возле себя, что-то сказать им такое заветное, нужное на всю жизнь. Но синяки у ребят переставали болеть, и улица снова манила их. Подтая ногami и насвистывая, Мишка уже строил планы, как отомстить обидчикам:

— Подстерегу вечером у овина, да и звездану камнем. Пошли, Ленька, в куру играть.

— Пошли.

Он окружал свой мир — с играми, удочками, ногами, синичками, драками. Каждый день ребята открывали что-нибудь новое. И они делились этой новостью с Мишкой.

В Гущинах Ласка оценилась. Трех принесла... — Ленька, — побила Ленька за обедом. — До чего вкусно! Похвастай, похвастай, а глаз нет... Мам, почему не жаришь жареных боровков?

— Да жареных боров так положено, — объясняла Анна Михайловна. — Вот похвастуй, и глаза будут.

В жареных боровках?

— Жареных боровков! Мишка нахально толкал брата.

— Да жареных боровков! Похвастуй. Люби у тебя жареных боровков, и глаза растут.

Ленька переставал есть, думал и, посапывая, взглядывал неодобрно на мать:

— С Мишкой мы... тоже без глаз... родился?

— С глазами, — улыбалась Анна Михайловна.

— А почему? — допытывался Ленька.

— Ну, почему, почему... Много будешь знать — борода вырастет. Говорю, от бога все.

Ей было приятно это неспасительное ребячье любопытство, хотя иногда вопроки сыновей ставили ее в тупик и она не знала, что отвечать. Ее трогали и водили неумелые, застенчивые ласки ребят, маленькие услуги, которые сыновья ей оказывали то неохотно, с перекорами и жалобами, то с азартом — «кто скорее»; трогали пустяки: вот Мишка за чаем, распорядившись кринкой топленого молока, положил ей в чашку румяную пенку, вот Ленька, ложась спать, аккуратно сложил рубашку и отнес на сундук, как она учила... Мать замечала все.

•

Однажды ребята ушли на Волгу и долго не возвращались. Анна Михайловна, беспокоясь, пошла их искать.

«Уж задам я вам порку, негодяи... Еще потонете со своими удочками... Ни за что больше на реку не отпущу!» — гневалась она и выломала на гумне, по дороге, ивовый прут.

Выйдя в поле, она еще издали увидела сыновей. «Бредут нехотя... а у матери все сердце изболелось». Она сжала в руке прут и остановилась, поджидая.

— Вы что же это делаете? — закричала она, когда ребята подошли ближе. — Матери не слушаться? Ведь сказано было вам...

И замолчала, спрятав прут за спину.

Ребята шли медленно и важно, точно с ярмарки. Мишка тащил удочки и банку с червями, а Ленька, откинув наотмашь свободную руку и изогнувшись, словно от непомерной тяжести, нес веревочку, на которой болталось несколько рыбешек. Это была их первая добыча.

— Посмотри, мама, сколько рыбищи, — сказал Ленька, подходя и протягивая веревку. Голубые глаза его восторженно сияли. — Вот эту рыбину я поймал. Окунь... Здорово, дьявол, заглотал, напилу крючок вытянул... — возбужденно рассказывал он. — А это сорога, видишь? Ишь, бельма красные выпучила!

Мишка бросил на землю удочки, банку и тоже схватился за добычу.

— Два ерша мой. Эвон, колючие! И сорога моя... Как дернет, пробка на утол и... Я больше Леньки плазил, — захлебываясь словами, хвастал он. — Дай мне, теперь моя очередь.

— Вот так ваша рыба... кости одни, — проворчала мать, вынимая из-за спины пустые руки. — Измочились, Григори-то на штанах! Вот и стирай на вас... А это варань, что ли? — она потрогала серебристого подлещика.

Она варила в кашнике уху, и ребята угощали ее за завтраком.

— Ишь, мама... еще наловим.

— Теперь мы тебя рыбой закрормим.

Ох уж ма... добытчики! — усмехнулась мать.

Она протирала ложку, почерпнула ухи. Рука у нее замерла, и она положила уху на стол. Сыновья с радостью потянулись кашник поближе к матери.

XIII

Теперь Анна Михайловна меньше беспокоилась, сколько ребят сидит в избе на долгие летний день. Она только протала от них спички и наказывала далеко от огня не ходить.

Вашими ребята боялись этот материн наказ. В доме жила еще и Павлик, и они весело шутили, когда мама была.

Вот так же и в этот раз. В такой же жаркий день. Но она была сердитая и думала, что ребята не будут слушаться. Она была сердитая и думала, что ребята не будут слушаться.

Их, ребят, не было.

Ребята с криком бежали на улицу. Дед Панкрат присаживался на завалинку, набивал глиняную трубку-посотрейку едучим «самосадам» и дымил, как волжский пароход.

Ребята нетерпеливо терлись об его колени.

— Дед, что принес?

— Ничего.

— Нет, покажи! — приставал Мишка и лез к карману.

— Брысь! — ворчал дед, отталкивая. — Каждый день вам гостинца приносить... больно жирно будет.

— Принес! Принес! Эвон из кармана топырится... — кричал Мишка, прыгая на одной ноге.

Ленька, пристально глядя в густую сивую бороду деда, серьезно спрашивал:

— Это у тебя в трубке хрипит или в груди?

— В груди, воробышек, в глотке, — бормотал дед, заволакиваясь дымом — Трубку я, почесть, перед каждым куревом чищу, а глотку... чем ее прочистишь? Разве в праздник винцом чуть-чуть... С музыкой живу.

Выкурив трубочку и прокашлявшись, дед подмигивал притихшим ребятам, и Анне Михайловне видно было из избы, как он медленно запускал корявую ладонь в просторный карман штанов. Он долго шебаршил там, кряхтел, словно никак не мог вытащить что-то большое. Ребята совались ближе, и дед Панкрат, блаженно жмурясь, показывал из кармана три черных пальца, сложенных фигой.

Мишка и Ленька покатывались со смеху. Не уступал им и дед. Ежедневно он начинал с этой шутки, и всегда она доставляла и ему и ребятам удовольствие.

«Что малый, что старый... одна поеха, — думалось Анне Михайловне — Складный старик, болтлив только».

А Панкрат уже вынимал из кармана самодельную игрушку.

— Что это такое? — спрашивал он.

— Дудка.

— А ну... подуди, — приказывал дед.

Мишка пробовал, но у него выходило плохо. Дудка хрипела, как старая, сдавленная грудь Панкрата.

— Еще, дед, расскажи еще! — просили они.

И дед безустали чесал языком, покуривая носогрешку и глухо кашляя.

Ребята так привязались к Панкрату, что Анна Михайловна стала даже косо на него поглядывать. «Носит нелегкая... Ровню приворожил ребятишек, болтун, — с досадой думала она, следя за стариком ревнивыми глазами. — Небось, около матери так не трутся».

— Не смей у меня на улицу бегать! — сердито приказывала она сыновьям.

— Дед пришел, — объяснял Мишка, не понимая, на что мать гневается.

— Ну и что же?

— Рассказывать будет... интересно.

Так продолжалось целое лето. Потом сыновья стали реже выбегать к деду. И как-то утром, идя на гумно, Анна Михайловна услышала недовольное замечание Леньки:

— Ты, дед, позавчера про это говорил.

— Разве? — удивился Панкрат и смущенно почесал лысину. — Скажи, какой памятный.

А Мишка, небрежно подкидывая и ловя на ладонь сивистульку, настойчиво спрашивал:

— А гармонь делать умеешь?

— Умею.

— А почему всё дудки приносишь?

«Надоел», — решила Анна Михайловна и успокоилась.

XIV

Трудно было угодить сыновьям. Они всегда требовали нового, необыкновенного и терпеть не могли слушать или делать одно и то же. В погоне за этим новым они познавали страх, боль, радость, мальчишескую зависть и гордость. Очень скоро научились презирать слезы, стали стыдиться ласк матери, научились уважать смелость, выносливость в том особенном детском понимании, когда головокружительный прыжок с крыши или хождение босиком по снегу кажутся герой-

ским подвигом. Разумеется, они подражали взрослым мужикам в курении табака, сплевывании, брани.

Анна Михайловна и смеялась, и сердилась, и плакала, глядя на сыночек. Вместе с ними она переживала свое детство, такое далекое и туманное, как неуловимый край неба осенью, детство, вдруг вернувшееся к ней и озарившее ее дни молодым, горячим светом. Сквозь забавы и страсти сыновей материнский пытливый глаз примечал складывавшиеся характеры.

Маленький, юркий и озорноватый Мишка любил шумные, подвижные игры. Он придумывал их множество и всегда бросал, не кончив. В избе и на улице Мишка бедокурил больше брата, всех передразнивал, задирали. Он любил петь и свистать на все лады. Особенно нравилось ему брать деревянную облезлую поварешку, натягивать на нее сташенные у матери нитки и, сев на порожок, воображать, что он играет на гитарке. Нитки пищали слабо, и он подсоблял им, громогласно наигрывая песни губами.

— Головушка у меня болит от твоего баловства. Перестань! — приказывала мать.

Мишка надувал щеки и трубил пуще прежнего.

— И тебе что сказала? Положь на место поварешку.

Сын непременно передразнивал, повторяя ее слова, и, рассерженный, слетал с порога.

Попирать нельзя! — и швырял ложку на пол. «Попи и меня!.. огонь!», — мелькнуло у Анны Михайловны.

Противу ради она шлепала сына. Тот ревел, больше от обиды, чем от боли.

И совет пойдю, — грозил он. — Там тебе покажут, как мальчишек бить.

«Ах, ну мать, то и совет? — Анна Михайловна вытаращила глаза. — Ах, стервец, что ты!..»

Анна Михайловна сидела на кровати.

Противу ради она шлепала сына. Тот ревел, больше от обиды, чем от боли.

тем громче, с вывертами и соловьиными коленцами, с прищелкиванием языком, пальцами. И вот уже вся изба заселена дроздами, синицами, чижами, малиновками, и нет от них нигде спасения.

«Экий певун... Душа играет, пусть», — умилялась Анна Михайловна, повязываясь платком, чтобы в ушах не так звенело.

Ленька уважал игры тихие, сидячие. Любимым его занятием было строить домики, огороды, мостики, вначале из прутьев веника, спичечных коробков, щепочек, потом из чурбашков, старых жестяных банок, проволоки. Молчаливый, не по летам рослый и сильный увалень, он залезал иногда с утра на сундук и, посапывая, вечно что-нибудь ладил. Раз взявшись за дело, не бросал его, напротив, возвращался к нему на другой день, на третий, пыхтя и вдохновенно высунув на сторону язык, строгал, резал, стучал, пока не выходило то, что он задумал.

Тогда он, переваливаясь и вздыхая, шел к матери показывать.

— Что же ты сляпал такое? — спрашивала она. — Не пойму.

— Эва, не видишь — дом... — хмурясь, отвечал Ленька. — Вот на крышу драки нехватило. Дыра, видишь? Дождик пойдет — все измочит... Дай лучинку.

«Вылитый тятка... плотником, должно, будет», — думала Анна Михайловна, приглаживая русый хохол на голове сына. И чувствовала — Леньку она любит больше, чем Мишку. Она рассказывала Леньке об отце, как они хорошо жили прежде и как заживут хорошо, когда они, ребята, вырастут и будут помогать матери. Уставив неподвижные голубые глаза на рот матери, Ленька охотно слушал ее и все попытывался о чем-то потаенном, самом главном, не высказанном матерью.

— Дотошный ты у меня, — смеялась Анна Михайловна. — Не все дано человеку знать. Все только один бог знает-всдаст.

— А почему?

— Уж такой он всезнающий, всемогущий...

— Дядя Коля тоже все знает. Он — всезнающий?

— Иди, иди, Емеля,— сердилась Анна Михайловна, принимаясь за работу.— Мешаешь ты мне разговорами.

— Сама звала,— говорил Ленька. И, подумав, невесело усмехался:— Не знаешь ничего, а рассказываешь... Эх, ты!

Промеж себя братья дрались нещадно — из-за палки, понравившейся обоим, из-за того, что кусок пирога мать дала одному вроде как поболье и поджаристей. Начинал всегда Мишка. Как петух, налетал он на увалистого брата и, пользуясь его неповоротливостью, щипал, царапал, дубасил кулаками. Ленька обычно лишь оборонялся. Но если царапки и щипки довели его по-настоящему, он свирепел, и горе тогда было щупленькому слабенькому Мишке.

Анна Михайловна брала веревку, с которой ходила за дровами, и живо разнимала драчунов.

— Господи, когда вы у меня поумнеете? — кричала она в отчаянии.— Грызетесь, как собаки... Ведь братья родные. Разве так можно?

Братья виновато молчали. Час-другой их не было слышно и тебе, и потом все начиналось снова.

Горько и странно было думать матери, что сыновья никогда не будут дружны, что вот подрастут они и так горячую руку в ход пустят пожи, колья, и тогда она мечтала, за что бьется — одинокая, старая — разбегаясь придорожной пылью, и она, мать, плакала и порывалась на сыновей.

Однажды в драке Ленька зашиб брату глаз. Сильно болела голова, и глаз закрывался. Анна Михайловна, выйдя из комнаты, пролила слезы на голбец, который не успела и разогреть, ушла с коромыслом в руки. Когда она вернулась и, неожиданно отворачиваясь, увидела в углу, что мать потянула к голбцу руку, чтобы вытереть слезы, она вскрикнула и на бегу вышла из комнаты.

На следующее утро, когда брату стало легче, мать пришла к нему в комнату и сказала:— Ты и правда не

забывай, что ты брат —

— Да-а... тебе бы та-ак...

— Я ненарочно. Ты не реви.— Ленька помолчал. Потом наклонился к брату и неумело и застенчиво похлопал его плечо.— Слушай, ударь меня... в глаз. Со всей силы ударь. Ну?

Мишка, всхлипывая, не отвечал.

— Хочешь... я сам ударю? — страшным шопотом сказал Ленька.— Вот скалку возьму и ударю себя в глаз. Хочешь?

Мишка приподнялся, отнял ладонь от мокрой, вспухшей щеки. Исподлобья, одним глазом, посмотрел на брата.

— Ударь,— согласился он.

Брат полез за скалкой. Мишка наблюдал за ним. Вдруг он схватил Леньку за руку:

— Не надо... Ленька, не надо!

Анна Михайловна осторожно сняла ведра с коромысла, поставила их у порога и вышла из избы, тихо притворив за собой дверь.

XV

Сыновья пошли в школу, и забот Анне Михайловне прибавилось. Она перешивала мужнины ластиковые рубахи, штаны из «чортовой кожи» и старенькие плотничьи пиджаки «на рыбьем меху». Тащила к сапожнику штиблеты, голенища яловых сапог, валенцы. Чинила и лагала все, что можно было, пока материя не расползалась под иглой. Перетряхнула запас мужниных вещей раз, перетряхнула два, скоро этому запасу пришел конец. Добралась она и до пронафталиненных праздничных кофт, юбок и подвенечных, хранимых, как сокровище и память, желтых башмаков с пуговками.

— Думала, в гроб в них лягу, аягодились при жизни.— пошутила Анна Михайловна, с тихой грустью разглядывая башмаки. Они были совсем новые, аккуратные, на розовой фланелевой подкладке и с такими узкими носками, что Анна Михайловна подпиралась, как могла их надевать.

И она вспомнила, как жали ей ногу эти башмаки в церкви, во время венчания, и как непривычно ей было ступать высокими каблуками по гулкому и скользкому каменному полу. Глоссы ступой ослепляли ей глаза. Она не видела Лешю, но тревожно и счастливо чувствовала его рядом. «Исая, ликуй!» — громом раскатился на хорах торжественный возглас с клироса. У Анны Михайловны испуганно и радостно забилось сердце. Рука у нее задрожала, свеча покосилась, и горячий воск обжег пальцы. Шафер, Петр Иванович, молча поправил ей свечу, и она, невольно оглянувшись, увидела подле себя черный, с залежалыми складками, рукав Лешиного пиджака. Рукав был короткий, знакомая кисть руки, с большой ладонью и длинными узловатыми пальцами, свисала, точно выдернутая. «Что он рукав-то не поправит, ведь выжидает», — подумалось ей тогда. Она отвела взгляд, потом застенчиво покосилась еще раз, пробежала глазами по рукаву вверх и увидела белый ворот Лешиной рубашки — ворот туго обнимал загорелую шею, еще выше увидела краешек бритого подбородка... Дальше она не посмела взглянуть...

исдоволен, все ему мало. Многополье какое-то выдумал, свеклу сеять. Поделом мужики его подняли на смех. Накричит, наорет, а потом самому стыдно. Ольга сказывала, в воскресенье напился пьянехонек и заплакал. Совесть, должно, мучает.

Анна Михайловна вспомнила сходку осенью. Бородатый и постаревший, сидел тогда Петр Елисеев в палисаде, у могилы. Суконный рваный картуз валялся подле ног. Ветер наметал в картуз блеклые листья, трепал, поднимая дыбом, жесткие выцветшие волосы на голове Елисеева, обнажая изуродованное ухо. И тогда Анне Михайловне, против воли, было жалко Петра. Он жевал ус и, не глядя на мужиков, хрипло ругался:

— Как звери живем. Друг друга норовим заживо слопать... Да разве это жизнь? Тыфу! Брошу все к чорту... уйду в город... стану рабочим. Провалитесь вы с землей, коли толку в ней не понимаете!

— Вы с Семеновым толк знаете, — насмешливо отвечал Исаев. — У одного министра рубаха с плеч свалилась, другой — на турнепсе помешался... Умники!

— Не ахти ума надо, чтоб многополье завести. Пятый год твержу. На факте доказал... опытами.

— От твоих опытов с голоду подохнешь... Нет уж, разводи турнепсы на своей земле, да вот еще у дружка прихвати. Он все ранно в перелогн землю-то запустил.

— Семенова не трожь. — заступился хромою Никодим. — У него рысаков нет, да душа чиста... Ладу, Петр Васильич, промеж нас, точно, мало. Иной раз — дело пустяк, а разговору с три короба. Дорогу пойдем чинить и то переругаемся. Город дружней живет, это верно. Город — любота.

— А почему? — спрашивал Елисеев сердито. И сам себе отвечал: — Командир есть. Фабрика — что эскадрон: дисциплину знает... Амуниция пригнана — не звякнет, не брякнет. На работе народ, как на войне... А у нас? Подними в поход — потянется леший знает что, сам чорт ногу слюнит.

— А ты отдай добро товарищам, вот оно мешать и не будет, — посоветовал Исаев. — А? Жалко?

— Жалко... что не было меня здесь в восемнадцатом году,— отрезал Елисеев, доставая картуз и выпрямляясь.— Не пришлось бы тебе сейчас языком блудить.

— В совхозе вот еще хорошо...— задумчиво говорил Андрей Блинов.— Проезжал я вчера с базара мимо кривецкой усадьбы посмотрел. Ширь... трактора-ми пашут... жорядочек.

— Пиши Калинин у прощения — все деревни на совхозы переделают,— верещал Савелий Гуцлин, нестелю обнимая Блинова.— Рай... где нас нет.

— Николаша Семенов сказывал — мужичьи совхозы есть,— осторожно заметил Блинов.

— Коммуна? Твое — мое... Слыхали, родной, слышали! — застрекотала Прасковья Щербакова, вмешавшись в разговор.— Намедни стучит под окошком соседний Пузо голое, а обут в валенки. «Откуда, сероподпавший?» — спрашиваю. «От Знаменья, грит, из коммуны». Поддай Христа ради кусочек, околеваем с голым...»

— А ты помолчи, трещотка. Без тебя тошно.

Ней больше, может, тошнота пройдет и ума прибавится.

У тебя займу, пустобреха.

Сказавшая незнамо отчего... и дивя кто — сытые. Но не надо да плохо,— думала Анна Михайловна, покачивая все это и качая головой.— Настоящего голода не переживу, вот что. Пожили бы, как я, небось голода не оставили бы языком чесать».

Она еще раз осмотрела подвенечные башмаки.

— Ну, Мишка, померяй... У тебя нога вроде не влезла. Ленке, пожалуй, не влезут.

— Я же стану и в бабьих башмаках ходить... как Ленка... заговорила Мишка.

— Вот и тебе в туфельках куплю! Из каких башмаков? — заговорила Анна Михайловна.— Скажи, Мишка.

— Я же стану и в бабьих башмаках ходить... как Ленка... заговорила Мишка.

— Ну, Мишка, померяй... У тебя нога вроде не влезла. Ленке, пожалуй, не влезут.

— Врешь!

— Ей-богу... — ревел Мишка, болтая ногами. — Я босиком лучше, ма-амка...

— Дитай я померяю, — сказал Ленька, хмурясь и не глядя на мать.

Пешапывая, он натянул башмаки, застегнул через пуговицу, прошелся по избе, прихрамывая и стуча каблуками. Башмаки жали, словно колодки, но, чтобы не огорчать мать, Ленька уверенно сказал:

— В самый аккурат.

— Ну, и носи на здоровье, — ласково разрешила Анна Михайловна и задумалась снова. — Ума не приложу, во что обуть Мишку... Разве спросить у Савелия Федорыча... не продаст ли каких стареньких, завалящих... Ох, беда мне с вами, ребята!

XVI

Быстро, словно горох в огороде, росли парнишки. Анна Михайловна не успевала надставлять им рукава и штаны. Большерукие, вихрастые, сыновья уже таскали матери воду, кололи дрова и за столом ели, как газавдашные мужики. Прибежав из школы, не раздеваясь, они первым делом лезли в суднавку. Экономя каждый кусок, мать, когда бывала одна, ела хлеб-банье с картошкой вместо хлеба, приберегая для сыновей лишнюю горбушку.

Подомила вторая зима, и ребятам не в чем стало ходить в школу. От материнских праздничных юбок, кофты, башмаков и поминку не осталось.

Упала духом Анна Михайловна. Сколько ни воротила она в чулане старье, гадая, не завалялось ли что-нибудь путное на ее счастье, под руку попадались одни лохмотья да гнилье. Как ни раскидывала она умом — придумать ничего не могла. Пособия нехватало на еду. Итти в исполком и просить прибавки Анна Михайловна не смела: ведь не инвалидка же она безрукая или безногая какая. Обратиться к Николаю Семенову совестилась. Да и чем мог помочь Семенов, — у самого ребятя босиком бегала.

падала. И не приходило желанное забытье. С надеждой и молитвой смотрела Анна Михайловна на образ Христа, а видела церковного старосту, который, поспешивши кривые пальцы, раньше срока тушил ее свечу и, поплюхав, прятал огарок в карман.

«Видно, и бог-то нынче обеднял», — горько думалась Анне Михайловне. И не радовало, что отец Василий приветливо кивал ей, когда она подходила к кресту, и не сразу отнимал его медный ледяной краешек от ее скорбных губ. Из церкви Анна Михайловна возвращалась разбитая, точно после работы...

*

На самый покров выпал сухой, крупянистый снег, и сразу ударили морозы.

Ребята прибежали из школы опушенные инеем. Они не полезли, как всегда, шарить в суднавку, а поскорей стали раздеваться, так продрогли. Развязав кое-как тесемки у своей заячьей шапки-ушанки, сбросив на пол рваную материную кофту, Мишка присел на нее, ухватился окоченелыми руками за веревки, которыми для крепости были обмотаны опорки, и расплакался — ноги у него примерзли к портянкам. Ленка, сидя на пороге, молча щипал и растирал белые, не чувствовавшие боли, словно чужие, подошвы.

Тогда Анна Михайловна решилась. Отогрев и накурив сыновей, она, несмотря на поздний час, пошла на станцию, в железнодорожный буфет, продавать корову.

«Буду жива — выкормлю новую, — утешала она себя дорогой, плотнее запахивая шубенку и по самый нос кутаясь дырявым полушалком. — Справлю ребят — валенки, пальтишки какие немудрящие... глядишь, и на телочку останется. Год прогорюем без молока, а жить не умрем... Да в корове ли свет, господи? Ребятишек бы в люди вывести...»

А в глазах стояла Красотка, белоногая, очкастая. Вот идет она с выгона — посмотреть любо, как павыныстывает, каждая шерстинка светится на солнце, розовое вымя задевает траву. Шутка ли, с новотелу

по двенадцать криюк доит. Поди-ка сыщи другую такую корову. В еде аккуратная, а молоком хоть облейся. Не чаяла с ней расстаться Анна Михайловна.

— Дорогушечка моя, безответная... — шепчет Анна Михайловна, и липнут веки морозной слезой.

Скрипит под лаптами снег. Кружится мгла перед глазами. Вет шубенку ветер, лютю бьет в загорбок. Опомнись, что ты делаешь? За коровой дом продашь, суму наденешь. Не одна ты — ребята пагубу примут.

Седые ели машут длинными ветвями, загораживают дорогу, зло осыпают снегом. Ой, поверни назад, пока не поздно! Не под стать твоим сыновьям грамотным быть. Припасти-ка зараз лапти и кнут... премысли невидный, да сытный.

Остановилась Анна Михайловна. Так ей холодно, даже сердце озябло. Полдороги не пройдено, коли поворачивать назад, через полчаса в тепле будешь.

Только подумала, и померещился ей человек впереди, нахмуренный, прямой такой. Идет — будто дорогу вымывает и громко так торопит: «Скорей, скорей!» Слышит на нем сапоги яловые, новые. Парусит, стелется по голенишам серая шинель... «Скорей, скорей!»

А не Лена ли это с того света знак посылает?

Не обрести-ли Анна Михайловна, смахнула иней с лица, стерла слезы. Одна она на дороге стоит и от ветра дрожит. Далеко за лесом горит в небе зарево, слышней. Нет, будь что будет, нельзя Анне Михайловне поворачивать назад.

Вперед, вперед, поспешней — и впрямь на дороге человек идет и лютю горлавит. Знакомый точный шаг. Вперед, вперед поспешней, и некому ни поворачивать, ни ждать.

Второй том повести «Сны и рассказы»
Анны Михайловны

Полный текст и другие

— Михайловна, ты?

— Никак... Коля,— не вдруг ответила Анна Михайловна.

Он самый. Куда, на ночь глядя, потащилась? — весело спросил Семенов, здороваясь.

А из Михайловна промолчала. Дивно ей — стоит на морозе Семенов точно летом: пиджак ватный нараспашку, голова непокрытая, ворот рубашки расстегнут, и шапка с варежками подмышкой. Усы промерзли, сосульями висят, а от копны волос пар валит. «Пьяный», — догадалась Анна Михайловна.

— А я с поезда. В губ... в губернию ездил, на партийную конференцию, — словоохотливо сообщил Семенов, поворачиваясь спиной к ветру и закуривая. — Насмотрелся, наслушался на всю жизнь. Что я видел! М-м... Михайловна! Да не в городе, в деревне. Верст сорок от города деревня га... Озябла, дрожишь? Нака, выпей... Я, знаешь, на радостях половинку в буфете отхватил.

Не хотела Анна Михайловна, да приневолил Семенов, глотнула из бутылки.

— Что за радость? — спросила она, больше из благодарности, чем из любопытства, чувствуя, как бежит ручьями желанное тепло по телу. — Прикрой голову, охолодаешь, — пожалела она пьяного Семенова.

— Жарко мне, — сказал Николай, утираясь рукавом, однако послушно нахлобучил шапку, но пиджак такой так и не застегнул. — Вылезает, Михайловна, в прениях на трибуну достают один — мужичонка, с виду незаметный. А про дела такие говорит, аж пот пришибает... Ночевали мы с ним вместе в Даме крестьянина, я его и прижал: «Не верю! Залезаешь! Партийную конференцию в обман вводишь!..» А он чуть не крестится — правда. Приезжай, дескать, посмотри... Сороч верст киселя хлебать кому захочется... А я возьми да и прикати. Два дня гостил. Живут, леший их задери... Н-ну!

Семенов ударил в ладоши и пригнулся. Под ноги ему, должно, попалась ледяшка, он поскользнулся. Поднял ледяшку, уставился на нее, чему-то улыбаясь,

потом глянул на ели, выбрал глазами дальнюю, самую тонкую.

— П-попаду... или не попаду?

По-мальчишески отступил назад, размахнулся, кинул ледяшку.

— Промазал... — пробормотал он с огорчением.

Глухо шумели вокруг разлапые ели, осыпая полюющий снег. Ветер подхватывал его и швырял в лица, царапаясь ледяными иглами. Зло разбирало Анну Михайловну. Стоит посреди дороги и с пьяным лясом топчит, на ребячество его смотрит, словно дел у нее никаких больше нет.

— Не пойму твоей радости, — сказала она с досадой. — Мало ли народу хорошо живет. Нам-то с тобой от этого легче?

— Будет легче... если и мы... на эту дорожку поведем, — ответил Семенов и совсем по-пьяному зачастил бессвязно и громко: — Земля-а... ух, ты! Лошади, иппогарь... Не твое, не мое — общее. А работает каждый на себя. Смекаешь?... Нет, ты скажи — пло-хо? На имбир... шапка валится... взглянешь. То-то же! И теперь, в полсапожках ходят бабы-то по будням. Халат — задрался. Сам видел, провалиться мне, в полсапожки, и калоши новые. А называется: кол-хоз. Да что просто как! Вместе — на небо влезти. Отчего же? И поехали. Не хуже вас полезем... Толком не понимал раньше, а узнал... Теперь, брат, ра-аскусил. Шалишь! Попробуйте милицию. Я им, чертям, раз-во-рошу мозги за вымогательство денег. А машины? Полюбилось мне... Житья не дам, пока не тронутся. Ну что? Куда ты?

На дорожку

Семенов привел Анну Михайловну и, упираясь ватным ремнем

на шею, пошел, так как она пере-ворачивается. Пошел, так как пере-ворачивается. Пошел, так как пере-ворачивается.

На дорожку

Семенов привел Анну Михайловну, привел, так как пере-ворачивается. Пошел, так как пере-ворачивается.

— Говори прямой.

— Ну... — Анна Михайловна замялась. — Ну, корову... продать... хочу.

Николай остановился, словно протрезвел, застегнул пиджак, потом схватил Анну Михайловну за плечи, повернул лицом к себе.

— С ума спятила? — сердито спросил он.

И все, что накопело на сердце Анны Михайловны, прорвалось в крике:

— Спятишь! Жить-то как-нибудь надо? Трепотней твоей не проживешь... Ни обуви, ни одежки у ребят... Неужто в самом деле в пастухи придется отдавать? Где же правда-то!

— Не там ее ищешь, Михайловна, — задумчиво сказал Семенов.

Она пошла было дальше, но Семенов загородил ей дорогу, не пустил. Так ей и пришлось с ним вернуться обратно в село.

*

На другой день Николай поехал в город хлопотать для малоимущих школьников обувь и одежду от государства. Вернулся он им с чем, поехал другой раз, третий и добился-таки своего: привез школе десять пар валенок и несколько бобриковых пальтишек. Их распределили среди наиболее нуждающихся ребят.

— Вот тебе правда, Михайловна! — гремел Семенов, вваливаясь в избу с подарками. — К весне я твоим молодцам кожаные сапоги, как пить дать, оборудую. Ну, живем на сегодняшний день? Привалит к нам счастье, а?

Анна Михайловна устало отмахнулась:

— Уж какое там счастье... С голодухи бы не умереть — и ладно.

Но когда ребята обулись в серые, теплые, как печурки, валенки, надели новые, с барашковым воротниками, пальто, которых сроду не носили, и Анна Михайловна глянула на сыновей, — она поверила Ни-

колаю Семенову, и ей стало совестно за свои слова.

— Господи, ребята... как картини! — с волнением сказала она, отступая немного назад, чтобы лучше разглядеть обновки.

Она потрогала ворс на добротном бобрике, обогнула кругом сыновей, любуясь хлястиками и воротничками.

— Складные какме, только в праздник ходить. И широва целая... За кого же мне теперь бога молить, ребята?

XVII

Каждый вечер стал для матери маленьким праздником.

И день и избу порядком выстывало, и Анна Михайловна в сумерки, управившись по хозяйству, принимала ванну, клала ее в подтопок. Согревая выжидом пелюшкине, застывшие пальцы, чиркала спички, потом брала из кухни низенькую скамейку и, не выходя из комнаты, и полушубке и шали, садилась возле подтопка.

Ворочившись, свертываясь в трубочки, береста, которую вытаскивал из поленья, долго лизал их оветлым языком. Прохла разжигалась, трещали и шипели. Выходя горячего пара не то дыма били из сырого поленья, не то дыма били из сырого поленья. Теплый льющийся свет розовато-красный освещал часть избы. Отблески его дрожали на стенах и обрамлении стола, на оцарапанном нижнем конце стола, на тарелках и кружках под лавкой. Когда Анна Михайловна ложилась

в постель, она долго смотрела в светлое окно. В комнате было тихо, только слышались выходы и входы. Анна Михайловна долго смотрела в светлое окно. В комнате было тихо, только слышались выходы и входы. Анна Михайловна долго смотрела в светлое окно. В комнате было тихо, только слышались выходы и входы.

Анна Михайловна долго смотрела в светлое окно. В комнате было тихо, только слышались выходы и входы. Анна Михайловна долго смотрела в светлое окно. В комнате было тихо, только слышались выходы и входы.

ей, Анна Михайловна освобождалась от полушубка, шила и еще немножко сидела у огня. Жар лопнул, она отодвинула скамейку все дальше, потом снимала лямки, разматывала онучи и в одних чулках бродила в потемневшей, слабо освещенной избе. В старой, облупившейся кринке варила картошку ребятам. Наливала воды в самовар.

Не успевал самовар закипеть, как на крыльце гремела щекотка, знакомо топали подмороженные, точно деревянные, валенки, распаивалась настежь дверь, и в клубах холодного пара, словно верхом на облаке, влетали сыновья — в снегу, мокрые, красные и оживленные.

— Закрывайте дверь, все тепло у меня выстудите, — ворчала мать, зажигая лампу. — Господи, и где угораздило вас так вываляться?

— А, картошка! — удивляясь, говорил Ленка, сбивая шапкой снег с валенок. — Вот хорошо... Чур, геркию, самую обгорелую — мне.

— Пополам! Вместе сказали — пополам! — торопливо кричал Мишка и, кое-как свалив на пол в кучу пальто, варежки, шапку и сапоги, первым лез за стол.

Ленка раздевался медленно и аккуратно, относил свою и брата одежду сушиться на печку, грел руки у подтопка и потом уже садился рядом с Мишкой.

— Лбы-то хоть перекрестите, — говорила Анна Михайловна, сердито и счастливо оглядывая сыновей, резала хлеб, доставала соль и, подумав, приносила из чулана в чайном блюде остаток льняного масла.

— Ай да мамка! Вот это я люблю... Э-э, да тут его прорва! На всех хватит, — сообщал Мишка брату, заглядывая в блюдо и пальцем меряя глубину масла.

Если мать задерживалась на кухне, он торопил:

— Давайте есть... Мамка, что ты там копзеешься?

— Ешьте, ешьте, — откликалась Анна Михайловна.

Она садилась за стол напротив сыновей и из-за ситовара наблюдала, как ребята красными, отогретыми ручонками доставали из кринки белячую, дымящую паром картошку, дули на нее, перекладывая с ладошки на ладошку, чистили — белячу, словно мясо, — макали сперва в соль, потом в масло и отправляли в рот.

Анна Михайловна не столько ела, сколько, похлебывая, смотрела, как едят ребята. Мишка глотал торопыжко, давясь и обжигаясь картошкой, Ленка — не евши, как и все, что он делал, старательно прожеывая и посасывая от удовольствия.

— Маме, — значительно говорил Мишка, вынимая из кринки последние две картошины и показывая их брату. — Па, мама... ешь...

— Ешь, мама, — повторял и Ленка.

Анна Михайловна, усмехаясь, принимала картошки. Такие ребята, им и невдомек, что мать сыта тем, что поглядела на них, сыновей, порадовалась. Она вынимала ребятам чай и давала по большому куску сахара. Сама же еле откусывала зубами сахарные крупицы и пила чай по шести чашек, удобно обхватывая бокашки из растопыренных ладоней и подлевая правой ладонью правую руку ладонью другой.

На столе лежали разные разности. Они были для мамы знакомы много больше, чего мать не знала. Анна Михайловна была удивлена от неожиданных ниток и узелков, но, конечно, не всегда понятной, то ли это было хорошо, то ли плохо, но не похожей на прошлые времена. Она вспоминала из сказок Исавы, знала, что это было хорошо, но, конечно, не такое богатое.

Анна Михайловна вспоминала и другие, и плохое так же, как и хорошее. И тогда Анна Михайловна говорила то в

то время, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной.

Анна Михайловна вспоминала и другие, и плохое так же, как и хорошее. И тогда Анна Михайловна говорила то в то время, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной.

Анна Михайловна вспоминала и другие, и плохое так же, как и хорошее. И тогда Анна Михайловна говорила то в то время, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной.

Анна Михайловна вспоминала и другие, и плохое так же, как и хорошее. И тогда Анна Михайловна говорила то в то время, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной, когда она была еще молодой женщиной.

Хмурясь, Ленка повторял услышанную им от Николыя Семеновна фразу:

— Для того и строят, чтобы сапогов было побольше.

— Полно, дурак, сапоги-то, чай, сапожники шьют, не на заводах...

— Ничего ты, мамка, не понимаешь, — сердился Мишка. — Вот ни крошечки не понимаешь!

— Понять не трудно, жить тяжело, — вздыхала Анна Михайловна, принимаясь мыть чайную посуду.

— Скорей, скорей! — торопил Мишка, доставая с гвоздя холщовую сумку. — Нам уроки учить надо.

Ребята раскладывали тетради и книжки, ставили пузырьки с чернилами и, близко придвинув к себе лампу, склоняли головы над столом. Анна Михайловна садилась у печки за прялку. Ей было тепло и хорошо. Веретено пчелой жужжало в ее проворной руке, куделя как бы сама тянулась длинной и ровной ниткой. И так же, как нитка, сама собой тянулась дума о своем и чужом:

«...У Марьи Лебедевой корова не растелилась, прирезать пришлось. Ведь вот, где тонко — там и рвется... Ладно, Савелий Федорыч мясо купил и свою телку отдал. Человек богатый, а чужое горе понимает... Вот те и жулик. Зря его лавочку прихлопили... Беда, как и моя Красотка не растелится. Третью неделю межмолоками ходит, а брюхо разнесло бочкой. Уж не двини ли? То-то бы хорошо на мою бедность! Выполнила бы я телят да на жеребеночка сменяла... Коля Семеновз говорит — скоро лошади обичие будут. Поди-ко! Отдадут тебе мужики лошадей, что выдумал... И откуда у него берется такое, несусветное? Человек умный, а рассуждает, как ребенок малый... Тот раз думала — спяну болтает. Аи нет, и мужикам на собрании то же самое рассказывал... И ведь дивно слушают его мужики, выпытывают, вроде как не перят, а промеж себя ругаются, словно и про настоящее дело говорят. Чудно... Петр Елисеев распалился кричит: «У меня хозяйство, а у тебя нет ничего. Зна-

сит, на моем горбу будешь в колхозе этом самом, сжать?» А Исаев, лиса, нарочно подзуживает: «Чу, надоело тебе добро, бросить все хотел. Вот и отдай в колхоз, прожрут». Батюшки-светы, что тут было! Как на пожаре. Один Савелий Федорыч знай посмеивается, точно мирит народ. Да разве помиришь.. А зачет Коля толковать — тихо так становится, будто и согласны все. Замолчит — и пошло все сызнова, что ни слово, то «мать-перемать»... тошно слушать».

Эти споры о жизни, все чаще и чаще возникавшие на сходках, всегда кончались перекурами и руганью. И трудно было разобраться, кто чего хочет.

«У каждого свои расчеты. Попробуй угоди. Бог на кого не может угодить, человек — и подавно», — думала Анна Михайловна. Но всегда, когда начинались споры, она ждала — вот кто-нибудь из мужиков скажет одно единственное словечко, которого все ждут и ждут, и пойдет жизнь иначе, и ей, Анне Михайловне, вдохнется легко. Но такого слова никто не говорил. Да и есть ли на свете такое слово? Может, не надо мучиться обою Анна Михайловне, как огонек, что водопитие в сказке людям, разыскивающим клад. А вот огонек, а подойди, протяни руку — и нет огня».

«А ну, как сыщется это слово?»

Анна Михайловна слюнула пальцы, чтобы ловчее выковырять куделю. Веретено опускалось до пола и вставало в дело там; Анна Михайловна подхватывала его и вставала, сматывая звенящую пряжу.

«И кому бы не сыскаться такому слову? Многому в деревне и обидно... Вон как мужики Семенова рассуждают. И не мудрено — все по его выходит, Семенов думает и повелел Коля... Даже в голосе при этом Семенов брати рублем дарит и про запас еще рубль берет. Будет, и в самом деле сбудутся все мечты. Будет, и есть это самое слово, которое мы ждем. Будет, будет моим ребятушкам счастье. И будет овсяного растворить на кухне, и будет. Будет и в дукошке последки оста-

лись... Ну да как-нибудь... Молоко скоро... Продолжайте.

Анка Михайловна шурилась на свет. Сыновья, зажав уши ладошками, чтобы не слышать друг друга, иши пошали что-то себе под нос. Должно быть, заучивали стишки наизусть. Шустрый Мишка так и нылся в книгу, подпирая ее подбородком. Большая лохматая голова Ленки покачивалась из стороны в сторону, точно Ленка читал и все удивлялся написанному.

Вот и она, когда бегала в школу, любила заучивать разные стишки. Складные, помнится, были стишки, как песни пелись. Поди, теперь таких стишков в книгах не ишут.

И незаметно для себя мать переносилась в детство.

XVIII

Видела она низкую закопченную избу, солому, настилannую для тепла по глилому, щелистому полу. Окна наглухо завалены омялем, заткнуты тряпками, и не видно, что делается на улице. Должно, выюга, в трубе вьет, и холод ползет от дверей.

Подобрав под себя босые ноги, Анка сидит на широкой лавке у стола. Шубенка накинута на голову. Анке тепло и удобно, как в домушке. Она шолотом твердит заданный на завтра урок и, когда надо попортировать страницу, прислоняется щекой к книге, выщипывает губы и прихлывает ими листок. Выставлять руку из-под шубы лень, да и холодно.

Дымно горит в свече лучина, го вспыхивая, то затухая. Пригнув голову к зыбкому свету, насулившись по обыкновению, отец чинит сбрую. И дым лучины залутался у него в бороде. Отец отмахивается рукавом зипуна, трет карие добрые глаза.

— Поправь лучину, Анка... все глаза изъело.

Поневоле приходится выпрастывать из-под шубы руку, а то и обе, и очень долго бывает неловко, все никак не угнездисься, а потом опять тепло и хорошо.

Когда лучина горит светло, у печки видна мать. Она качает ногой скрипучую зыбку и прядет лен. И на спинной у нее, на белой печной стене, ворочается черная бабища и тоже прядет лен. А на голбце, в потьмах, покашливает себе да покашливает больная бабушка.

Урок выучен, давно отужинали, слипаются глаза — пора Анке спать. Но ей не хочется снимать шубу и так приятно дремать сидя, положив под голову книгу.

— Тягенька, у меня... на лаптях... дырочка... снег попадает, — сочно тянет Анка топиусеньким голбоком.

— Что же ты раньше не сказала? — ворчит отец. — Ну-ка, покажи.

Анка не решается ступить босыми ногами на холодную солому. Лапотки ее валяются на кухне — дуть не близкий. Она ворошится под шубой, смотрит на мать, и та, понимая ее, встает и приносит лапти.

— Э-э, баловница.. тут заново подошву плести... И когда успела порвать? — сердится отец. Но голос его совсем не строгий, отец любит Анку. — Бестолковая, сказала бы с вечера, а теперь — ночь не спать.

— Я, тягенька, прохожу завтра. Снег-то маненечко сыплется.

— А опосля захрипишь, как намедни, и тащи четвертак Пашке-знахарю, — вмешивается мать. — Не жалею у нас четвертаков-то.. Почини, отец, до петухов пождим.

Анка рассталась-таки с шубой и лезет на голбец к бабушке.

Замерзла, поскакушка? Подь на тепленькое место, — говорит бабушка, покашливая.

Скоропачается Анка калачиком и засыпает. А утроба ее тихо скрипит снег под ее лапотками.

Так проходит зима. А на вторую, под рождество, приходит Анка из школы и видит — лежит бабушка на лавке, под образами, вся в белом холсте, точно

в снегу. Мать воет и причитает. Отец, сколачивая гроб из старых досок, грустно говорит:

— Вот и нет бабушки... приказала тебе долго жить... Царство ей небесное, не во-время умерла. Придется, Анка, бросить школу, с мальчонком нянчиться...

Горько плачет Анка, ей жалко и бабушку и школу...

И вот она с подружками жарким летним днем, посадив на закорки братца, бежит на реку купаться. Ей тяжело, но отставать от девчонок не хочется. Братец дышит ей в затылок, шебаршит ручонками под подбородком — шекотно.

— Сиди смирно... а то брошу, — задыхаясь, говорит Анка.

За овинами колыхается высоченная рожь, и тропинки в ней — точно нора барсучья. Согнувшись, Анка ныряет в рожь. Подружек не видно, только слышны далеко впереди их щебечущие затихающие голоса. Анка прибавляет шагу, семенит изо всех сил, колосья хлещут братца по лицу, он плачет.

— У-у, толстун несчастный!.. Навязался ты на мою шею... — бормочет Анка, беря братца на руки.

Пот льет с нее в три ручья. Тонкие, как соломинки, руки совсем не держат братца. Нет, не дойти Анке до речки. Придется отдыхать. А во ржи одной страшно... А девчонки, поди, бесовестные, уже купаются. И вода, наверно, такая холодная, желанная... А может, донесет? Ну, еще маленечко, еще...

И в тот самый миг, как руки Анки бессильно пригибаются вниз и братец кубарем летит на тропу, — восковая стена ржи раздвигается, виден круглой зеленый берег и девчонки, с визгом барахтающиеся в воде.

Анка скатывается с братцем на песок.

— Нишкни... водяной утащит. Смотри, как я запырну сейчас!

Рубашонка сброшена, студеная вода обжигает голяшки, мурашки бегут по всему телу...

Кужель¹ на прялке кончился. Анна Михайловна робко пожала плечами и усмехнулась, чувствуя, как мурашки еще ползут по спине.

«Время было такое... учись не учись — в люди не выйдешь. Мне бы сейчас девчонкой быть, — подумала она, подвязывая новый кужель. — До грамоты я воступая. Может, докторшей бы стала, как попова дочка... А чем мои ребята хуже?»

Ей вспомнился Исаев, он играл ремennым кнутом и, поглядывая на ее сыновей, криво усмехался:

— Складные пареньки... В подпаски скоро?

— В семилетку скоро, — сухо ответила она тогда.

— Ну? — захохотал Исаев, щелкая кнутом. — Думаешь, за грамотных пастухов мужики больше платят?

— Врешь, врешь, нечистый дух! — пробормотала Анна Михайловна, мысленно продолжая спор с Исаевым. — И баба глупая, неученая... может, не все понимаю. Да ведь глаза-то и у меня есть. Вижу, куда сыновья поворачивают. Не сладко мне, а на старую не променяю, жилоглот окаянный.

— Кого ты там, мама, ругаешь? — спросил Леня, отрываясь от тетрадей и потягиваясь.

— Так я... про себя... Ты учи свои уроки, хорошо учи.

— Да и выучил, — ответил Леня, позевывая. — А Мишка уснул Ми-иника! Эй!

— Ну, чего орешь: «Ми-иника!» Я не глухой... И выкрик не слышу, — сердито передразнивая Леню, раздраженно бормотал брат.

А глаза своим открыл?

Израиль. Чтобы лучше запомнилось.

Сынотой. Слышал и, как ты нахрапывал.

Мишка встряхнул брата сумкой по голове и убежал прочь.

Вздох, рывок, шаг — прокатывается Анна Михайловна.

Она останавливается на минуту, замирает душой и душой и в этот момент, чтобы лучше

¹ Кужель — кнутовище, подвязываемое к прялке.

закис, потом идет во двор, к корове. И когда возвращается, сыновей уже не слышно.

С лампой мать подходит к кровати и долго смотрит на спящих ребят. Они лежат рядышком, лицом к лицу. Мишка держит брата за рукав: должно быть, они разговаривали в постели и сон оборвал их беседу на полуслове. Мишка, как всегда, спит, подкорчив ноги. Ленька, напротив, вытянувшись, и из-под дерюги выглядывает его желтая, словно брюква, голая пятка. Анна Михайловна осторожно поправляет дерюгу.

Щеки у сыновей горят огнем, и капельки пота висят на кудряшках возле ушей. Анна Михайловна наклоняется и слушает ровное, глубокое дыхание. Вот Ленька заворочался, чмокнул губами, прошептал что-то и засмеялся во сне. И мать тихонько засмеялась вместе с ним.



часть
ВТОРАЯ





Началось еще осенью.

Анна Михайловна идет с пюнятыми к жито-нице Исаева. День теплый, безветренный, по-прежнему лиловатый. С утра падал, как бы нехотя, дождь, час от часу реже и мельче, и, посеяв ситом, к концу дня, точно повис бисерными каплями на оголенных ветвях лип, берез, на дымящихся паром крышам, на потемневших, сырых изгородях, дальних умытых полях.

Анна Михайловне почему-то неловко, она не смеет поднять глаз от земли и, сбивая намокшими, тяжёлыми шапками подыную пыль с отавы, все норовит для себя отступить и подковки-лужицы, выдавленные изгибами каблучками ямщицких сапог. Исаев идет рядом, шепелявит, и карманы у него звякают ключи. Рядом с ним, вероятно быть, идет Блинов и, как слышно по монотонному задиристому голосу, Костя Шаров, бывший военнопленный из армии. Где-то впереди по дороге идет по тропе Николай Семенов.

— И вы, старая женщина, любите скрывать свои чувства? — спрашивает Анна. Ах, нехорошо! — задирает Костя Шаров, о чем-то смеясь.

— Не знаю, но вы, старая женщина, любите скрывать свои чувства? — спрашивает Анна. Ах, нехорошо! — задирает Костя Шаров, о чем-то смеясь.

— Не знаю, но вы, старая женщина, любите скрывать свои чувства? — спрашивает Анна. Ах, нехорошо! — задирает Костя Шаров, о чем-то смеясь.

— Не знаю, но вы, старая женщина, любите скрывать свои чувства? — спрашивает Анна. Ах, нехорошо! — задирает Костя Шаров, о чем-то смеясь.

— Не могу. Имею полное право голоса...
ние от нас.

— А на кой ляд он мне сдался... ваш гол...

— Правильно, — насмешливо и весело сс...
ли Шаров. — Голоса нет, зато есть тверд...
ние.

— Костя, отвяжись ты от него, христа...
упрашивает Блинов, стеснительно покашливая...
что раздражаешь человека? Ему и так не сла...
бы, старина, сдал излишки без канители. А, и

— Сказано — нет хлеба, — отрезает Исае...
чи перестают греметь в его кармане.

«Уйти бы от греха...» — думает Анна Ми...
замедляя шаги. Но какая-то новедомая сила...
толкает ее к житнице. Вскинув голову, она с...
нием и завистью, точно впервые, видит то...
потрескавшиеся от времени словые срубы. Д...
крыше новехонькая, на два ската. Кажется...
окна — изба выйдет получше, чем у нее, у (Ш...
Широкая дверь обита ржавым железом, и на...
го чернеет старинный запор.

Николай Семенов, бритый, помолодевший...
кисет и, не глядя на Исаева, отрывисто при...

— Отпирай.

Тот шпыряет ему ключи под ноги. Огромн...
вые, без бородок, похожие на буравы, они г...
мят, падая на землю.

— Коли тебе надо, сам и отпирай.

Видит Анна Михайловна, как Шаров Кос...
мает ключи, с интересом взвешивает их на...
решительно сбив на стриженный затылок ф...
блеклозеленым верхом, по-мальчишески т...
чтобы кто не опередил, бежит к двери.

Понятые проходят в житницу. Анна Ми...
не решается идти за ними.

— Лезь, Анка... пользуйся. Все рав...
грабь, — стонет Исаев. Губы у него дрожат...
вот-вот он заплачет.

— Грех тебе так говорить, — отвечает А...
хайдловна и сама готова заплакать. — Не по...
ле... выбрали.

тирая бороду. Отнимает у сконфуженного Кости ключи, со скрипом и звоном запирает житницу.

— Ну, так я покажу тебе, где хлеб на сегодняшних день, — тихо говорит Семенов. — Товарищи понятия не имеют, давай лопаты, заступы!

И вот они в ямшином огороде, раскидали поленницу дров и копают землю, перемешанную с гнилушками, берестой. Сбегается народ. Исаиха, простоволосая, в полушубке и босиком, как выскочила из избы, так беспрестанно и носится по огороду, как полоумная, и зовет кого-то на помощь: «Караул!.. Караул!» Сам Исаев свалился на гряде и молчит. Борода у него в земле, весь он почернел, скрючился и стал маленьким и горбатым.

Накрапывает дождь, темнеет, но никто не расходится. Петр Елисеев подошел с улицы к огороду, облокотился на жерди и растерянно царапает себе щеку. Вдруг он сердито кричит Семенову:

— Вторую поленницу разноси... Там!

С сухим треском валятся березовые дрова.

Выпрямившись, Елисеев смаху перекидывает тело через тын и, подбежав, вырывает заступ у Анны Михайловны.

— Ковыряешься... Разве так копают?

Комья сырой, жирной земли, щепки градом летят во все стороны. Заступ, звеня, ударяется обо что-то. Елисеев, натужившись, отворачивает доску, другую.. И вместе с трухой и землей к ногам Анны Михайловны летят набухшие, хвостатые зерна ржи.

Ахает и кричит народ. Анна Михайловна бросается к яме, заглядывает в нее, как в могилу. От ямы валит пар. Остро и сладко пахнет соломой. Лапти скользят, земля осыпается, и Анна Михайловна, обравшись, проваливается по колено в красноватую прелую рожь. Выбравшись из ямы и не помня себя, она кидается на Исаева и плюет ему в злые, застывшие глаза.

— Пес! — кричит она со слезами. — Что ты с хлебушком, анафема, наделал?

Смеркается, когда понятия и народ идут на гумно Савелия Гущина. Промокший и оживленный Николай

— Сам пезу, сам... четыре пуда лишку навалил.. Знй илиих! — верещит он, заведя народ.

Савелий перебрасывает на ходу вожжи на воз Катерине, ласково и весело приказывая:

— Дуй к ссыльному напрямик, невеста моя!

Катерина хватает отсыревшие, тяжелые вожжи в одну руку, останавливает лошадь, поднимается на возу во весь свой высокий рост и, размахнувшись, бросает веревочный ком прямо в белобрысую вертлявую голову Савелия.

— Невеста, да не тебе... Отвяжись, косой чорт! — кричит она таким сильным грудным голосом, какого никто и не слышал у нее прежде.

— Вот здорово! — восхищенно бормочет подле Анны Михайловны Костя Шаров. — В самую маковку залепила.

Потирая голову, Савелий хохочет, оглядывается на мужиков и баб, словно приглашает их посмеяться над этой веселой историей, но все точно воды в рог набрали, да и у самого Савелия смеха не получается.

— Ладно, старуха, не ворчи... вместе поедем, — павизгивает, наконец, он, легко вскакивая на воз. — Вижу — ночи боишься... Ну, сиди, сиди... я править буду.

— Никакой я ночи не боюсь. И тебя не боюсь... Не посду! — еще громче кричит Катерина, прыгая с телеги. — При всем народе скажу... Мочи нет... надоедо... Пристаёт, кобель старый.

Сорвав полушалок, она закрывает им лицо и с плачем бежит в переулочек.

II

А утром спозаранку всем стало известно, что Катерина перебралась жить к бабке Фекле. Говорили, будто Катерина и не племянница вовсе Гушину, что уламывал он девку полюбовницей быть, да не вышло.

Бросив дела, Савелий бегал по избам и жаловался, оправдываясь:

— Сироту призрел. За сродственницу считал... от жалости и доброты сердца. А она оплеухой меня отблагодарила... и такой поклеп возводит, хоть ве-
шайся со стыда... Да разве я позволю себе от живой жены? Да у меня своя дочь скоро заневестится... Да что я, бык али жеребец какой, прости господи!

В косых мутных глазах его стыли слезы. Он, стесняясь, отворачивался, сморкался в полу дождевика и, успокоившись, объяснял:

— Думал, замуж пожелает—отцом за княжий стол сяду. Приданое справлю не хуже людей... Я ей на книжку капитал положил. Чем недовольна?.. Ай, Катерина! Ай, молчаливица! Пакость какую выдумала... Ф-фу!.. — шумно вздыхал Савелий, удивленно крутя белобрысой головой. И, как-то сразу повеселев, хлопал в ладоши.— Прощаю. Все прощаю... Телку завтра отведу и хлеба дам. Живи, поминай добром Савелия Гушина.

И верно, в тот же день, не мешкая, Савелий приехал на двор бабки Феклы нетелю, дымчатую, швицкой породы, свалил в сених шесть мешков муки и положил на стол перед Катериной сберегательную книжку. И было в той книжке не мало не много — ровно хонько полторы тысячи рублей. Сказывали, будто Савелий просил Катерину простить, коли в чем ненароком обидел, но Катерина не простила. Зато бабка Фекла, смекалистая и расторопная, несмотря на свои семьдесят лет, старуха, жившая только грибами да грибами, воспользовалась случившимся и выговорила три воза картошки, три воза сена для телки и омет сенами на подстилку, а также дров. Гушин ни в чем не отказал.

И разно стал толковать народ. Одни утверждали, что такой жулябин, как Гушин, на белом свете поймаешь, замечает следы, косыга двужилъная; поди-ко теперь подконайся под него, чистю обстрипал дельце, и протокол, который составил Николай Семенов, ему не страшен. Другие говорили, что Катерине благодарить Савелия Федоровича надо, а не хвать и израсходу городить. Кто-то позарится на цыганку, не топ-

ка, а ступа березовая. И еще не известно, кто с кем свирывал, у народа тоже глаза есть. А что Савелий Федотович за племянницу ее почитал, в том его доброе сердце сказалося, и уплатил он за работу — дай бог каждому.

Слушала Анна Михайловна эти толки и не знала, что прав. Впрочем, скоро перестали говорить о Гушине. Дни пошли еще тревожнее.

Перед самым рождеством вдруг пропал Петр Елисеев. Ольга со слезами бегала по селу, спрашивала, не видал ли кто ее мужа. Он ушел из дому, не сказавшись, в понедельник с утра, не ночевал и не вернулся на другой и на третий день.

Страшно было смотреть на Ольгу, она опухла от слез, забросила скотину, не топила печь, забыла про ребят и носилась по округе, по дальним родственникам, разыскивая мужа.

— Не заметила ли ты чего? — спрашивал встревоженный Семенов Ольгу, зайдя к ней в избу вместе с Анной Михайловной. — Что он говорил, Петр-то? Может, грехом, поругались вы?

— Ох, ничего такого не было... Слова поперек не сказала. Вся примета — молчал он тихо, прямо слова не добьешься, да по ночам дюже ворочался... Ой, чует мое сердце недоброе, чует!

— Из себя он каков был? Утром, когда уходил? — допытывался Семенов, мрачней и отворачиваясь.

— Да почему я знаю! — отвечала Ольга, утираясь и беспрестанно глядя в окно. — Обыкновенный... Чаю попил, курочки, я ему поджарила... поел, как быть следует. Вижу, валенцы черные, новые обувает... Я говорю: «Поберег бы, завес-то ходить и подшитые хороши». А он еще, помню, матюгнул меня: «Вот, грит, на божницу поставлю, молигся на них зачну...» Обулся, полушубок надел... и ушел.

Кто-то прошел мимо избы. Ольга кинулась к одному окну, к другому, слабо и страшно вскрикнула и повалилась на лавку, забилась.

— Грозн-ился... за обедом грозн-лся... «Без смерти, грит, смерть при...шла...» А-а!

Еле уговорили Ольгу не пугать ребят и себя побе-

пешле огонек и придвинутого к ним стола, покрытого суровой матерью, слабо мерцала лампадка в переднем углу у икон, а дальше все тонуло в сизом зимнем сумраке, и народ запинался за рогожи, входя с улицы. Собирались на сход долго, многие еще управлялись по хозяйству, а кое-кто и нарочно тянул.

— Не курить у меня... смерть не люблю табачища! — который раз кричала Авдотья Петру Елисееву.

А тот, отмалчиваясь, знай себе вертел цыгарки, дымил, сидя у печки на корточках, и ни с кем не разговаривал. Да и все больше помалкивали, и эта настороженная сдержанность, эта чистая скагерть на столе и вымытый пол, застланный рогожами, этот ласково-печальный огонек лампадки напомнили Анне Михайловне почему-то молебен. Вот так в прежние годы в крещение ждали попа, и всегда было хорошо в этот день. Люто трещал мороз, а старики, посмеиваясь, весело толковали: зима ломается, жди весны. И верно, сладко пахло в этот день снегом, ярко светило низкое солнце, и где-нибудь у сарая, в затинье, прямо на глазах таял мохнатый иней на солнечной стороне крыши. Пусть будут назавтра морозы, вьюги-подсудухи и до весны еще далеко, но талый, чуть темный краешек крышки, свинцовая капля, одиноко скатывавшаяся на наст и застывшая там искристой льдинкой, неуловимо на миг дохнули теплом. И тревожно и радостно начинало стучать сердце, захватывало дыхание, и томительно ждалось чего-то.

Когда собрались почти все и Николай Семенов открыл собрание, Елисеев встал, жадно затянулся, обжигая пальцы окурком, и шагнул к столу. Он снял шапку и молча поклонился народу. И было это так быкновенно, что у Анны Михайловны мороз прошел по спине.

Очень тихо стало в избе.

— Дай огня, чего жадничаешь, — сказал Семенов Авдотье, и та, сразу приемирев, послушно поставила на стол лампу и бросилась чистить стекло.

Свет ударил в лицо Петру, и все увидели, что он стоит, закрыв глаза, дергает сухой пепельной щекой и не шевелится у него.

— Мужики! — глухо сказал Петр, прямо и горячо взглянув на народ. — Все это правда, мужики... что Семенов говорит. Был я там... в колхозе... В тех колхозах был... Неправильно мы живем.

Говорил Петр медленно, тяжело, словно бремена переносил. И ничего он не сказал такого особенного, нового, лишь повторил Семеновы рассказы да посоветовал за ум взяться. Загладели, как всегда, бабы, полезли мужики за кисетами, но Анна Михайловна вдруг неусловно, как весну зимой, почувала сердцем, что будет так, как говорит Елисеев. Она тихонько перешагнула. «Господи, — подумала она, — да коли правду хорошо в нем, в колхозе, так чего же еще нам нужно? Полегчает жизнь — и слава тебе...» И ее охватило беспокойное и радующее предчувствие того непоправимо-далекого времени, когда она, не дыша, смотрела на мокрый край крыши сарая и на перекатывающуюся каплю.

А на собрании бушевали бабы. Продираясь вперед, они чуть не зажали прикорнувшего в куты, у печки, а с Памрага и гневной стеной обступили Елисеева.

Душе бы ты сгинул, нечистый дух!

Душе бы тебя, окаянного, как пропадавал...

Душе бы путный человек... И на-ко тебе!

А, дура бабы... Ну, чего прилипли? Правду го-

ворит — говорил Петр, обороняясь от разгневанных баб ихими кулаками и горячими кулаками. — Не любо — не слушайте, а вы сидите на своей трехпалке. А я не жалею, что вы не знаете, что такое опыт со льном да пшеницей. Опыт вы не разбирали... Я те поцарапаюсь, дураки вы!

Им никто слова не побудоражил? — наседали

бабы, вытесняя Петра. — Не слышали, что он говорит? Мы те подстрижем, дураки вы, подстрижем!

Оторвите ему уши, да и тогда не будет слышать! Оторвите ему уши, да и тогда не будет слышать! Оторвите ему уши, да и тогда не будет слышать!

Оторвите ему уши, да и тогда не будет слышать!

Оторвите ему уши, да и тогда не будет слышать!

Оторвите

Погой, — пригрозила жена Семенову кулаком — ты и до тебя доберемся... коммунист несчастнейший!

— Да о чем крик? — вмешался Савелий Федорович Гушин, лукаво и весело косясь на баб — Петр Васильевич никого не неволит. Дело полюбовное.

— Ты мастер на полюбовные дела, — отрезала Авдотья Куприянова. — Одна полюбовница уж от тебя плачет.

— Прошу понапрасну не оскорблять, — обиделся Савелий Федорович, насупившись. — Слушай ухом, а не брюхом... О колхозе я.

— Да ну-у? А я о прошлогоднем снеге... Ты-то в колхоз пойдешь?

— Я пойду, куда народ пойдет.

— Народ пойдет по домам... спать, — сказал Ваня Яблоков, лениво позевывая. Но вставать ему, видать, не хотелось, он так и не тронулся с изсиженного места...

Запомнилась Анне Михайловне на собрании сказка Семенова. Он рассказал ее, когда бабы отступились от Петра, охрипли от крика, а мужики, куря и сплевывая на чистый Авдотьин пол, молчали.

— Жил-был орел на высокой горе, на самой круче, у синего моря, — начал Николай, посмеиваясь и потряхивая рыжей копной волос. — Д-да, жил орел... и был у него малый орленок. Батько орел летал по горам, по синю морю и добывал птенцу пищу. Мясную, как и политается этой птице... Орленок был глуп, пищу принимал охотно, даже добавки выпрашивал, а понимать ничего не понимал. Таращился из гнезда на счет божий и все спрашивал своего батьку орла: «А что это такое?... да там что такое?» Ну, орел пояснял, как малым ребятам в таких случаях поясняют... Вот и заметил раз орленок у своего батьки крылья. Большие, чисто у мельницы. Пристал: «Что такое? Почему у меня нет? Зачем крылья?..» Отвечает орел: «Вырастут — узнаешь».

Семенов помолчал, посмотрел на притихших баб, на покуривающих внимательных мужиков и продолжал негромко:

— Долго ли, коротко ли, выросли у орленка крылья. Не такие большущие, как у батяки, однако порядочные. Вот и повел однажды орел своего птенца на кручу... Глянул тот, а с кручи и земли не видать, такая пропасть — голова кружится. Синее море внизу, солнце там, из-за моря, всходит. Простор. И хочется туда, и боязно... «Ну, — говорит орел, — полетим». А птенец пьтается, от испуга, нсхорошо скакать, наклал под себя. Пищит: «Упаду-ду! Страшно... Разобьюсь насмерть!» — «Полно, дурак, — говорит орел, — на то и крылья, чтобы не падать...»

Николай поднялся из-за стола, выпрямился. Статный, высокий, сильный, в рыжем пламени волос, он, как бы раздвинув избу, смотрел, прищурившись, поперх голов мужиков и баб, куда-то в безвестную даль и словно видел там невидимое другим. Он смотрел так пристально, так хорошо улыбался этому далекому, что Анна Михайловна невольно и сама заулыбалась.

— На то и крылья, чтобы летать, — повторил Семенов. — И толкнул орел птенца легонько под задок. Повернулся орленок с кручи. «Батюшки, — орет блаженным матом, — падаю... спасите!» Да ненароком и раскрыл крылья, махнул ими. — Семенов с силой раскинул руки. — Чует орленок — ладно получается... Замахал он тут на радостях во всю мочь... и полетел со своим батькой орлом, куда им было желательно.

Пуще прежнего принялись дымить мужики. Хмуро пошевеливали бабы. Но у всех как-то посветлело на душе.

— Это что же, выходит, и нас... советская власть в лучшей жизни... толкает? — сердито спросила, заисся, Ольга Елисеева, утирая ладошкой мокрые щеки.

— Раскусила? — заулыбался хромой Никодим, ослон оглядывая Ольгу. — Любота! — Он набил нос табаком, блаженно морщась, чихнул и шутливо псех пошарил: — На здоровье, граждане, нас... с колесами!

Но таки на собрании этом ничего не решили.

И на втором собрании просидели бестолку до полуночи, переругались все, перекорились. Везде, где встречался народ, — у колодца, на гумне, в кооперации, — только и разговоров было, что о колхозе. Пошли слухи по селу один другого страшнее. Поговаривали, будто кто не пойдет в колхоз, тому твердое задание навалят; что в колхозе печь хлеба будут в одной избе, раз в неделю, и по кусочку станут давать к завтраку, обеду и ужину — съел, и больше не спрашивай; божились, что запретят колхозникам в церковь ходить, ребят крестить; и дома не помолишься — иконы отберут да в сельсовет отвезут на дрова.

Иные — верили, иные — смеялись и сердились, а ладу все не получалось, хотя зачастили сходы, по два раза на день собирались. Из города агитаторы стали насажать, уговаривать. Николай Семенов опять обрел рыжими колючками и, похудевший, не выспавшийся, только и делал, что собрания проводил да по избам ходил, толковал с хозяевами и хозяишками по отдельности. Уж, кажется, вот-вот уговорил, вечером согласились которые в колхоз идти, а утром поглядишь — бегут выписываться.

— С нашим народом разве сладится? Поколеют — не пойдут, — говорил Петр Елисеев Семенову.

— Пойдут. Разузнать бы, кто страшает... брехней куланкой.

А чорт его знает... все гопорят. По мне бы, и вправду закатить которым по твердому заданию. Зачесались бы остальные, одумались... — горячо и злобно усмехался Петр. — Припугнуть, а? Подмогло бы...

— Не мели! — сердито обрывал Николай и снова шел по избам разговаривать с мужиками и бабами.

И стало казаться Анне Михайловне, что обмануло ее предчувствие. Видать, перебесится народ и успокоится, по-старому, по-привычному пойдет жизнь... Ну и бог с ним, с колхозом. Может, и верю, как болтают бабы, обман все это. А тут хоть плохонькое хо-

зайствишко, но свое, тяжела жизнь, да изведена. Не привыкать стать Анне Михайловне свой крест нести.

Но против воли, наслушавшись рассказов Семёнова, так ладно думала Анна Михайловна по ночам о колхозе, так скоро и хорошо, как во сне, строила себе новую избу, заводила поросят, шила ребятам суконные пиджаки, покла по воскресеньям белые пироги с яйцами и зеленым луком, и, главное, ей представлялось, как споро и легко работается на людях, без заботы, что не на чем пахать и нечем сеять, — с песельем, песнями, по которым она истосковалась в своем одиночестве; все это так ясно и правдоподобно вышло у Анны Михайловны, что она желала, не могла не желать колхоза и опять верила в него. Она не могла про все это говорить на сходах, да, вероятно, если бы посмела, то не нашла бы слов; она молча слушала баб и мужиков, но сердце у нее так и кипело.

Как-то вечером, идя по воду, Анна Михайловна встретила отца Василия. Он шел, должно быть, из деревни, после всенощной, в бараньем тулупе, высокой шапке и плаще, тяжело опираясь на клюшку. Анна Михайловна поклонилась, отец Василий остановился, позвал к себе.

Сын, в колхоз... собираешься? — спросил он, указывая длинным рукавом тулупа.

Анна Михайловна поцеловала холодный кислый лобок и молчала.

Ну, как, батюшка... как народ.

Отец Василий грустно вздохнул:

Ну тебе и нам и всем... колхозе?

Вопросы, говорят, общие будут, — тихо ответил Анна Михайловна. — Пиджачик, батюшка,

Отец Василий вынул из кармана платок, вынул белый платок.

Ну, как, батюшка? А... батюшка, батюшка — не

Может быть, батюшка, батюшка...

Может быть, батюшка, батюшка...

...сведут... коли захотят. Вместе-то ведь легче расстаться.

Помолчал отец Василий, поковырял клюшкой мерзлый снег под ногами.

— Смотри, — сказал он на прощанье, — не прогадай... Неудобное богу задумала. Не потеряй последнего... как мужа потеряла.

И страшно стало от этих слов Анне Михайловне.

— Батюшка! — заплакала она, бросаясь вслед ему, гремя ведрами и кланяясь в черную спину тулуна. — А как жить-то?.. Зачем стращаешь, батюшка? Совет дай, научи!..

— Богу чаще молись... он научит, — ответил отец Василий, не оборачиваясь.

С пустыми ведрами, расстроенная, вернулась в избу Анна Михайловна. Чего только не передумала она за долгую бессонную ночь! И уж не вырастала в небо тесовая светелка нового дома, не работала Анна Михайловна споро и весело на людях, без заботы и горя, не кормила сыновей пшеничными пряженцами и пирогами, не шила суконных лиджаков. Другое, нехорошее и опять правдоподобное, лезло ей в голову: то видела она мужа — он лежал в неведомом краю, в рыжей своей шинели, стертанных солдатских сапогах, и удивленно раскрытые голубые глаза его клепали вороны; то она сряжала ребят за милостыней, пеная им за плечи холщовые мешки, то сама она, живая, ложилась в гроб, хотела умереть, а отец Василий, исповедуя, не отпуская ей грехов.

На утро от этих черных, нехороших дум ей стало совсем невмоготу. Она слезла с печи, тихонько зажгла лампаду перед иконой и, босая, в одной безрукавной старенькой рубашке, опустилась на колени. Не затрясся от холода и слез.

В избе было мертвенно тихо, даже дыхания сыновей не было слышно, и часы, не заведенные с вечера, перестали успокаивающе тикать. Лишь тараканы, как всегда, шуршали за обоями, глухо лаяла где-то на селе собака да стучало сердце Анны Михайловны. Слабо теплилась розоватым ободряющим огоньком

Положиться... да, как же! — сердито пере-
сказывал Мишка, торопливо доедая ломоть хлеба и
закусываясь. Он схватил сумку и взглянул в окно. —
Эй Пузан пробежал. На урок опоздаем. Айда,
Ленька!.. Мамка, где вареники?

— Почему я знаю... Где положил, там и возьми...
Хоть картошки с собой захватите, все не усухомят-
ку, — предложила она огорченно.

— Это можно, — сказал Ленька, помогая брату
разыскивать по лавкам вареники. — В большую пере-
мену сгодятся. Эге?

— Эге, — согласился Мишка и, сунув найденные
вареники за пазуху, стал набивать карманы картош-
кой. — Ох, черт, какая горячая!

— Поругайся у меня! — пригрозила мать и за-
махнулась на него.

Мишка живо увернулся и юркнул в дверь, за ним —
Ленька. Анна Михайловна притворила было дверь за
ребятами, потом, вспомнив, схватила со стола солон-
ку и выскочила в сени.

— Соль забыли, растяпы!

— А мы без соли... — сказал Ленька, сбегая с
крыльца. Мишка был уже на улице и криком и сви-
стом торопил брата.

Анна Михайловна постояла на крыльце.

Морозное белое солнце поднималось в голубовато-
белом небе над завьюженной крышей риги. Все во-
круг горело и сверкало белым, чистым блеском — и
бескрайнее, истонченное белизны, поле, и снежная
панка риги, нахлобученная по самый вход, и сугро-
ба, подступавшие к избе, и молодой, опущенный
никуда тополь у крыльца. Даже валившийся на при-
ступке голик¹ был серебряный и сверкал пучком и упав-
ших солнечных лучей.

Пробегая мимо тополя, Ленька ударил его тон-
кий ствол ногой. Иней осыпал ему и Мишке ботиноч-
ные пальто. Воротники и плечи у ребят стали белыми.

Прижав солонку к груди, не замечая холода, Анна

¹ Голик — веник без листьев.

Михайловна, шурясь, проводила долгим взглядом сыновей. Ребята, переговариваясь и отряхивая иней, бежали по искрящейся тропе на дорогу, и снег под ногами хрустел и шел под их валенками. Из оттопыренных карманов струился легкий парок.

Усмехаясь, Анна Михайловна вздрогнула, хлебнув полным ртом морозного, солоноватого воздуха, и подумала: «Да чего же я боюсь? Хуже не будет... Не любо которым богатеям — вот и страшают».

V

На святках Анна Михайловна пришла домой с со-
братья в третьем часу утра.

Легко притворив заиндевевшую дверь и не за-
мечая огня, чтобы не потревожить ребят, она раз-
стлала пальто, скинула шубу. Из окошка, расписанного
ярко-синими елками, падал на пол лунный свет и зеле-
новатый длинным половиком тянулся к порогу. Ан-
на Михайловна ступила на этот половик и заметила
как по чистых, снег мерцал синевато, как сахар, ко-
гда кто ходит в темноте. «Может, и сахару теперь
в доме много свистится», — подумала она, обметая
порог метлой.

Подошла к печке, осторожно пошарила в суднах.
Вот что не нашлось, верно, ребята весь съели
за обедом. Печка была подошла к ушат, ковшиком
вынула из него хрустящую корку и напилась. Пе-
чка была вся на печь.

Стуном она встала с кровати Мишка.

Вот что, когда они переговаривает во сне, и
они слышат. И слышат, слышат они были еще теп-
лым, когда они слышат тараканов с ипповля,
и слышат, слышат, слышат, слышат, слышат, слышат,
и слышат, слышат, слышат, слышат, слышат, слышат.

И слышат, слышат, слышат, слышат, слышат, слышат.

И слышат, слышат, слышат, слышат, слышат, слышат.

И колхоз, говорю, вступила?

Спи... какое тебе дело?—сердито ответила мать.

Кровать скрипнула, и Ленька, недовольно посапывая, поддержал брата:

— Не чужие... Нам тоже знать надо. Завтра в школе будут спрашивать.

Анна Михайловна молчала.

— Говори, мамка, а то спать не дам... песни буду петь, — пригрозил Мишка.

— Ну... вступила, — сказала Анна Михайловна, вздохнув. — Да спите вы, полуношники! Никогда мне покоя от вас нет.

— И тетка Прасковья вступила?

— Вступила.

— А дядя Петр?

— Отстань!

— Ты бы поужинала, мама, — посоветовал Ленька, зевая. — Суп в печи, а хлеб в комод... в полотенце завернут.

— Не хочю я... спите.

Сыновья пошептались еще недолго, поворочались и затихли.

А матери сна не было. Она лежала в тепле и тишине, накрывшись с головой пальтушкой, а в ушах не смолкал сердитый галдеж, словно в избе продолжалось собрание, и холод почему-то щипал сердце. Она повернулась на бок, поправила подушку, удобно сунула под голову согнутую руку, закрыла глаза, но сон не шел.

Видит Анна Михайловна измученное лицо Петра Елисеева. Беспрестанно дымя цыгаркой, Елисеев все сует в рот бурый острый ус, жует его, и этот левый ус словно стал у него много короче правого; ревет Строчица, приговаривая: «Что делается... что делается, ай, ей-богу!»; таращит круглые, испуганные глаза и украдкой держит мужа за рукав, не подпуская к столу, Куприянича; бушует под окнами пьяный Исаев; приехавший из города товарищ, распахнув шинель и утирая потное, усталое лицо, хрипло говорит речь, хотя его никто не слушает; веселый и сосредоточенный Николай Семенов, взъерошив волосы, обло-

Угрюмый из города, пристально оглядев Савелия, склоняется к Семенову и что-то тихо говорит ему.

— Сам знаю, — долетает до Анны Михайловны короткий недовольный ответ Николая.

Он стучит по столу карандашом, играя острыми скулами. Подает Гущину сверток обратно.

— Вот что, Савелий Федорович... Спрячь свои ключи. Пожертвовании не принимаем. Потребуется — сами все возьмем. Иди домой. Мы делом заняты.

Гущин непонимающе таращится на Семенова, потом стриженная голова его склоняется набок. Он достает из кармана мятую шапку и никак не может надеть ее. Шапка и ключи падают на пол. И вдруг Савелий, всплеснув руками и по-бабьи охнув, валится в новой шубе перед народом на колени.

— Встань! Это еще что за представление? — сердито говорит Семенов.

— Не вста-ану... Народу в ножки кланяюсь. Судите меня, граждане! За все грехи судите... — визжит Савелий и, словно в беспамятстве, обрывает пуговицы на шубе, рвет ворот новой лапниковой рубашки и, закатив глаза, бьет себя кожаным кулаком в грудь.

Анна Михайловна прячет лицо в шалюшку. Ей слышно, как всхлипывает рядом Авдотья, как тяжело сопит ее муж, как гневно кричит Елисей, что Семенов не имеет права так говорить от имени собрания; слышит Анна Михайловна, как мужики поддерживают Елисея и уговаривают Савелия Федоровича встать и успокоиться, а тот слезит коленями по полу и воет, но все тише и реже... И вот уже слышен его срывающийся, свистящий шопот:

— Не скрываюсь... обманывал. И добро, и пакусть людям делал... Все было... Не могу так больше жить... душа не позволяет. Ведь и у меня есть душа, граждане, душа, а не мочалка! Примите... к себе... в колхоз. Спасибо скажу, сил не пожалею... все отдам... Не примете — воля ваша. Значит, того заслужил... значит, головой в прорубь. Туда мне и дорога!

Слезы душат Анну Михайловну. Ей и жалко Гущина, и не верится ему. Ведь вот плакался Елисей,

Приходится Семенову подчиниться. И чашоба поднятых рук загораживает его огорченное лицо от Анны Михайловны...

Она и сейчас, лежа на печи, видит эту живую чашобу рук и думает о том, как хорошо, что приняли в колхоз Савелия Федоровича, за ним и остальные потянулись, даже Авдотья Куприянова и Прасковья Строичка. И вот, слава тебе, кажись, сладилось дело, теперь пароду — только подавай работы.

Колхоз освобождал Анну Михайловну от постоянных забот о лошади, семенах, которых она не имела. А работать ей было безразлично, на чьей земле, лишь бы прокормиться. Справные мужики и бабы жалели лошадей, вторых коров, хлеб, амбары, которые они отдавали в колхоз. Ей же нечего было жалеть, не с чем было расставаться. Она несла в колхоз только свою бедность и патруженные, охочие до работы руки. По совести говоря, Анне Михайловне осточертел ее одинокий труд. Колхоз ей представлялся мирской «помощью», как это бывало в прежние годы, в горячую пору навозинцы или сенокоса. Только теперь эта «помощь» была не на день, не на два, а на все время. И она по опыту знала — на людях работать веселей, легче и, главное, спорее.

Анна Михайловна потянулась во всю длину на теплой печи, зевнула, подумала немножко еще о чем-то неясном, но таком ладном, приятном, и уснула крепко и сладко, как она давно не спала за все эти суматошные дни.

VI

Анна Михайловна поняла справедливость новой жизни, когда раскулачили и выселили Исаевых. Над крыльцом просторной исаевской избы Николай Семенов, выбранный председателем колхоза, собственноручно прибил железную вывеску: «Правление колхоза «Общий труд».

В доме Савелия Федоровича выломали стену и соединив лавку с жилым зимним помещением, открыли избу-читальню. Гушину велели перебраться и

талые сугробы, и снег становился лиловатым. С криком носились по улицам и задворкам ребята, валялись, как в масле, в сугробах, сладко и досыта сосали лиловые, обжигавшие рот холодом, комья снега, катали сырые глыбы и лепили снежные чудища с круглыми угольными глазами и ручищами из палок и старых, облезлых веников.

Но короток был этот час тепла и затишья. Палетала с севера, из-за леса, шальная подеруха, разгоняла озябшего ребятино.

В метельцу вышла Анна Михайловна с бабами сортировать колхозные семена. До амбаров нельзя было добраться, так надуло снегу и перемело дорогу. Выбегая сенила глаза, и бабы, плутая по гумну, молча шли гуськом, увязая по пояс в сугробах.

Все было необыкновенно и значительно: и то, как с вечера напряжал на работу бригадир Петр Елисеев, как появился он в избе Анны Михайловны, запороженный снегом, долго отряхивался на кухне, а пройдя к столу, вынул из-за пазухи мокрую тетрадку и, развернув ее и послунив карандаш, торжественно поставил жирную палочку; как, расправив фиолетовые, запачканные карандашом усы, он внушительно сказал: «Стало быть, завтра в семь... по-военному»; и то, как дружно сошлись у правления бабы на эту первую колхозную работу, и хоть полаялись немножко, что света белого не видать и можно было повременить с сортированием, чай, не завтра сеять, но ни одна не повернула обратно в теплую избу, а замочили плотнее головы шалюшками и остались на стужу, и вот, не страшась льюги, молча и яростно месят бабы лаптями и валенками сыпучий снег.

У исаевского амбара, на ветру, поджидал Николай Семенов с бригадиром и завхозом.

— Ну, курицы, обмочили хвосты... али что поболело? — весело заверещал, встречая баб, Савелий Гущин.

— Тебе, петуху, хорошо в штанах, — огрызнулась Елисеева Ольга, переводя дух. — Знамо, по пояс измокли... охолодаем теперича.

— А куда вас понесло? — набросился на жену Петр. — Я ж кричал вам — берите левее, на Блинову житницу, там не глыбоко.

— Ничего, согреемся, — примирительно сказала Анна Михайловна, боже ссоры.

— Да еще как согреемся! Работенки всем хватит, — живо откликнулся Семенов, люняв ее, и приказал открывать амбар.

Все зашли под навес. Здесь было тише, пахло сенной трухой. Бабы оправили волосы, выбили снег из-под юбок, присев на солому, переобулись.

А когда, теснясь, вошли в амбар, сразу забылись и выюга, и холод. Пол-амбара было завалено мешками с зерном. Разномастные, из беженого холста и грубой желтой мешковины, в заплатках и новенькие, они пестрой стеной уходили под самый переклад.

— Батюшки, да неужто все это наше... колхозное? — изумилась Анна Михайловна.

— Наше, Михайловна, все наше! — ответил, посмеиваясь, Николай. Снял рукавцы и, держа их в кулаках, погладил спонми широченными, словно лопаты, ладонями тугую округлую холстинку.

Анна Михайловна не утерпела и тоже потянулася к мешкам, пощупала. Одни были с овсом, и сквозь редкую мешковину усабые зерна приятно покалывали и щекотали пальцы, другие, видать, были с рожью, и против знакомо переливалось скользкое льняное семя.

— Экая благодать... экая благодать! — приговаривала Анна Михайловна, переходя от одного мешка к другому.

— Зерно не пропадет! — радостно галдели за ее спиной бабы. Тут сей — не пересеешь.

Рядом с ними Восточно-пустошь. По целине знатно выдраны следы колес — гусеницы Енисеев и, горячий, жадный в работе мотор их шуршит, и миски налаживать сортируют.

— В чем дело? — тоже изумилась, перечила Людмила Козинкина.

— Ты приносишь зерно? Чисто зерно!

— А куда вы его берете?

— Белые пироги.

— Кусать ноне не обязательно,— пошутил Савелий Федорович, помогая Петру вытаскивать из угла на свет темнозеленую гремящую сортировку.— Вот она, матушка! Сто лет берег... пригодилась. Осторожнее, Петр Васильич, моя машина ласку любит. А пироги у нас, бабочки, крупчатые будут... без дуранды,— продолжал он, весело косясь на Семенова.— Наш председатель переделает рожь на пшеницу.

— Скажи, какой чудотворец выискался!

— Действительно,— серьезно сказал Семенов,— рожь мы на яровую пшеницу обменяем. Вчера из района наряд в сембазу получен.

— Давай, давай! Хватит языком чесать... Накручивай! — нетерпеливо распорядился Елисейев, волоком подтаскивая первый мешок с зерном к сортировке.— Завхоз, гони нам сюда триер со станции, да смотри не утопи коня... Блинова мерина запрягай

— Ну, господи, благослови...— Анна Михайловна перекрестилась и, подойдя к сортировке, взялась за ручку.— Засыпай, Ольга, а мы вот хоть с Авдотьей вертеть начнем.

И целый день, не умолкая, отрадно грохотала в амбаре сортировка, заглушая вой выюги. До самой крыши поднялась рыжая пыль, но Анна Михайловна в горячах долго не замечала ее, пока не стало першить в горле. Работалось бездумно, сил точно прибавилось, и она не уступала молюхам, сортировавшим рожь ирину на второй ижевской машине. Кинула на пол шубенку и для ловкости даже засучила рукава кофты. Бабы громко переговаривались, судили-рядили про всякое, зубоскалили с дедом Панкратом, заглянувшим в амбар, просили старика согреть их, бедных, и Панкрат, кашляя от пыли и табаку, болтал, что горазд на такие дела, да вот оказия — грелку на печи оставил. Но все это не мешало, работа спорилась. Живым светлым ручьем неустанно брызгал овес на разостланную дерюгу, и, глядя на эту золотую, все увеличивавшуюся запруду, Анна Михайловна забывалась, и потом, когда мешок подходил к концу и надо было подтаскивать следующий, очнувшись,

она радостно дивилась, что сделано так много и так легко.

Вот такой и представлялась в думах колхозная работа Анне Михайловне. И то, что она не обманулась, веселило ее, приносило уверенность, что и дальше все в колхозе пойдет ладно, как рассказывал Коля Семенов, и, пожалуй, на самом деле заживет она с ребятами по-людски.

Правда, в разговорах бабы, как прежде, хаяли колхоз и таких страстей навывкрикивали за день — беда: и последних коров, слышь, отнимут, и до кур доберутся, и полохнет народ на работе, да бестолку — с проклятушным льном, гляди, как раз без хлеба «товарищи» оставят. Слушала Анна Михайловна баб, тревожилась, хотя и не верила. Хуже было, что Елисеев, осматривая мешки, ругался — не овес ссыпали, один мышиный горох, получше себе приберегли, чортовы колхознички; от таких не жди добра: как сеять, зададут стрелача на свои загоны. «Не дай бог, — подумала Анна Михайловна, — тогда колхоз развалится».

Тут подъехал с тринером к амбару Савелий Федорович, и Петр, глянув в дверь, побелел от злости.

— Где тебя леший носил? Полдня на станцию ездил!.. — закричал он на завхоза.

Но поняла Анна Михайловна: злится Елисеев на Гущина совсем за другое — за то, что запряг тот без спросу елисеевского Буяна.

А когда уходили вечером с работы, Строчиха бесстыдно навалила полный подол высевок и хотела унести домой курам. Анна Михайловна не дала, сказав, что высевки колхозной скотине едят, и они поругались. Присковна укорила Анну Михайловну, что она голышечкой пришла в колхоз, на готовенькое, овесная завалящая не принесла, а туда же, как путница, распорядилась. Горло было слушать эти попреки Анне Михайловне.

Она понимала, устало застывшая шубенку, и, выйдя последней из амбара, чуждено и безразлично опираясь горю мешком, порадованная ее утром. Не жалея она этому добру, а так — с боку припека.

набитыми табаком кисетами, зажимали и бабы с прялками и вязаньем. Точно на посиделках, рассаживались все чинно по скамьям, за столы, а кому не хватало места, устраивались прямо на полу. Костя Шаров, добровольно вызвавшийся заведовать читальней, зажигал лампу-«молнию» под жестяным, широким, словно зонт, абажуром и, если света было маловато, подавал на столы еще парочку семидюймовек, приносил из правления свежие газеты, ребята тащили самодельные шапки, а любители резаться в «козла», «подкидного» и «свои козыри» обзаводились колодой пухлых, растрепанных карт.

Пристроившись поближе к лампе, возле которой Андрей Блинов всегда читал вслух газету, Анна Михайловна вынимала из-за пазухи спицы, клубок толстых льняных ниток, чуть ссученных с дорогой, вымоченной на яйца, овечьей шерстью, и вязала сыновьям варежки или теплые носки. Часто приходилось греть руки, в читальне было холодно, печь топили здесь редко, да и ребята, балуясь, то и дело хлопали дверью, выбегая на улицу. От едучей махорки очень скоро начинало щипать глаза. Но хорошо было слушать вягущий громкий голос Блинова, тихую возню и смех молодежи в дальнем, темном углу, шушуканье баб, мягкие, грустные переборы гитары, шлепанье карт по столу; приятно было посмеяться над Ваней Яблоковым и кривым Антоном, постоянно оказывавшимися на пару «козлами», перекинуться словом с Ольгой Елисейской, потягиваясь, отвернувшись на минутку от света, как, примостившись на подоконнике, обыгрывает Мишка дедка Панкрата и шапки, и посердиться на баб, которым нейдет — опять ругая ругают колхозы, благо Семенова нет, в город уехал, и ответить им как следует некому, и про коров такое неладное твердят: «отберут», «отберут», — и кто отберет, зачем отберет — неизвестно, только понапрасну людей тревожат.

Она старалась не слушать баб, отогревала руки, живей перебирала спицами, подвигалась вплотную к Блинову и, хотя многого не понимала из того, что он вычитывал, все же кивала ему, охотно поддакивала, словно он для нее одной читал газету. И шутки му-

жиков, споры их промеж себя, и яркий, праздничный свет висячей лампы-«молнии», и хрустящая белая газета, придавленная тяжелым локтем Андрея, и приглушенный визг девушек, даже ругань баб — вся эта жизнь на людях была по душе Анне Михайловне.

А тут еще выходил со своей половины Савелий Федорович, в пиджаке внакидку, зябко ежился и кричал:

— Эй, хозяева... тараканов, что ли, морозите?

— Дров нет, — отвечал Костя Шаров, появляясь из темного угла с гитарой.

— А мои?

— Неловко... без спросу.

— Какой тебе спрос? Теперича нет чужого. Знай бери, все ловко... У меня дров на два года запасено. Да постой, я сам...

Он приносил добрую охапку сухих, мелко наколотых березовых поленьев, с грохотом кидал на пол, возле печки, потом брал веник.

— Грязно, грязно... — говорил Савелий Федорович, с неудовольствием замечая сор на крашеном полу. — Колхоз, други, любит во всем порядочек, чистоту... Печки, что же вы смотрите?

Жарко разгорались дрова. Весело плясали рыжие брызги огня по отпотелым стеклам окон. В читальне становилось тепло, как дома. Мужики перебирались от стола к печке и, сидя на корточках, раскуривали горячаями угольками цыгарки, слушая Андрея Блинова. Тот вычитывал, как растут по деревням колхозы, как успешно коллективизация идет на Украине, на Кубани, как быстро тракторные станции создаются, по республикам страны переселится народ кулаков, а в хоромах их все еще много и все еще открывает.

— Ну, ребята, сиди мужей... вода какая ясная... — говорил Блинов, улыбаясь, — любоскалили мужики.

Филиппов, улыбаясь, что-то цынями к горничной перешептывал.

А вот эта старуха старуха...

Что там, старуха, на первом — данила со стиркой, на втором — жареный баран.

Хай Али ни цытает с дуваном ширину.

Мишка не унимался, сквозь слезы он приговаривал из спальни:

— Был бы жив... па-пка... по-оказал он тебе... как корову в колхоз... не от-давать.

Упоминание о муже вконец расстроило Анну Михайловну.

— А, псе вас задери! Ведите! — закричала она с печи.

У нее вырвалось это вгорячах, а сыновья уже одевались, поспешно и весело переговариваясь.

— Говорил я тебе, реветь надо, — шептал Мишка, насвистывая — Ревом все возьмешь.

— Да нет же... Она сознательная, только с виду перечит. Старая, чего уж тут, — отвечал Ленька.

— Как бы нас Красотка не боднула. Рожищи-то у ней здоровенные. Разве взять веревку?.. — соображал Мишка, нахлобучивая по глаза шапку. — Слушай, отведем корову и пойдем шары гонять. Эге?

— Эге. А уроки — как стемнеет.

Ребята затопали по кухне.

— Куда? Не смей! — Анна Михайловна слетела с печи и жестоко выпорола сыновей.

IX

Все-таки Анна Михайловна свела корову и потом каждое утро бегала на скотный двор смотреть на нее и, как и все бабы, ругалась с доярками, что они своих коров кормят клевером, а чужим одну яровицу валят и навоз не стребают — удивительно, за что только им, вертушкам, будет колхоз добро платить.

Двор Савелия Федоровича, где стояли коровы, считался когда-то на селе самым большим. В навозницу распахивались со скрипом его широкие ворота с двух сторон. Здесь было так просторно, что — Анна Михайловна помнила — «на помочи» клали у Гущина навоз сразу на три телеги и возчики заворачивали и разъезжались на дворе, как на большой дороге. И свету было столько, что, кажется, урони иголку в солому — не затеряется, найдешь.

Теперь двор перегородили жердями вдоль и поперек, в узких закутках было набито по пять и по шесть коров. Теснясь к яслям, они до крови обдирали бока о сучки жердей, бодались и беспокойно мычали. Горы навоза намерзли у стен, и нигде было как следует полежать коровам. Петр Елисеев приказал заткнуть оконца и подворотни омяльем для тепла. На дворе стало темно и вроде еще теснее.

Сердце разрывалось у Анны Михайловны, когда она глядела на все это.

— Ровно на бойню согнали... Да разве можно в такой тесноте скотину держать? Которая корова отелится бычком али телушкой — затопчут, не дай бог, — сердито и жалобно сказала она Семенову.

— Стельных мы на Исаев двор перевели.

— И там не слаще. Непоенные, не кормленные стоят, как поглядишь... кымя — в навозе... Хоть бы ты, Коля, позволил мне самой за Красоткой ухаживать... Никакой платы не надо!

Семенов неуступчиво покачал головой.

— Пойми, Михайловна, нельзя... не по-колхозному это... До выгона как-нибудь пробьемся, а к осени настоящий скотный двор сгрозим, любо-дорого посмотреть. И не жалей ты своей коровы, — уговаривал он, наклоняясь и тихонько, ласково глядя ее по плечу. — Разбогатеет — тыщу коров заведем... ярославов. Утопим вас, баб, в молоке.

Анна Михайловна с обидой отвела плечо.

— Ты меня соской не утешай, я не маленькая. Лучше скажи, что это за колхоз... за жизнь такая, коли последнюю корову отбирают? Чем я ребят кормить буду?

— Всем не легко. Вон Елисеев Петя двух свел и Буяна... Усы-то свои начисто обкусал, а молчит, жмется, — ответил Семенов, хмурясь. Лицо его было задумчиво, он часто потирал лоб, морщился, словно искал что-то в уме и никак не мог решить. — У тебя хоть подросли сынишки на сегодняшний день, — сказал он тихо, — а у меня... Как за стол сидим, такой рев слышим, хоть на улицу беги... Дарья-то меня совсем

заела, — застенчиво признался он, усмехаясь. — Сам знаю — пустой похлебкой ребятнишек не накормишь. Да в ней ли главному? Вперед надо смотреть... Большое дело ладим, Михайловна, не грех и потерпеть немножко.

— Было бы ил что терпеть... Да ведь, леший ты эдакий, не мешает мне корова в колхозе работать! — со слезами потелкнула Анна Михайловна и увидела, как вдруг прояснилось лицо Николая, пропали морщины на лбу, он выкинул из-под рыжих насуленных бровей прямые добрые глаза, пристально посмотрел на Анну Михайловну и, помолчав, признался:

— Я сам так думаю. В район ездил... Поругался я там. Чую — искладку у нас на сегодняшний день выходит, а доказать не могу... В область решил махнуть. Не добьюсь толку — и в Москву дорога не заказана.

«Успокивает... отболит, дескать, и оторвется», — горько подумала Анна Михайловна.

И верно, Семенов сказал ей, опять темнея лицом и морщась:

— Ты, Михайловна, прежде времени не тревожь парня. И так вчера бабы чуть стекла в правлении не налили. Может, не понимаю я чего... Может, правильно это самое... что коров обобществили.

Ничего не добившись и только растравив себя, потопталась Анна Михайловна домой, по привычке стаскала в печку чугунок с поилком для коровы, а потом вылила нагретую воду в помойное ведро. Для ребят она искала ровненькие пироги с картошкой, варила щи и суп с грибами, жарила картофель на остатках коровьего масла. Сыновья ели и помалкивали. Только старший, когда грибы и скоромное масло вышло и она подала сыновьям на обед пустой суп-болтушку, приправленную мукой, и сковородку засохшего, с крупицами соли, немасленного картофеля. Мишка, посв и не глядя на мать, сказал:

— Хоть бы ты, мамка, нам когда по личку сварила!

— Может, вам яичницу сделать... на молочке? — с усмешкой спросила мать.

— Молоко я не люблю,— Мишка шмыгнул носом, раздувая ноздри.— От него живот пучит.

— В молоке бактерий много.. оно вредное,— подтвердил Ленька, налегая на картошку так, что она скрипела у него на зубах.

— Что-то не примечала я в кринках ничего, кроме молока да сметаны,— ответила мать, поджимая губы.— Это уж не пионеры ли говорят... которые у матерей коров отбирают?

— В книгах пишут,— пробормотал Ленька, не поднимая лохматой головы от сковородки и посапывая.— И никто у тебя коровы не отбирал... сама свела. Мы на санках тогда катались. Мишка, помнишь?

— Ясное дело, помню.

— Уж лучше помолчите, умники,— мать погрозила им вилкой,— не бередите мое сердце... А яиц вам до пасхи не видать,— добавила она сердито.

Однако в тот же день слезила в подполье и принесла в избу знакомую ребятам лубяную, без дужки, корзинку, в которой хранились завернутые в отрепье яйца, припасенные на розговенье. Утром, собираясь в школу, сыновья нашли в сумках по вареному яйцу.

— Вот уважила, мамка, спасибо! — обрадовался Мишка и пустился в пляс.— Полфунта мяса на брата отвалила... Ты знаешь, мам, яйцо махонькое, а жратвы в нем — ого-го!.. А завтра не вари,— сказал он деловито.— Ты нам раз в неделю давай... чтоб на дольше хватило.

— Недель-то в году больше, чем у меня запасено яиц.

— Ничего,— успокоил Ленька,— скоро весна. Мы щавель будем есть... грибы... рыбы наудим... Весной ты нам и обед не вари. Сами прокормимся и тебя прокормим.

— Идите-ка в школу... кормильцы,— проворчала, усмехаясь, мать.

Она не могла привыкнуть к порожним кринкам и суднавке, к жестяному помятому поддоннику, опрокинутому вверх дном и валявшемуся бестолку под лавкой. Она отбирала с кринок шнур и тенета мокрой

зды и, сама того не
трипкой, вешала подойник на ворота, когда доишь,—
желая, снова шла на скотный двор, приметив раз, что
— Ты у меня на Красотку не ешь, приметив раз, что
выговаривала она доярке Катерине Соткой.— Испортишь
та неласково обходится с Красоткой.— Испортишь
мне корову.
— Да она лягается!
— Чужие руки доят, понимаете, ки занимать?.. Про-
— Так что же мне, у тебя и расплескивая по-
валивай ка со двора... мешаешь, и расплескивая по-
мимо, Катерина, задевая ведрами рова теперь колхоз-
навозу парное молоко.— Чай, Катерина Михайловна.—
на, не твоя
— Как не моя? — вспыхнула Анна Михайловна.—
Да я ее телушкой выпоила, восемь лет ходила... ров-
но за дочкой... Ты ей крапиву жала? — разгорелась
она, не понимая, что говорит. Кажинная шерсти-
ты таскала, брюхо надрывала? Кажинная шерсти-
ночка моя, кажинный волосок махнула рукой и убе-
И, опомнившись, замолчала, чаться с Катериной.
жала со двора, и неловкую девку
После ей было совестно встретиться с Катериной.
Эту глазастую, молчаливую Гушина жить к баб-
нельзя было теперь узнать, до тех пор, пока она переменилась.
С тех пор, как ушла Катерина от руки себе развязала:
ке Фекле, она расцвела и точно живая, хотя на слово
и попоротливая стала и разговорчивая, высокая да такая
и не боится ласковая. Смуглая, да на лесозаготовках
длинная, она очень и ниму работала, и вилке, что на колке
и не уступала мужикам что на работе, и к коровам, Кате-
риной. А как приставили ее и колесу по знакомому гу-
рина прямо залетала, закружившись, как ли, своей, ни капель-
ническому двору. И главное, как ли, своей, ни капель-
хальонна, она, по молодости, что ли, своей, ни капель-
ки не жалела дареной гушинской Ой телки. Отвела —
ей жалеть, — думала
и глазом не моргнула. себя. — Походила бы
«Даром досталась телка, чего бы... почище меня
Анна Михайловна, оправдывая бы... почище меня
с мое за коровой, небось запела Елисееву трудно
таругалась. Нет, не одному Петру

«Даром досталась телка, чего ей жалеть,— думала Анна Михайловна, оправдывая себя.— Походила бы с мое за коровой, небось запелась Елисею трудно шаругалась. Нет, не одному Петру

расставаться с Буяном. А надо, зажав сердце в кулак, надо расставаться».

— И до чего некоторые женщины за коровий хвост держатся, прямо смех,— зубоскалил на скотном дворе Костя Шаров, сидя на опрокинутой корзине и покуривая.— Дальше коровьего хвоста они ничего не видят.

— Ты больно много видишь, глазастый,— обиделась Анна Михайловна.

— Да вот вижу — отец мой не за-зря погиб. Он и повешенный свое дело сделал... Про гранату-то слышала? Молодую жизнь мне в наследство батька оставил.

— Хороша жизнь — жрать нечего.

— Ага! — белозубо и весело хохотал Костя, прищипывая валенками.— Определенно, мамаша, на коровьем хвосте сидишь.

— А ты — на плетухе. Помолчи уж, коли ничего не понимаешь в женском деле,— сердито вмешалась Катерина, неожиданно вставая на сторону Анны Михайловны.— Ну-ка, расселся... продавишь мне плетуху, не в чем сено будет носить.

Костя уселся плотнее, так что затрещали прутья.

— Велика беда. Новую сплету.

— Языком.

Катерина вырвала из-под него корзину. Костя спрыгнул на солому и, поднимаясь, отряхивая серый, перешитый из шинели, ватный пиджак, сконфуженно проворчал:

— Поводочки у вас... коровьи.

— Что поделаешь, с кем поведешься, у того и наберешься,— отрезала безулыбчиво Катерина.

Она пошла в водогрейку, и Костя, насупившись, проводил ее долгим взглядом, потом заломил пабе-крен свою красноармейскую, с зеленым верхом, фуражку, убежал со двора, но скоро опять вернулся.

Анне Михайловне приметилось — Костя отрастил себе чуб, купил гармонь, старался на колхозной работе и, по всему виду, думал обзаводиться семьей.

И, глядя на него, широкоплечего, веселого, Анна Михайловна невольно обращалась мыслями к своим

ребятам. Поднимет ли она сыновей? Будут ли они вот такими парнями, здоровыми да веселыми, на утеху матери, выпоят ли, выкормит ли она ребят?.. И корова опять не выходила у нее из головы.

Онажды, упрячась по дому, Анна Михайловна, валявшись, пошла в сарай за сеном, туго, с верхом, набила плетеном плетюху, принесла ее. И только когда толкнула привычно ногой калитку во двор, вспомнила, что коровы нет.

На дворе было пусто и холодно. С повети свисал расстрелянный, весь в илсе, сноп соломы. В загородке, в углу, на каменисто замороженной навозной куче сидел, находясь, петух. В ясли надуло снегу, он белел, как прибитое молоко.

Плетюха вывалилась из рук. Впервые поняла Анна Михайловна не сердцем, а разумом, просто и больно, что Красотки нет и не будет. Стоять двору пустым, пока не развалится. Плачь не плачь, а так надо. Кому надо? Зачем надо? — она не могла сказать и боялась об этом думать, потому что тогда в голову лезло пехорское о колхозе, страшное и обидное, а колхоз ей все таки был по душе.

«Что же делать, господи?»

Она опустила на порожек, зажала лицо ладошками.

Так просидела она долго, покачиваясь в молчании, потом, выдохнув и посуровев лицом, поднялась, наметала в корыте курам мякеры и отнесла сено обротно в сарай. Порожнюю плетюху оставила там же.

Возвращаясь с гумна, Анна Михайловна почувствовала, что продрогла, и зашла на минутку погреться на колхозный скотный двор.

Здесь крепко пахло теплым навозом, свежей соломой и безусловным медовым настоем высохших трав. Коровы домовито лежали на чистой подстилке, рядком в каждом стойле, и, отдуваясь, жевали жвачку.

Анна Михайловна разыскала Красотку и поманила ее. Корова долго не вставала, и Анна Михайловна, прислонясь к загородке, шопотом позвала:

— Красотка!.. Красотка!

Корова нехотя поднялась и, мерцая в полутьме блестящими понятливыми глазами, знакомо кивая круто загнутыми, как ухват, рогами, точно здороваясь, подошла и, как всегда, ткнула курчавую влажную морду в протянутые ладони и принялась лизать их. Анна Михайловна отняла одну руку, погладила холодные жесткие курчавинки меж рогов. Подошла Авдотьяна корова и тоже потянулась через жерди. Анна Михайловна погладила и ее.

Потом заглянула в ясли, горстями выгребла из них труху. Отыскала запасенную доярками на ночь горюховину, перемешанную с яровицей, наложила стогом в ясли. Коровы сыто порылись, но есть не стали, опять легли, и Анна Михайловна пошла домой.

Х

В среду, пятого марта, вечером прибежала к Анне Михайловне в избу запыхавшаяся Ольга Елисеева и с порога, не здороваясь, выпалила:

— Коров отдают... обратно. Ай не знаешь, сидишь?

Анна Михайловна чистила вареную картошку на ужин. Решето свалилось у нее с колен, и картофель рассыпался по полу.

— Полно молоть не дело,— сказала она жалобно и строго.— Опять бабы скандал заводят?

— Какой там скандал! Сам Сталин в газете написал и приказ районный отменил.

— Ой, врешь, Ольга? По глазам вижу — врешь!..

— Вот те крест, правда! — Ольга радостно перекрестилась, торопливо перевязывая платок. — Слава богу, дожили до праздника, светлого христового воскресенья... Мой-то, молчун, вчера знал, а не сказал, припрятал газетку... А Семенов возьми да и прочитай всем на улице. Что было!..

— Опять врешь. Семенов третьеводни в область уехал.

— Да вернулся он, безверная! Поидем скорее, все бабы в правление побежали.

Загнулась Анна Михайловна, стала подбирать картофель в решето. Картошкины были мокрые, скользкие и не давались в руки. Терпеливо лоя их и чувствуя, как кровь приливает и стучит в висках, она сказала:

— Не пойду...

Ольга выскочила из избы. Слышно было, как в сенях она швырнулась впопыхах за ларь, хлопнула на крыльце дверь.

Присев к столу, Анна Михайловна очистила две картошки, а третью — не могла. Вскочила, сдернула шубу с гвоздя, задула лампу. Кинула шубу на плечи и выбежала на улицу.

Тяжко колотилось сердце, подкашивались ноги. «Смыкалась... отболело... а тут сызнава муки... ежели обманывает Оляга, — тоскливо подумалось ей. — И как мог узнать Сталин про наш колхоз?... Ведь он в Москве живет. Разве Коля туда ездил...»

Она провалилась в сугроб, упала. Шуба соскользнула, снег ожег руки, лицо, голую шею. «И куда я бегу, ровно на пожар? — подсадовала Анна Михайловна, отыскивая у шубы рукава. — Вот и платка не видала... простыну... Хоть бы отыскать ребят и послать за платком». Но было темно, сыновей не видно, и так мучительно хотелось знать правду, так нарастали впереди крики, смех и плач, и вот замельтешили у крыльца правления желтые бродячие огни, вот видел Семенов с газетой в руках и сгрудившиеся около него бабы с фонарями — и Анне Михайловне стало совсем неловко: простынет она или не простынет.

Добежав, она долго не могла отдышаться, пригнулась к крыльцу.

— Спаситель ты наш... батюшка... родимый товарищ Сталин... — гоюсила, сморкаясь, Дарья Семеновна — Услышал бабы слезы... прищепил нашим чортовым районным правителям хвост. Дай тебе бог адоронья!

— Читай... еще читай! — требовала, смеясь, Авдотья Куприяниха. — Про коров читай... про колхозы.

— Да ведь читано... который раз, — сухо отвечал

Николай, откладывая газету.— Помитинговали на сегодняшний день — и хватит. Завтра приходите.

Расталкивая баб, ошалело выскочила наперед Строчиha. Фонарь багряно плясал и бился у нее о полы шубы.

— Сюю минуточку подавай мне корову! — закричала она, размахивая фонарем.— И из колхоза выписывай... Часу в нем, окаянном, быть не желаю!

Бабы подхватили ее визг:

— Пра-а... коров давай... выписывай. Распускают колхозы!

— Как так распускают? — вырвалось у Анны Михайловны.

— А очень просто,— весело откликнулся, появляясь у крыльца, Савелий Федорович. Он поднял над головой «летучую мышь», и снежинки закружились в полосе света, как белые ночные бабочки. Гушин вытащил из кармана лист бумаги и потряс им.— Эй, вострохвостки, сейчас чиркать зачну! Выписывайтесь... кто желающие?

— Все желающие!

Бабы, толкаясь, хлынули к Гушину. Но Семенов ударил Гушина по руке, фонарь упал в снег и погас, и тотчас пропали снежинки-бабочки.

— Кто тебе дозволил?

— А чего держать? Дермо уплывет — золото останется.

— Уплывешь ты у меня... куда Макар телят не гонял,— пригрозил Семенов.

— Так что же, Коля,— сказала Анна Михайловна, зябко ежась,— стало быть, нет теперь у нас... колхоза?

— Есть, Михайловна. И будет еще крепче!

— Коров, коров давай! — подступили к Семенову бабы.

— Успеете и утром взять. Не пропадут за ночь ваши коровы.

— Нет уж, Николай Иванович, успокой сердце,— попросила Ольга, хватая Семенова за рукав и не отпуская.— Стоскавались по коровам.

А Строчиha пригрозила:

— Добром не отдашь — сами возьмем.

— Не терпится? — рассмеялся Семенов. — Ну, что с вами поделается, — он пожал плечами. — Берите своих коров.

Фонари светляками рассыпались по улице, освещая заснеженную, в ухабах, дорогу. Обгоняя друг дружку, перекликаясь, бабы побежали на скотный двор. Пошла и Анна Михайловна и только тут заметила, что около нее молча и, видать, давно трутся сыновья.

— Вам чего надо? — сурово спросила она, оставившаяся.

— Ничего... — пробормотал Мишка, пятясь и наткнувшись на брата. — Мы так... гуляем.

Ленька толкнул его кулаком в спину, и он, оглядываясь, зашипел:

— Не мешай!

Повертел по сторонам головой, тихонько посвистел. Потом нерешительно, боком подбираясь к матери, заметил:

— А ты, мама, платок обронила. Пойскать?

— Дома оставила. Не догадались, дурыи башки? Чем шитье, взяли бы и принесли. Не видите, мать широкла вся?

Подождал Ленька, молча снял шапку и подал.

— А сам?.. Озябнешь, — проворчала мать, не зная, что ей делать с шапкой.

— У меня волосьев много... Я воротник подниму, тепло.

Помогли матери заправить косу под шапку. Мишка крадучко, шопотом спросил:

— За Красоткой, мама, да?.. — И громко, радостно. — Мы подем. Вот я ремень приготовил. Захлестнем рога, как собачка смиренькая пойдет... А подемш. Красотку — будем молоко хлебать? Эге?

— Да ведь оно вредное, — напомнила мать.

Сыновья промолчали.

— Эх вы... пионеры, — сказала она, усмехаясь. — Красные носите галстуки, в барабаны стучите, а правды не знаете. Вам только на мать кричать... А

она, гляди, больше вас понимает, даром что неученая... Ну, что языки прикусили? Сталин-то вон как рассудил, правильный человек.

— Вырастем... и мы будем... правильные,— угрюмо сказал, посапывая, Ленька.

— Дождидайся. Матери надо слушаться, вот что. Отправляйся-ка домой, пока уши не отморозил. Мы тут с Минькой управимся.

В этот вечер и на другой день не было иных разговоров на сселе, кроме как о колхозе. Написал товарищ Сталин: колхоз дело добровольное, хочешь—вступай и работай в нем, не желаешь—выписывайся, живи по-старому, как тебе нравится.

Половина села ушла из колхоза. Выписались Строчица и Куприяниха с мужьями, Ваня Яблоков, кривой Антон Кузнец, зять плотника Никодима, Марья Лебедева и многие другие. Андрей Блинов пожелал остаться, и жена выгнала его из дому, он ходил ночевать по очереди то к Семенову, то к Петру Елисееву.

Произошло разделение села на согласных и не согласных с колхозом. И дела пошли на поправку и так быстро, что Анна Михайловна удивилась: как это никто не мог додуматься про то раньше Сталина! И ей захотелось знать, каков он с виду, этот догадливый, правильный человек, о котором мужики и бабы говорили с таким уважением.

Она слышала, что после смерти Ленина это самый набольший человек у коммунистов, вроде старшого. А старшие ей всегда представлялись важными, пожилыми, как и полагалось им быть, большебродыми людьми.

Сыновья принесли из кооперации портрет Сталина и, прилаживая его в красном углу избы, заодно хотели снять иконы. Анна Михайловна раскричалась, по привычке обратилась за помощью на кухню, к спасительнице веревке, и прогнала ребят.

Потом она долго и молча стояла у портрета, суричаная, строго поджав губы.

Ей показалось, портрет висит косо,— поправляя, она сняла его со стены и подошла к окну. Губы у нее дрогнули.

«Скажи на милость, бритый... как мой Леша»,— невольно подумала она, просветлев лицом.

Сходства, конечно, никакого не было, но то, что Сталин был бритый, Анне Михайловне понравилось.

— Вот только усы черные... У моего Лешки посветлей были... Поди, женатый и ребят имеет... А не старей,— сказала она вполух.— И бритый...

XI

Весной вернулись в колхоз двенадцать хозяйств. Их принимали на общем собрании, затянувшемся за полночь. Много было смеху и шуток, много было сказано и хороших слов. Анна Михайловна наблюдала за Николаем Семеновым, и по тому, как он, сосредоточенно-оживленный, потряхивая огненной шапкой волос, громко и весело говорил на собрании, как охотно отвечали ему на шутки мужики и бабы, и, главное, по тому, как выходили к столу разопревшие и красные, точно из бани, беглецы и, запинаясь и робея, просили сызнова принять их в колхоз,— она поняла: колхозное дело стало перушимым. И это согласие, царившее на собрании, это веселье людей было приятно ей.

Анна Михайловна сидела с Дарьей Семеновой и Ольгой Цинеской на почетной передней скамье, с краю, и, когда надо было голосовать, поднимала вместе с другими руку. Она чувствовала себя равной в этой большой, новой семье. В старое время, на сельских сходках, ее голос ничего не значил. Анна Михайловна всегда стояла позади, и на нее никто не обращал внимания. Все дела решали справные, богатые хозяева, не спрашивая, согласна она с ними или не согласна. Теперь Семенов начинал подсчитывать голоса с Анны Михайловны. От нее, равно как и от других членов колхоза, зависело: принять или не принять в колхоз Авдотью Куприяниху, кривого Антона

Кузнеца, сеять или не сеять лен, покупать или не покупать племенного быка в колхозное стадо. Она сняла шубу, полушалок и простоволосая, как дома, сидела на собрании, думала, слушала выступавших, сама говорила одно, другое слово и при голосовании поступала так, как считала правильным.

Когда встал вопрос о расширении посева и контрактации льна — брагинского, того самого, что был чуть ли не до пазухи мужикам и серебрист, как седина, — и собрание зашпорило, Анна Михайловна первая поддержала правление.

— Да что ж в самом деле, бабы, чего бояться? — сказала она решительно. — Не земля родит, а руки.

— Правильно, — подтвердил Петр, горячо и одобчительно оглядывая свою бригаду. — Контрактация нам тот же хлеб дает.

Никодим постучал ногтем по берестяной тавлинке и рассмеялся:

— Семенов, пиши Стукову в ударницы. Вишь, напрашивается. Любота!

— А что же? — рассердилась Анна Михайловна, даже встала со скамьи. — Мужики ударничают, а бабам доли нет?

— Бабу они ни во что не ставят. А без бабы повесма льна не обиходить... Верно! Крой их, Михайловна! — возбужденно поддержали Дарья Семенова и Ольга Елисеева.

На душе у Анны Михайловны было легко. Сыновья ее смеялись в кути. Там, примостившись на короточках у печки, дед Панкрат загадывал ребятам загадки:

— Били меня, колотили, во все чины производили, а опосля... на престол с царем посадили. Э?

— Оpozдал, дед, царей теперь нет.

— Ну, нет так нет, — миролюбиво согласился старик. — Слушайте, воробышки, другую загадку...

Одно смущало Анну Михайловну — ранние сроки сева, назначенные правлением. В округе ни один колхоз еще не выходил на поле, дожидая тепла. Справедливо толковал народ, что от сненики добра не бу-

дет. Беда, как ударят утренники, пропадет подчистую лен. А председателю, знать, и горюшка мало. Известно, ему бы только перед районом выхвалиться: вот, дескать, какие мы, раньше всех отсеялись.

Перед самым собранием разговорившая Анна Михайловна с завхозом, поделилась своими опасениями.

Савелий Федорович развел руками:

— Мое дело маленькое: принять — отпустить... что прикажут. Елисеев нашего председателя подбил. Он ведь любитель известный... на чужом горбу опыты делать. А с Николая Ивановича что спрашивать? Не крестьянствовал, как бобыль. Ну, и оставит нас всех осеню бобылями.

В самом деле, что мог знать Семенов, с роду не сеявший льна! Другое дело — Савелий Федорович, у него прежде в хозяйстве всегда был самый лучший лен.

— Так что же молчишь... ты?! — воскликнула, похолодев, Анна Михайловна.

Скосив глаза, Гуцин с обидой ответил:

— Рот зажат.

И верно, на собрании он ни слова не сказал против. Бабы и мужики ругались, споря с председателем и бригадиром, а Гуцин, пристроившись на краешке стола, зная себе на счетах пошелкивает.

— Мы за себя не боимся, Коля, — сердито сказала Анна Михайловна напоследок. — Мы справимся.. Вот только ра.. рановато, кажись. Послушайся народа. Всякое семя, как говорится, знает свое время.

— Старая поговорка, Михайловна. У меня на сегодняшний день поговорей есть: ранний сев к позднему в загрому не ходит, — весело и твердо сказал Семенов.

хп

Наутро, чуть свет, вышли сеять лен.

Поли, овраги и перелески еще дремали в тумане, как под одеялом. За рекой, в синих елках, бормотали и чуфыркали тетерева. В зеленоватом высоком небе плыли льдинами белые облака.

Из-под ног Анны Михайловны вырвался жаворонок. Ступенчато, как по невидимой лестнице, поднялся он ввышину и запел. Ей казалось, что жаворонок добежал до льдины-облака и купается в зеленой небесной затопи.

— Хо-ро-шо...— раздельно говорит Анна Михайловна, глубоко, всей грудью вдыхая запах талой земли.

С трепетным и грустным удивлением оглядывается она вокруг и, точно прозрев, видит этот огненный край солнца над лесом, это высокое спокойное утреннее небо, этот туман над беспрдельной ширью полей и лесов. Мучительно остро ощущает она молодость природы и свою старость. Когда же она успела прожить жизнь? Почему раньше не замечала вот такого весеннего утра? Ей тревожно и чего-то жалко, вроде как хочется сызнова начать жизнь. Это невозможное, несбыточное желание смешит ее.

«Поди, все старые так думают...— усмехается она.— Да полно, какая еще я старуха! Старух не посылают лени сеять... А если и так, что за беда? Уж кто-кто, а я-то знаю, для кого жизнь промаялась... Дрыхнут на голбце мои мучители ненаглядные».

На крайней от оврага меже стоит ее лукошко с красным кушаком. Подле — мешок с сортовым брагинским льносеменем. Никогда еще не доводилось Анне Михайловне рассевать такую прореу льна. Бережно отсыпает она из мешка в лукошко первую порцию стекляннно-коричневых скользких семян. Она уже знает наощупь это брагинское семя, несколько тощее на вид, с характерными загнутыми носиками «Словно купчинички махонькие...» — думает она, шурясь и пересыпая с ладони на ладонь семена. Не утерпев, пробует на зуб и, глотая маслянистую пахучую слюну, идет с лукошком на полосу.

Земля так мягка, что ноги Анны Михайловны вязнут. И трезога вдруг щемит сердце. Для Анны Михайловны перестает существовать утро, которому она радовалась. Она ничего не видит, кроме непросохшей земли.

«Так и есть... говорила, обождать надо. Погубят ден, господи!»

Гнев и страх овладевают ею.

«Не свое — вали... а там хоть трава не расти».

Анна Михайловна выбирается на межу и, отчаявшись, бросает лукошко. Она садится на мешок, нахихлившись, как почная птица.

Подходит Николай Семенов, наклоняется, заботливо спрашивает:

— Заболела, Михайловна?

— И не ест...

— Почему не ешь?

— Не буду... — Она поднимает черные, блестящие слезой глаза, и в них вспыхивают злобные огоньки. — Я тебе, Коли, открытую правду скажу.

— Ну, скажи.

— Земля... не принимает, — с хрипом выдавливает Анна Михайловна, и горькая судорога кривит ее рот. — Голодными нас оставите... с вашими опытами. Вот тебе моя правда!

Николай Семенов сурово сдвигает брови. Не первый раз он слышит это.

— Кулацкая брехня, Михайловна. Зачем ты ее слушаешь?

— Какая, к псу, кулацкая брехня! — кричит Анна Михайловна, вскакивая. — Да ты хоть раз лен сеял? Раненнее время — как? Сей на Оленин день, потому сказано: Олени — длинные льны... А теперь что же это такое? Измазались над землей... Мачеха! Не жалко.

— И длинные льны тебе Олёна давала? — не сдержавшись, смеется Семенов. — Эй, не криви душой, Михайловна!

— Врать не буду, длинноты особой не видывала.

— Каким номером лен продавала?

— Не скажу. Чаше без номера шел.

— Значит, браком?

Семенов помолчал.

— Это хорошо, что ты близко к сердцу лен принимаешь. Спасибо... А теперь смотри...

Он берет горсть земли, давит ее в кулаке и, под-

няв руку на высоту груди, разжимает пальцы. Едва коснувшись земли, комок рассыпается.

— В точности как агрономы советуют. Просохла земля, видишь? Ранний сев даст нам семнадцатый номер... Сей, Михайловна.

— Не буду, Николай...

— А ну, давай сюда лукошко. Я вместо тебя буду сеять.

Семенов решительно наклонился за лукошком. Но красный кушак оказывается в руках Анны Михайловны. Бранное слово застревает у нее в горле. Она торопливо надевает кушак через плечо и, взмахнув рукой, точно перекрестившись, бросает горсть семян.

— Коли не уродится, я на тебя пожалуюсь. Помни это, Семенов.

— Есть такое дело. Ответ держать согласен, — весело откликается председатель, уходя — Суди меня, Михайловна, но только осенью, не сейчас.

Свеглосое солнце, точно распуская кружева, неустанно гонит туман в низины. Все отчетливей, шире проступает черно-фиолетовая сырая пашня, поблескивающие лемехами плуги, телеги, лошади, запряженные в бороны, севцы, мернодвигающиеся по полю. Анна Михайловна делает шаг, и рука ее с прихваченной горстью семян, в такт движению, описывает размашистый полукруг, ударяя о ребро лукошка: «чок... чок...»

Семена льна брызжут из-под пальцев, косым блестящим дождем падают на землю...

«Взойдет ли?» — тревожно думала Анна Михайловна.

Таясь от ребят и соседей, она бегала по утрам на участок и подолгу стояла молча, ослабшая и растерянная. Пустынное, мертвое поле лежало перед ней. Ни одна травинка не пробивалась сквозь бурую хрупкую земляную корку.

На пятый или шестой день Анна Михайловна не вытерпела и, присев на корточки и зажав дыхание, осторожно копнула суглинок. От волнения она долго

не могла ничего разглядеть. Безжизненная, как песок, осыпалась на ладонь земля.

«Пропал лен. . . Ничего нет. Пустая земля...»

Анна Михайловна не так горевала бы, если бы это была, как прежде, ее собственная, узкая, точно межник, полоска. С такого клина невелик убыток, да и взятки с себя гладки: оплошала и помалкивай, а соседям дела нет. Теперь же она должна была держать ответ за испорченную землю перед целым обществом.

Но даже и не это мучило ее. Страшно было не то, что лен пропал на участке, который она засеяла, в конце концов затон не так уж велик, Семенова она предполагала, и ей не стыдно людям в глаза глядеть; странно было то, что мертвое поле простирается до самого леса. Видать, похоронит эта пустыня колхоз, разбежится народ, и придется Анне Михайловне сидеть, в проклятом одиночестве, ковырять свой клин.

Еще раз копнула она землю, и вдруг коричневая скользкая блестка, смахивающая на крохотный осколки стекла, скатилась ей на ладонь, и она увидела желтоватый червячок ростка.

Аа! — воскликнула Анна Михайловна, шумно вскакивая и примечая, как падает на ладонь второе проросшее семечко, третье...

Она бережно посадила ростки в землю, старательно заровняла лунку и, вставая, вытерла концом платка глаза.

ХIII

Вскоре Анна Михайловна любовалась полем, усеянным зелеными, чуть видимыми усиками. Она говорила о льне, как о малом ребенке:

— Растет... растет, родимый! Ах ты, мой красавчик! От земли только отошел, а уж вон как прет.

— Четвертый листок пустил,— подметила довольная Дарья Семенова.— Будем нонче со льном, коли блоха не сожрет.

— Я золы припасла мешок.

— Тут сто мешков надо.

— Сказать Коле — найдет и сто. Печи то бабы топят?

— Печей много, а Коля один, — проворчала Дарья, утираясь передником. — Везде Коля... Да что ему, больше всех надо? И так, почесть, неделями дома не бывает.

В голосе ее была ласковая гордость и обида. И Анна Михайловна сказала то, что приятно было слышать Дарье:

— Ну, что сделаешь, — председатель.

Они стояли на участке, облитые жаром весеннего солнца. Высоко над головами, в побелевшем небе, стригли, как пожницами, черными острыми крыльями стрижи. Сухой, горячий воздух струился маревом.

— Ах, дождя бы... да проливного! — прошептала Анна Михайловна, изнемогая от жары и беспокойно сдвигаая плечи.

Запрокинув голову, с надеждой глядела она в небо, но было оно бездонным и пустым, и только стрижи все стригли да стригли крыльями безустали.

— Хоть не хочь, а корову донть надо итти, — вздохнула Дарья, и Анна Михайловна, ощущая в сухом рту горечь и соль, поплелась за ней на выгон. И весь день се не покидало тревожно-палющее чувство жажды.

Ночью Анна Михайловна два раза просыпалась и четко прислушивалась — не шумит ли дождем крыша. В избе было тихо, душно и очень светло. Она встала, сонная, напилась прямо из ведра, черпая пригоршнями, потом выглянула на крыльцо.

Вечерняя долгая заря сходилась с утренней. В чернильно-синем небе светились редкие звезды, точно прозрачные брызги воды. Не шелхнувшись, томительно никли ветви тополя. Слышно было, как во дворе ворчалась и тяжело дышала корова.

Спустившись с крыльца, Анна Михайловна ступила на луговину. Росы не было. Сухая прошлогодняя трава, шурша, колола и чуть холодила босые ноги.

«Сушь... ровно летом, господи!» — думала Анна Михайловна и, понурившись, возвращалась в избу, ло-

жилась на полу, неукрытая, и ей снилось два раза одно и то же — что она девчонкой шлепает по мутным лужам, потом, присев на корточки, пускает щепочки и, зачарованная, следит, как они, кружась и покачиваясь, уплывают в кипящий ручей...

Дождь пришел, крупный и теплый, когда его перестала ждать Анна Михайловна. К вечеру неожиданно и как-то сразу потемнело небо, сухо и сильно треснул гром, и начался ливень. Она выскочила из избы раньше ребят, протянула руки, замерла и в одну минуту промокла.

С гумна бежали куры, распластав крылья, вытянув шеи и опустив хвосты. Под стоком бурлил ручей, и Мишка, засучив штаны, носился у крыльца по пенной луже, выкрикивая:

Дождик, дождик, пуше,
На бабью капусту,
На девичий лен —
Поливай ведром!

Стоя под косыми, отрадно хлеставшими струями, пожимаясь и ахая, Анна Михайловна вспомнила, как однажды, на диво ей, вот так же мокнул под дождем и радовался, словно мальчишка, Петр Елисеев. И только теперь она поняла его.

Дождь шел весь вечер и всю ночь. Наутро Анна Михайловна не узнала своего льна. Ровным зеленым лугом стался он по влажной, дымящейся земле.

Лен пошел и «елочку», теперь блоха ему была не страшна. Но вместе со льном подняли голову сорняки. Суренка, попианка, осот, заячья капуста обступили тонкие мохнатые стебельки.

— Полоть лен, — распорядился Николай Семенов.

*

В первый же день Анна Михайловна заметила, что многие колхозницы работают сидя, приминая коленями нежные побеги льна. Вытеребленные сорняки оставались тут же на полосах. Она молча стала в ряды полотьщиц, легко согнулась и, осторожно двигаясь,

чтобы не помять льна, выдирала колючий осот. Она набрала охапку сорняков и отнесла в овраг. И, глядя на Анну Михайловну, колхозницы одна за другой вставали с колен.

— Не управимся во-время с прополкой... конаетесь! — ворчал Петр Елисеев, понукая баб. Петерпеливый, черный от загара, злой, он появлялся на поле неожиданно и всегда, словно нарочно, когда колхозницы отдыхали.

— Ровно ему кто скажет, под бок ткнет, — говорили с досадой бабы, поднимаясь. — Околевать теперь на работе?

— Не околевать, а поменьше прохлаждаться.

— Да ведь не железные. Все рученьки повыдергали.

— Знаю, — отвечал Петр, горячась. — А вы думали, в колхозе ватрушки прямо с неба в рот валяются? За спасибо?.. А, дуры бабы!

Просыпая табак, он торопливо крутил цыгарку и, закурив, доброд, хвалил работу, неумело шутил. И Анна Михайловна, как и все, знала, для чего он это делал, ломая себя.

— Надо бы вечерку... прихватить, — как бы между прочим, невзначай, бросал он, уходя.

Прихватывали и вечерку, но конца прополке не было видно.

Тогда Анна Михайловна привела с собой в поле сыновей. Ленке и Мишке понравилась работа и — главное — обращение матери с ними, как со взрослыми. После обеда они явились во главе табуна ребят. Галками разлетелись ребята по полосам. Петр Елисеев даже замычал от удовольствия. А Семенов посулил:

— Ландришу куплю по фунту на нос. Выручай, пионеря!

XIV

Прополотый лен рос могуче. Он зацвел рано и дружно, окрасив поле в бирюзовый цвет. Катилось — и неба упало на землю. Девушки заглядывали на

цветущий лен и невольно срывали и прикалывали его на грудь, как незабудки.

По вечерам голубоглазый лен засыпал, дремотно сжимая лепестки, точно ресницы, а утром, умытый росой и обогретый солнцем, вновь раскрывал свои ясные очи.

Семенов привез из города конную льнотеребилку. Это была первая машина, приобретенная колхозом, и все сбежались смотреть на нее. Теребилка оказалась маленькая, словно игрушечная. И окрашена она была ярко, как игрушка, в красную и голубую краску.

— «Ком-со-мол-ка»... — прочитал Костя Шаров клеймо, и Анна Михайловна невольно засмеялась этому удачному прозвищу.

— Похоже! Форсистая... как девка.

— Как бы эта девка нам лен не испортила, — с сомнением сказала Ольга Елисеева. — Руками драть лен спокойнее. Что нихватишь — все в горсти останется.

— Много ты понимаешь! — оборвал жену Петр, сидя перед машиной на корточках и жадно и ласково трогая ее холодные блестящие части. — Чай, с умом делала, на заводе, как живая.

— Поди-ка! — сказала Авдотья Куприянова. — Железо, оно и останется железом... без души.

— У тебя в горсти души много.

— Гореть-то теперича чужая, — вздохнул Ваня Яблочков.

Савелий Федорович, весело оглядывая народ, осклабился.

— Госкусте? Пора бы, кажется, и забыть, что свое, что чужое...

И всем стало как-то нехорошо от этих слов. Анне Михайловне вспомнилось, как в воскресенье зазвала ее Ольга пить чай, и когда они сидели за столом, в раскрытое окно просунулась, звякая бубенцом и всхрипывая, морда Буяна. «Ишь, не забыл родного места», — мелькнуло тогда у Анны Михайловны. В задумчивом разговоре, как-то раз еще до колхоза, хвастал Петр Буяном: «Умнеющий конь. Как чай пить — он у меня под окошком стоит, хлеба просит...» И те-

перь, по привычке, протянул было Петр Елисеев жербицу ломать хлеба, но обронил его на полоконишник и, выругавшись, ударил Буяна кулаком по скуле. «Одурел? Чем тебя скотина-то обидела?» — закричала на мужа Ольга. Петр исподлобья страшно глянул на нее и молча вылез из-за стола.

И сейчас, покосившись на завхоза и как-то сразу потухнув, он поднялся с корточек и уже ногой трогал машину.

— Мало одной, — сказал он недовольно. — На пять таких игрушек делов хватит.

— Делов хватит, да капиталу не наскребем, — ответил ему Гушин громко, так что все слышали. — Еще косилку и жнейку завтра привезут. В кредит... Опять же льнозавод будем строить. Придется осенью в кошельки заглянуть.

— За свой бонься? — зло прищурился Семенов. — В твой кошелек заглянуть стоит.

Костя Шаров, внимательно осмотрев теребилку, подлил масла в огонь.

— Сбрасывательный аппарат не работает, — сказал он.

— Ты откуда знаешь? — дрогнув, спросил бригадир.

— Маракую немножко по машинной части... вижу.

— Предупредили меня, с изъясном, — подтвердил Семенов спокойно. — Ничего, приемальщика посадим.

Закусывая ус, Елисеев набросился на председателя:

— Ты, что ли, сядешь? В моей бригаде лишних нет. И зачем нам эту забаву... коли бестолку она?

И все стали кричать, что правление транжирит общественные деньги попусту и прав Савелий Федорович, гляди, пойдут осенью колхозники по миру с корзинками.

У Анны Михайловны защемило сердце.

Так мешалось сладкое с горьким. За лето всего хлебнули досыта.

Хорошо было кренить бригадой рано поутру, когда тропил обрызганная холодными дождевыми каплями

ры, точно сама ложилась под косой, но колхозники выходили на косьбу не сразу и не все. Повесили у правления «било» — чугунную доску. Елисеев стучал в нее ржавым шкворнем, и все обижались, что работают по звонку, как арестанты на каторге, бабы не успевают коров доить, а уж про печи и говорить нечего — по неделе народ на сухомятке сидит. Верно, Анна Михайловна топила печь по вечерам, да и то не каждый день, и гуменик свой пришлось ей косить ночью, потому что Семенов воскресенья отменил, сказав:

— Зимой напразднуемся.

Но что приятно было возвращаться с поля бабьей оравой, в полдень, закинув высоко над головами грабли, пить у колодца студеную, только что почерпнутую воду, смотреть, как парни, играя, обливают визжащих девушек из деревянной, окованной железом, бадьи; приятно было самим подставлять разгоряченные, потные лица под ледяную, благодатную струю. Освеженные, расходились по домам, чтобы пообедать и вздремнуть часок-другой, положенный еще исстари в эту страдную пору. Садились за стол похлебать простоквашу или окрошки с шипучим квасом, зеленым луком и сметаной. Не успевали взять ложки, как появлялся под окнами бригадир.

— Туча заходит... как бы не замочило сенцо... Эй, после пообедайте!

Весело было под вечер, наперегонки с другими бабами, стробать на лугу шумящую гороховину, кидать ее в конны, а потом навивать воза, точно зеленые горы, и усталой, прилепив на мокрые плечи жаркий платок, брести за последним возом, слушать песни девушек, чувствовать, как щекочет забравшаяся за ворот кофты былинка, вдыхать пряный аромат мяты, жасминовый запах увядающей ромашки и росистую свежесть наступающей ночи. А на ум приходило: «Дрова и лесу остались сухие... как бы не сожгли, бадуясь, пастухи». Надо было просить у бригадира лошадь, и неизвестно — даст он или не даст.

Примечала Анна Михайловна: не одна она, все чувствовали себя как-то неловко, непривычно в колхо-

зе. Особенно раздражала неразбериха с нарядами на работу. Елисеев прикажет одно, Семенов, глядишь, распорядится делать другое.

— Вы что с людьми в куклы играете? — сердясь, выговаривала Анна Михайловна председателю. — На неделе семь пятниц... Коли выбрали тебя набольшим, не зевай по сторонам.

— Глаза разбегаются, Михайловна, честное слово. С непривычки, — оправдывался Семенов. — Как малый ребенок, учусь ходить... Вот шишки на лбу и всакивают.

— Смотри, башку проломнись.

— Она у меня медная, — смеялся Николай, встряхивая рыжей копной волос. — Дорожка наша крутая, в гору, это верно. И она нехоженная... с ухабами на сегодняшний день. Что же из того? Прямая. Не заблудишься. Только не ленись, иди по ней, ног не жалей. А оступишься — сам виноват: гляди в оба.

— Про то и разговор, — соглашалась Анна Михайловна.

— Научимся... — твердил Николай, хмурясь и точно грозя кому-то. — Дай срок, привыкнут ноги.

— Сроку-то никто не дает, вот беда, — усмехалась Анна Михайловна.

— А? Не дает? — веселел Семенов. — Стало быть, зараз надо: и обучаться и ходить?.. Так и делаем, Михайловна.

Много было споров о том, как распределять осенью урожай. Одни требовали — по едокам, другие — по труду, третьи кричали, что рано задумали делить шкуру медведя, сперва его убить надо. Вон два воза клевера пропало, с поля увезли, нищи-свисти теперь. Анне Михайловне было понятно, что многосемейные цаставляли на дележке по едокам, и удивляло, почему Савелий Федорович Гущин, такой умный, хозяйственный человек, поддерживал эту несправедливость. К счастью, с ним не согласились, решили делить урожай по труду: кто сколько сработает, столько и получит. Семенов завел учетную тетрадку, и все бегали к нему по вечерам отмечаться и узнавать, правильно ли написана работа.

А ветер носил над полями голубые тучи опавших лепестков. Граненые головки льна качались на стеблях, словно гроздья спеющих ягод. На возвышенных местах полосы желтели, точно овейные позолотой. И однажды нара кругобожих коней вынесла на пригорок льнотеребилку. Ездовой Костя Шаров уверенно направил коней по желтому краю, гремящая теребилка врезалась в лен, и длинные стебли, отделяясь от земли, послушно поползли по широкому ремню в руки принимаальщика. Тот сбрасывал стебли маленькими грудками, и Анна Михайловна, идя следом за машиной, вязала лен в головастые снопы.

Лен косился быстро. Как желтухой, покрылось скоро все поле. Теребилка не справлялась с работой.

— Лен горит! — тревожно донесла Анна Михайловна председателю колхоза.

И поле зацвело цветными сарафанами, белыми кофточками, красными косынками. Анна Михайловна разгибала спину только для того, чтобы стереть с лица пот, оправить выбившуюся из-под платка мокрую прядь седых волос, чтобы глотнуть из ведра теплой, не утоляющей жажды, воды. Она уходила из дому до восхода солнца и возвращалась с поля ночью, смертельно усталая и счастливая. Золотой лен грезился ей в короткие часы отдыха, когда она смыкала горящие веки.

XV

Еще когда строили льнозавод, по колхозу поползли слухи, будто «шортовые колеса» портят волокно, калечат людей, что крушную трепать сподручней, а с машинами как раз, гляди, колхозу и не выполнить плана, все волокно на трепалах останется. Строчиха крепилась и божилась, что своими глазами видела, как в Кривце у трех колхозниц оторвало пальцы, колхозник замертво отвезли в больницу.

Нечесало прошло открытие льнозавода. В сарае было холодно и неприветливо. Сквозь бревна, наспех и плохо промешенные в пазах, тускло просвечивал свет. На горбатом земляном полу, в стружках и опил-

ках, чудовищами возвышались бельгийские колеса. Они стояли в один ряд, почти во всю ширину сарая, и Анна Михайловна заметила — все проходили мимо колес торопливо, прижимаясь к стене.

— Ну вот, и мы стали рабочими, — пошутил Семенов. — Назначаю Михайловну директором завода. Командуй машинами. Они хоть и деревянные, колесики-то, а покатают наш колхоз шибко вперед.

— На тот свет живо доставят, — злобно отозвалась Дарья.

Всем было не до шуток, и только Савелий Федорович, как ни в чем не бывало, скалился зубами.

— Приду домой — петуха зарезу... Отслужил свое, горластый, отслужил, — приговаривал Савелий Федорович, выгребая из-под колес стружки и опилки. — А-ах, хорошо вставать по гудочку! Не проспичь... Подолы, бабы, подбирайте, а то завернет колесом — вся фабрика наружу... Машинист, давай пар, смерть охота Бельгию попробовать.

Застучал трактор, и деревянные, в рост человека, трепала, дрогнув, описали медленный круг. Бабы попятись к стене. Трепала с шелестом мелькала все чаще и чаще и, словно укорачиваясь, забелели мутными пятнами. Сквозняком потянуло в сарае.

Первый раз в жизни подошла Анна Михайловна к бельгийскому колесу и испугалась:

— Батюшки-светы, да я все пальцы отшибу!

Бабы крики поддержали ее. Треть на колесах деп все наотрез отказались.

Трактор смолк. Колеса еще немного повертелись ихлястую, белые свистящие пятна разорвались, отчетливо проступили, увеличиваясь, трепала и, замирая, стали.

— Михайловна, а я-то на тебя надеялся! — огорченно шелнул Семенов, и приготовленный пучок тресты выпал из его рук.

Совестно стало Анне Михайловне. Она подавила робость.

— Петр Васильевич, — сказала она тихо бригадир, — поверни колесо, я попробую. Да осторожнее!

И протянула издали повесмо.

В этот день она натрепала десять фунтов, меньше, чем вручную. Глядя на Анну Михайловну, нерешительно стали к колесам Ольга Елисеева, Марья Лебедева и еще пять-шесть колхозниц. Слетали ремни, трепала рвали волокно, потому что треста поступала недомятая, плохо высушенная.

— Ничего, завтра наладим... пойдет дело, — утешал Семенов Анну Михайловну, когда они вечером, запорошенные кострой, шли с льнозавода. — Новое-то навсегда в руки сразу не дается. А ты присмотришься — и хватай смелее... Такие ли в городах машины покрывают!

— Так то рабочие, а мы — бабы...

— Толкуй! Мало ли женщин на фабриках работает. Да еще как!.. Бабыя рука самая ловкая.

Анна Михайловна твердила свое:

— Я бы по-старому-то, Коля, полпуда льна играючи натрепала...

— До рождества бы и проканителиться. По два пуда трепать надо, Михайловна, государство не ждет, по два... Главное — не робей, пуды-то сами к тебе придут. Да знаешь ли ты, куда наше волоконец движется?

— А плевала я!.. Руки-то мне всего дороже, — рассердилась Анна Михайловна.

Злая, невыспавшаяся пришла она утром на льнозавод. За ночь кто-то заткнул в сарае все щели отрезком, убрал из-под колес вороха омялья, выровнял землей пол. В сушилке пахло печеной картошкой. Треста была сухая и горячая.

— Перестарались... дай дуракам волю... ломается лес, как прутья из венка, — ворчала Анна Михайловна, пробуя тресту.

Но тут завели трактор, пустили чугууную льномялку, и Анна Михайловна, ощупав волокно, поневоле должна была признаться себе, что тресту не переусушили. Это еще больше почему-то рассердило.

Она вернулась в трепальное отделение. Баб набралось — не подойти к колесам. Все глазели на диковинные машины, а работать опять отказывались. В окнах играло позднее солнышко, лучи его блекло сколь-

зили по гладко выструганным трепалам. И были эти трепала такие обыкновенные, разве что вдвое подлиннее ручных.

«Березовые, должно... постарался Никодим, — подумала Анна Михайловна, примериваясь к трепалам. — Ну, постой, оседлаю я вас, дьяволов, и поеду», — ожесточилась она.

— Неужто вправду только десять фунтов... вчера? — спросила ее Дарья.

Анна Михайловна промолчала.

— Страсть какая! Заедет по макушке — без головы останешься, — переговаривались девки. — И подступиться боязно.

— А боязно, так и не подступайтесь... без вас обойдемся, — отрезала Анна Михайловна, решительно подходя к колесам.

— Да ведь и нам охота попробовать, — застенчиво сказала Катерина, проталкиваясь к Анне Михайловне и осторожно трогая острые, как ножи, ребра трепал. Она оглянулась на подруг и стала поспешно засучивать рукава кофты.

Анна Михайловна покосилась на полные смуглые локти Катерины.

— А ты не суй руки далеко... отшибет, — сказала она.

— Кончай базар! Отходи которые лишние... пускаем! — скомандовал Елисеев, появляясь в дверях сарая. — Ольга, стукни гвоздь в крайнем колесе, никак раскачался, — приказал он жене, подавая топор.

— Тут скоро все мы закачаемся, — огрызнулась Ольга, но топор приняла и послушно забила обухом высунувшуюся шляпку гвоздя. — Навыдумывали, избретатели... чтоб вам сдохнуть!

Она швырнула топор в угол.

— Давай, что ли!.. Надоело ждать.

И, как вчера, засвистели в неумном беге колеса, крупным колючим дождем брызнула из-под трепал лошадь. И по-вчерашнему ёкнуло сердце у Анны Михайловны.

Но страшновато и, главное, неловко было только первые минуты. Трудно было поднять руки, казалось,

трепала сейчас же ударят по пальцам. Почему-то скользили ноги. И даже свист мешал, унылый, словно ветер в трубе. Однако стоило забыть о трепалах, и повесмо само поворачивалось в руке, и ноги стояли твердо, и сердце переставало стучать. К свисту тоже можно было привыкнуть, благо этот ветер сдувал с лица костру.

Надвинув пониже платок, чтобы меньше засорялись глаза, Анна Михайловна заметила, что костра отделяется легко, волокно не рвется и трепала словно не бьют, а гладят серебряные нити. «Привыкну, — решила она, — легче, чем самой день-деньской руками махать... и, пожалуй... скорее».

Она видела, как медленно прошел трепальным отделением Николай Семенов. Белесая костра торчала в его лохматых волосах, как седина. Он постоял около Анны Михайловны, подобрал у нее из-под ног омялье и молча двинулся дальше, прижимаясь к стене, чтобы не мешать работающим бабам. «Этот на своем настаивает... упрямый, — подумала Анна Михайловна одобрительно. — Да и то сказать, без упрямства наш народ не поизменишь... Тяжелы мы... боимся нового, как чорт лапана. Молодым, знамо, сподручнее, старое-то не висит, назад не тянет...»

Ворочая повесмо, она мельком покосилась на Катерину. Голый смуглый локоть проворно взлетал, словно Катерина нетерпеливо отмахивалась от наседавших тучей комаров.

— Береги нить! — крикнул Гуцин, проходя мимо с виланкой волокна.

Анна Михайловна, забывшись, потеснилась к трепалам, и тут словно кто толкнул ее под колесо.

— Убило!.. Бабушку убило! — испуганно ахнула Катерина.

«Какая я тебе бабушка!» — хотела сказать сердито Анна Михайловна и упала. Что-то горячее обожгло ей руки и часто и больно заколотило по голове. «Сахару-то наколода, а из комода не вынула... ребята придут кой пить — и не найдут», — почему-то мелькнуло у Анны Михайловны.

— Остановите... сволочи... трактор остановите! — визжал Савелий Федорович.

— А-а! Убило... Родимые... Убило! — странно кричали бабы

Кто-то тащил Анну Михайловну за ноги и все бил и бил по рукам и по голове. Стало темно, холодно и очень тихо. Дивясь, Анна Михайловна раскрыла глаза, увидела заплаканное лицо Дарьи, множество ног в обскоуженных валенках и полусапожках, склоненного Семенова, который что-то торопливо делал с ее, Анны Михайловны, руками. Последней запомнилась Ольга. Она разъяренно рубила топором белые длинные трепала...

XVI

Первый раз Анна Михайловна пришла в себя от боли. Опять кто-то бил ее по голове. Она застонала, хотела защитить голову ладонями, но рук у нее не было. Она испугалась, вытаращила глаза и долго непонимающе глядела на Семенова. Он сидел около нее, завернутый в простыню, и все вокруг него было светлое.

— Ты чего... такой? — со страхом спросила Анна Михайловна. — Зачем?

— Сейчас уйду. — шепнул Семенов.

— Куда? — удивилась Анна Михайловна и вдруг все вспомнила.

— Ребята?... — заикнулась она, морщась от боли.

— Дарья с ними... Спи, отдыхай.

— В больнице, что ли, я?

— В больнице.

Анна Михайловна повела глазами на две горы бинтов, белевших на одеяле справа и слева по краям кровати.

— Руки-то... у меня... нелы?

Семенов вздрогнул, наклонился и зашипел:

— Ш-ш-ш... нельзя тебе разговаривать, Михайловна. Доктор запретил.

Она немножко подумала.

— Сломали... бабы... колеса-то?

— Молчи.

Анне Михайловне хотелось пошевеливать пальцами, но сил не было, она закрыла глаза, потерпела, пока затихла ломота в голове, и уснула.

Во сне она видела старичка, маленького, беленького и страсть сердитого. Старичок кричал на нее, топал ногами и гнал прочь от бельгийских колес, а ей нельзя было уйти, она только что принесла из сушилки вязанку тресты и беспокоилась: «Остынет — и не отрендешь... И что он ко мне привязался?» Она притворилась, будто не видит и не слышит старичка, хватала по два повесма и совала их к трепалам, а они, как пазло, еле поворачивались, и костра гвоздями торчала из волокна, хоть клещами вытаскивай. «На печке тебе сидеть... Марш на печку!» — кричал старичок тонким злым голосом, стучал ей в спину кулаком и зачем-то требовал, чтобы Анна Михайловна не дышала. «Сумасшедший... терпенья моего больше нет... позову Семенова», — решила Анна Михайловна, оглядываясь кругом. Но в сарае были какие-то чужие люди, добела осыпанные кострой, и Семенова она не нашла. А старичок, распахнув халаг, запел песню и стал ломать Анне Михайловне руки.

Она вырвалась, убежала в избу. Ребята сидели за столом и хлебали молоко вприкуску с сахаром. «Это еще что за мода? — рассердилась мать. — И так каждый день колю вам к чаю по целой сахарнице... Не смей у меня баловаться!» — «Да мы и не балуемся, — сказал Ленька, — что нам дала тетя Ольга, она к тебе и гости пришла». И действительно, на лавке сидела Ольга Елисеева, в новом белом платье, просто-полосая, а с ней рядом Катерина с голыми смуглыми плечами и еще кто-то из баб. И все они шопотом уговаривали Анну Михайловну полежать и не разговаривать, а она все допытывалась у Ольги, куда та девала топор...

Потом бабы пропали, Анна Михайловна лежала одна в чужой полутемной избе. Слабо горела под потолком лампа, и в желтом пятнышке света тихо кружилась мохнатая бабочка. Анна Михайловна подняла

голову с подушки и огляделась. Смутно белели кровати, слышно было дыхание спящих. Кто-то застонал во сне. И она опять все вспомнила и тихонько заплакала. Но лежать ей было удобно, мягко, ничто не болело, и только руками нельзя было пошевелить.

— И за что ты меня наказал, господи?!

Скрипнул пол, подошла сиделка, поправила одеяло, подушку и строго сказала:

— Спите, больная... спите.

А уж какой тут сон! До утра не сомкнула глаз Анна Михайловна и столько всего передумала тревожного, нехорошего о ребятах, о колхозе, о бабах... Наверное, дуры, с перепугу все поломали в сарае. Вот тебе и льнозавод... А Дарья, поди, ребятам и обед сварит, не поленится, и корову подонт. Не минешь трепать лен вручную, а ведь пошло дело, смотри-ка, даже девки к колесам стали. Кабы не грех этот, живо бы управились и за молотьбу принялись... Попутал лукавый, попутал... Не тронься она с места, и не было бы ничего. Сама виновата. Проход еще вот мал сделали... Да ведь ходили же люди, не кричали в самое ухо... Ах, словно нарочно все вышло! Сожрут теперь бабы Никодая, замутят колхоз... Ну и кашу она заварила — не расхлебашь.

Было еще одно, самое страшное, о чем Анна Михайловна старалась не думать. Она неотрывно смотрела на бабочку, которая кружилась над лампой, а видела белые пухлые горы бинтов под одеялом, там, где должны были лежать ее, Анны Михайловны, руки.

Когда утром ей ставили градусник, она заглянула под одеяло и тотчас зажмурилась: ей показалось, что руки стали короткие, словно обрубленные. Но боли не чувствовалось, и это ее немножко успокоило.

Принесли чай и завтрак. Анна Михайловна с помощью сиделки, рябой, молоденькой и строгой девчонки, с удовольствием выпила кружку теплого переслащенного, но очень жидкого, хотя и настоящего китайского чая, съела половину будки и ломтик колбасы. Она выпила бы и посла еще, да потеснялась попросту.

В палату убежал старичок, точь-в-точь такой, как она видела во сне. Больные, которых Анна Михайловна успела разглядеть, как-то ожили, повеселели. Мурлыкая и ворча, старичок присаживался на кровати, тоненько кричал, и смеялся, и топал, и полы его незастегнутого халата так и разлетались гусиными крыльями.

— На печку... на печку, старуха, посажу! — сердито потрогивал он Анне Михайловне еще издали.

Подбежал к кровати, ухватился пучеглазо и всплеснул руками.

— Хороша-а, красавица! — тоненько закричал он, вцепившись себе в седые всклокоченные волосы. — Посмотри, матушка, на кого ты стала похожа. Срам! Срам!

Похолодев, Анна Михайловна лежала ни жива ни мертва. «Батюшки, — тоскливо подумалось ей, — видеть, плохи мои дела, коли он так ругается».

Не спуская с нее злых, острых глаз, фыркая и порча, старичок принялся снимать повязку с головы. Пальцы его неприятно щекотали лицо Анны Михайловны, ее бросило в дрожь.

— Больно? — обрадовался старичок и запел себе под нос: — «Ай, люли, ай, люли... Как у наших у ворот комар музыку ведет...» Так тебе и надо, — сердито ворчал он. — Не суйся, старая, не в свое корыто. Я вот тебе сейчас еще больнее сделаю, — злорадно пообещал он, хватая ее голову и вертя из стороны в сторону, точно желая оторвать напроочь.

Но бить Анна Михайловна так и не почувствовала. Длинный мягкий бинт неожиданно очутился в руках старичка. Он понюхал бинт, помахал им и рассмелся.

— Испугал?.. Люблю. Скорее выздоравливают... Ну-с, все пустяки, старуха. Царапины твои живо залечим. Молись богу, счастливо отделалась.

— А руки... хоть один... остался... пальчик? — замирая, шопотом спросила Анна Михайловна.

— Какой пальчик? Что ты там выдумала?! — Старичок затопал и опять закричал. — Па-альчик... —

тоненько передразнил он. — Смотреть не хочу на твои пальчики. Завтра перевязку сделаем, в неделю мясом обрастут, и проваливай... Надоела ты мне.

— Ох, а уж как ты мне надоел... — призналась, вздыхая и усмехаясь, Анна Михайловна.

— Две недели в больнице проморою! — пригрозил старичок, убегая из палаты.

Ночью, когда в палате все уснули, сиделка вымыла пол, привернула лампу и вышла в коридор, Анна Михайловна, не утерпев, схватилась зубами за тонкую, пропахнувшую спиртом марлю и, ворочая правой, тяжелой и непослушной рукой, принялась разматывать бинт. Ее трясло, как в ознобе. И зубы и сердце так стучали, что она боялась разбудить больных. Она часто выпускала из зубов марлю и, тая дыхание, пугливо прислушивалась. Потом снова принималась за дело.

От напряжения у нее сводило судорогой челюсти, слюна замочила подушку, пот выступил на лбу. Она спуталась в марле, кажется, бинту конца не было.

«Нету пальцев..., нету...» — страшно подумалось ей и с ужасом ясно представилось, как идут галдящей правой на работу бабы, а она, Анна Михайловна, торчит в избе, культяпки болтаются у нее в широких рукавах кофты, и за обедом сыновья по очереди корчат ее, мать, и кусок встает ей поперек горла... Она рванула бинт и застонала от боли, неожиданно охватившей ее.

Сквозь пятипалую, запачканную кровью и потом, марлю она увидела бугорчатые очертания пальцев. В глазах у Анны Михайловны качнулись и поплыли стены, кровать, лампа, и она не могла сразу сосчитать — сколько же там, под жесткой марлей, пальцев: четыре или пять. Она поднесла руку поближе, несмело потянулась, сосчитала и долго лежала неподвижно, подняв брови, пристально и удивленно рассматривая опухшую, словно чужую, кисть руки.

Она попробовала согнуть пальцы, это вызвало резкую боль, и Анна Михайловна усмехнулась.

Отодхнув, она тихонько разматала бинт на левый локоть и теперь уже сразу сосчитала пальцы.

Все это ее так утомило, что она заснула, не успев забинтовать руки, и после ей страсть как понало от сердитого старичка, она прямо не знала, куда деться от стыда.

Дни пошли скучные, досмерти длинные. От безделья все время хотелось есть. Кормили в больнице часто, но помаленьку, и Анна Михайловна, поборов стеснение, стала подпрашивать прибавки. Она пере-знакомилась со всеми больными по палате и, когда ей разрешили ходить, высмотрела всю больницу, забрела на кухню, вызвалась помогать кухарке, но ей не позволили.

Однажды ее позвали к окну, она подошла и увидела на улице, за палисадом, Леньку, Мишку и Дарью. Ребята, как только приметили ее, вскочили на кесовую изгородь и молча во все глаза уставились на мать в белом халате. Дарья высунула из-за палисада голову, заплакала, потом засмеялась, все хотела влезть на палисад и не могла.

День был неприемный, и, как ни просила Анна Михайловна, сыновей и Дарью не пустили в палату и ей не разрешили выйти на улицу. Ей передали узелок с домашними гостинцами и записочку.

«Мама, поправляйся, — писал Ленька знакомыми крупными палочками, по-печатному, чтобы она могла разобрать, — мы живы и здоровы, кланяемся тебе, и тетя Дарья тоже кланяется. Мама, напиши ответ, когда тебя выпустят, мы приедем на лошади».

Рукой Мишки, криво и мелко, была приписка:

«Нини поскорей, а то Буян не стоит».

Рибая молоденькая сиделка написала на обороте записки, что больную Стукову выпишут, наверное, в среду, а лучше, если они приедут в четверг, надежнее, и больная хочет знать — треплют в колхозе лен или нет.

Толкаясь, ребята прочитали записку, перебивая друг друга, прокричали что-то в ответ. Рамы в окнах были двойные, слышно плохо, и Анна Михайловна ничего не разобрала. Она постояла, посмотрела на ребят и Дарью, показала им свои забинтованные руки, Дарья снова заутиралась платком, и Анна Михайлов-

на махнула, чтобы уезжали. За вечерним часом она угощала знакомых по палате Дарьиным пирогом, ватрушками и сдобниками. И все хвалили Дарьино печенье и еще раз охотно выслушали историю Анны Михайловны: как она попала под колеса и какие хорошие растут у нее сыновья.

Дежурный врач выписал ее в среду. Анна Михайловна совсем собралась, переделалась, попрошталась с больными, но тут прибежал старичок, главный врач, затопал, закричал, что не отпустит до завтра, и она с ним поругалась. Она опять закуталась в надоевший халат, но одежду свою не вернула, спрятала под кровать и после обеда, в так называемый «мертвый час», пошла будто в уборную, горохово накинула на себя рубашку, юбку, кофту, башмаков надеть не успела, повесила в коридоре халат и, босая, на цыпочках, пробралась к выходной двери и сняла цепочку.

День был погожий, теплый, хотя и ветреный. То набегали облака и светлые тени скользили по земле, и она становилась рябая, прохладная, то выглядывало солнце и пригревало дорогу. Все вокруг еще зеленело и желтело, и только лес вдали начинал там и сям пылать осенними кострами. В полях дожинали овсы, рыли картошку. По овинам и ригам, мимо которых проходила Анна Михайловна, стучали молотилки, цепи и сортировки. Приятно пахло сухой соломой и духовитой мякиной.

— Труд на пользу! — говорила, кланяясь, Анна Михайловна работающим.

— Спасибо, спасибо, — весело откликался кто-нибудь из мужиков или баб, мельком оглядывая ее.

Иногда она останавливалась и спрашивала, как управляют миром-то, хороши ли хлеба, — и в ответ слышала, что обижаться не приходится, всего уродилось вволю, вот только бы не запоздать, убрать с добром во-время. Она присаживалась на завалинки к старухам, нянчившим ребят, просила напиток, разговоривала обо всем, что приходило в голову, и, отдохнув, шла дальше, споро и легко перебирая босыми ногами, и не заметила, как отмахала восемнадцать верст.

Гумнами, не заходя домой, она пробралась к льнозаводу. Трактор глухо урчал, как ни в чем не бывало.

— Ну, слава тебе... — Анна Михайловна перекрестилась и тихонько толкнула дверь в сарай.

•

Скоро забылись и больница, и седенький строгий старичок, и даже та страшная ночь, когда Анна Михайловна зубами снимала бинты с тяжелых, непослушных рук. Она застала в колхозе самую горячку и приловчилась, хотя и не сразу, трепать лен по-новому.

В мыльном отделении чугунные зубчатые валы жадно глотали теплую, пряно пахнущую гресту. Из-под валов греста выходила разжеванной, с колючками кистры и рыжевато-курчавыми завитушками волокна. Мужики бережно принимали мятые, еще не остывшие повесы и несли их в трепальный цех.

Здесь в воздухе неседающей пылью висела кистра, плавали белые прозрачные тенета, как пух одуванчика. В стремительном порыве крутились деревянные трепала, сливаясь в белесые круги. Анна Михайловна хватала мягкую гресту, всером разворачивала ее перед свистящим бельгийским колесом, и отделившаяся кистра взлетала облаком. Мягкое волокно нежно ластилось к пальцам; гибким, почти невидимым движением они выворачивали волокно, как чулок, и легко, словно играя, опять приближали к трепалам, пока не становились влетящую кистру чуть заметные, тончайшие паутины и бесформенный мочалистый пук не превращался в длинное, тугое, скользящее в руках серебристое повесмо.

Девушки относили под навес готовое волокно и пели песню. Бабы за трепалами подхватывали ее звонкие переливы, и песня кружилась над льнозаводом, как птица.

Слабым, дребезжащим голосом Анна Михайловна подтягивала, как умела, и, вспоминая разговоры Семенова, явственно видела, как горы волокна идут на фабрики и чудесные руки ткачей, словно по полшеб-

ству, превращают волокно в белоснежное хрустящее полотно.

И вот он, ее голубоглазый лен, снова вернулся к Анне Михайловне браными скатертями, кофтами, широкими простынями, вышитыми рубашками для сыновей. Лен пошел в магазины по городам и селам, и кто знает, может быть, покупая платок или полотенце, люди, не зная ее по имени, но видя и понимая ее труд, помянут Анну Михайловну добрым словом. А Семенов еще говорит, что лен пойдет в Красную Армию парусиной, брезентом, палатками, будто подарит он смелые крылья аэропланам, которые летают по небу, как стрижи, и он же, лен Анны Михайловны, будет досылать безотказно патроны в пулемет пограничника...

«Хвастает... — не поверила Анна Михайловна. — Да что ж, такую прорву льна своротили — и прихвастнуть не грех... А может, и в самом деле... Сталин мою рубашку наденет», — пришло ей в голову. Она усмехнулась. Ей стало приятно и в то же время грустно, потому что она невольно вспомнила о муже.

XVII

Заполдень из-за гумен выполз обоз, груженный мешками. Вперед шел с непокрытой головой Николай Семенов с гармонистом, за ними ударники и заева-лы. С грохотом и песнями прокатил обоз по шоссе, мимо правления колхоза, и свернул в переулок.

Прислушиваясь к нарастающей песне, Анна Михайловна, ладившая во дворе загородку для юросенка, глянула за ворота. «Куда это? — гадала она, всматриваясь в приближающийся обоз. — Кажись, поставки выполнили, страховые и семенные фонды засыпали... Должно, на мельницу. Что же это они, как на свадьбу?»

Песня и, главное, колхозники, выглядывавшие с первой подводы, ее взволновали. Показалось, что машут руками именно ей, Анне Михайловне. И правда, Буяном нивесть откуда взявшиеся сыновья.

Гремящий, распеваящий обоз круто повернул пря-

мо на Анну Михайловну. Прислонясь к калитке, она окаменела. Она не поверила тому, что вдруг подсказало сердце.

— Тпр-ру... приехали с орехами! — Мишка натянул вожжи, хитро и весело поглядывая на мать.

Жарко всхрапывая, Буян рвался ко двору, не слушая Мишкиного приказания. Комья грязи летели из-под его копыт. Ленька выхватил у брата вожжи, помужички намотал их на обе руки и, блаженно хмурясь, остановил жеребца. Стали и задние подводы.

— Принимай добро, хозяйка! — закричал дед Пянкрат, молодецки соскакивая с телеги. — Тут тебе хлеб и всяческая штукавина за лен... Куда валить прикажешь?

— Что молчишь? Али язык откусила? — шутливо спрашивали колхозники, обступая со всех сторон. — Уж не колесом ли тебя опять по голове стукнуло?

— Она соображает, хватит ли избы под продукцию, — сказал Петр Елисеев, раздвигая в улыбке усы. — Как бы не пришлось самой жить на улице.

— Ха-ха! Похоже!

Анна Михайловна знала, что она заработала в колхозе немало. По ночам не раз принималась подсчитывать... Но то, что увидела она сейчас, превзошло все ее самые смелые расчеты.

Немигающими, точно застывшими глазами уставилась Анна Михайловна на ближнюю подводу. Верхний мешок был неполный и худой, в дыру проглядывала мятая россыпь пшеницы. Ей показалось — пшеница сейчас вывалится в грязь. Она шагнула к телеге и хотела снять прохудившийся мешок. Но у телеги раньше ее отсутился Ленька, он взвалил мешок на спину и пошатнулся под этой тяжестью.

— Надорвешься... пусти... я сама... — прошептала мать, отнимая мешок.

— Не замай!.. говорят тебе... Два таких стащу, — гордо ответил Ленька, медленно двигаясь к крыльцу. Придерживая мешок, мать семенила рядом.

Так, вместе, они отнесли пшеницу в сени. Анна Михайловна указала мужикам, куда класть остальные мешки, вернулась на улицу. Здесь она столкнулась лицом к лицу с Николаем Семеновым. И тотчас же в

памяти ее встало весеннее утро, она увидела брошенное на землю лукошко с красным кушаком, услышала свой гневный, сдавленный хрип: «Не буду! Земля не принимает... Голодными нас оставите». «Неужели это я говорила? — подумала она, покраснев. — Да не может быть!» Но в строгих, как ей показалось, глазах председателя она прочла, что это было именно так, — и, низко опустив голову, ждала укоряющих слов. Она понимала, что заслужила их, как бы они позорны ни были. Сейчас все колхозники будут знать, какая она старая набитая дура.

Но жесткие пальцы Семенова отыскивали ее ладонь, крепко сжали, и она услышала совсем другое:

— Поздравляю, Михайловна, как лучшую ударницу... Спасибо тебе от колхоза за честный труд.

Она подняла голову, горячо и удивленно взглянула на Семенова, хотела что-то сказать и не могла. Судорога сдавила ей горло. Анна Михайловна махнула рукой и заплакала.

Ей было немножко стыдно, что она, старуха, плачет, как дитя. Но бабы сочувственно засморкались в платки, и главное — слезы были сладкие, каких она давно не знала, и она не скрывала их.

— Ну, завела патефон наша Михайловна... Терпеть не могу, — сказал Мишка, отворачиваясь и пронзительно свистя.

— Пошли на реку, — угрюмо предложил Ленька.

— В самом деле, пойдем на реку... Нам здесь больше делать нечего, — согласился Мишка.

— Качать, качать! — кричали мужики и бабы и подняли на руки смущенную, отбивающуюся Анну Михайловну.

Потом качали Елисеева, Дарью Семенову, Никола и других хороших людей.

— Прежде так питерщиков качали, — рассказывал Ваня Яблочков парням и девушкам, прислонясь к телеге и неторопливо скручивая цигарку. — Отвезут какого ни взят сопляка в город, а он, стервец, дит через пять, глядишь, и прикатит с бубенцами на побывку или жениться... молодец молодцом. Мужики и бабы тут как тут. Качать его, величать... Кто у нас умен,

кто у нас разумен? Иван Степаныч, слышь, умен, свет-князь наш разумен...» Ну там: «Розан мой, розан, виноград зеленый...» — и всякое такое. А парень, стало быть, за честь благодарит, кошелек вынимает. Пожалуйте-с! На ведро вина отвалит и глазом не моргнет. Богач! На закуску — охобо... Пир... дым коромыслом!

— Неужели, дядя Ваня, и ты на тройке из Питера приезжал? — спросил Костя Шаров, подмигивая девочкам.

— А как же? Обязательно, — небрежно ответил Яблоков, покуривая и сплевывая. Он важно и независимо оглядел молодежь, оставил ногу в сером разехавшемся валенке, сонные глаза его лукаво блеснули. — Приедешь эдак на тройке чорт чортом, — живо сказал он, усмехаясь, — шляпа соломенная, крахмале во всю грудь, трость с золотым набалдашником... все как положится. Первым делом ребятне — орехов да конфет... горстями прямо одеваешь, не жалко. Ямщик сундуки в избу таскает. Матка коровы ревет от радости... А ты стоишь барином, тросточку в руках держишь да папироску жуешь... Ну, сбежится народ глядеть, все село сбежится. И пошло, как по-писаному...

— А говорили — ты, дядя Ваня, любил из Питера... пещеркам ходить, правда? — вкрадчиво спросил Костя.

Девки прыснули смехом.

— Вранье, — пробурчал Яблоков, сразу становясь сонным и вялым.

— Ну? И про баню — вранье... что тебя никто мыться не пускал?

— Это почему же? — Ваня закашлялся табаком и повернул боком от телеги прочь.

— Да, говорят, насекомых на тебе было видимо-невидимо...

— Питерских!

— Такая вошь, что бросало в дрожь! — хохотали парни, загораживая дорогу Яблокову.

Мохматый и грязный, он топал своими валенками и лениво отругивался.

Выручил Яблокова Савелий Федорович. Он сердито потолкал парней и девочек.

— Нашли над кем зубы скалить, комсомолы сознательные! Постарше вас, можно и помолчать.

— Прикажете к вам в молчуны записаться? — насмешливо поклонившись, спросил Костя. — Ты, дядя Савелий, шуток не стал понимать.

— Али тоже... по тройкам соскучился? — зло повернула словечко Катерина.

Гущин хмуро отмолчался, устало, по-стариковски волоча ноги, побрел было вслед за Яблоковым, потом обернулся:

— По тройкам? Фу-у, старь какая!.. Автомобиля душа просит. Авось на свадьбу на машине прикачу... коли позовешь.

— Дождись, чорт косой... позову я тебя на овальбу, — тихо отозвалась Катерина.

Улучив минуту, Анна Михайловна тронула Семенова за рукав, отвела в сторону.

— Коля, забудь то самое... весной. Сделай милость, забудь!

— О чем ты, Михайловна? — удивился Семенов. — Я ничего не помню.

Но по смеющимся светлым глазам было видно, что он помнил.

— Ну, спасибо, Коля... от души!

— Да хватит об этом... Скажи лучше, как ты богатством решила распорядиться?

Не дожидаясь ответа, он задумчиво обошел вокруг избы. Кривобокая, почерневшая, она вращала в землю крохотными оконцами. Тонкая березка качалась на крыше и гнилой соломе. Под карнизом свисали зеленые сосули ползучего мха.

Накрапывал дождь. Непокрытая голова председателя смокла и потемнела. Он достал из кармана пиджака мятый картуз. Потом, чуть приподняв руки, сорвал с карниза моховую сосуно, ткнул плечом в трухлявый угол избы и негромко, но так, что все слышали, сказал:

— Уронил... а не то я сам уроню.

— Да уж, видно, к тому дело идет... Придется ропать, — согласилась Анна Михайловна.

Вечером, подоив корову и накормив ребят, она ушла из дому. Дождь перестал, но тучи не расходились и темнело быстро. Лиловые теплые сумерки мягко кутали избы, саран, овинны. От ируда вразвалку пробирались на ночлег гуси. Они не уступили Анне Михайловне дороги и гогочущей белой рекой медленно проплыли мимо нее.

Подождав, она прошла на площадь. Палисада под липами не оказалось. Железная ограда окружала могилу. И вместо дубового креста за оградой поднялся белый остроконечный камень.

Это ее удивило. «И не сказал...» — подумала она про Семеновна.

Анна Михайловна прошла за ограду и потрогала мокрый гладкий камень. Ладонь ее нащупала выпуклую шишку. Она выступала, как метина зажившей, но незабываемой раны.

Внизу, под памятником, словно пышная лесная кочка, буйно зеленела озимью могила. «И когда успели?» — подсадохнула Анна Михайловна. Все-таки она достала из-за плеча платок, зубами развязала тугий узел. Собрала в горсть шишечку и дрогнувшей рукой посыпала зернами озимь.

«Пташки склюют... помянут».

Долго и бездумно сидела она на лавочке. Было странно, как падали с лип на землю редкие капли.

Когда совсем стемнело, Анна Михайловна поднялась и молча низко поклонилась могиле, всему, что было для нее дорого.

XVIII

Еще года за три до колхоза, осенью, Анна Михайловна посадила около своей избы тополь. Петр Елисеев, должно быть, подчищая в палисаде разросшиеся липы и тополи, навалил целую кучу сучьев на дорогу. Анна Михайловна шла из капустника мимо палисада. Один сук, валявшийся в грязи, ей чем-то приглянулся.

Голубоватый, толщиной в руку, он был прямой, как свеча. Она подняла сук, голый конец его обтесала топором, как вострый колья, и вбила в землю около огорода.

«Авось отрастет, — подумала она, — огурцам тени будет». И тут же, в хлопотах по хозяйству, забыла про тополь.

Никто тополь не поливал, никто за ним не ухаживал. Стоял тополь осень и зиму серым омертвелым колом. И даже весной тонкие рогатки прошлогодних отростышей не подавали признаков жизни. Ветер качал мертвый ствол, сучья со звоном ломались, падая на луговину.

«Подсохло... не отросло... — решила Анна Михайловна, заметив однажды тополь, и пожалела свой попусту потраченный труд. — Убрать, пока не иструхлявился вовсе, — подумала она, — в изгородь пойдет или на дрова — все польза».

Анна Михайловна не успела этого тотчас сделать и только в мае, когда кругом все зазеленело, она, идя с гумна с поскребышами сена в плетяхе, снова вспомнила о тополе. Отнесла на двор корзину, взяла топор и опять пожалела напрасные свои труды.

Попробовала выдернуть тополь руками — он не поддавался. Подняв топор, Анна Михайловна ухватилась свободной рукой за колючий отростыш, чтобы удобно было рубить. Вдруг сучок вырвался из ее руки и гибким прутком больно хлестнул по лицу.

— Ишь ты! — удивленно проговорила Анна Михайловна и, потирая щеку, отнесла топор в сени.

Несколько дней она наблюдала за тополем, видела, как слезала с деревца, точно чешуя, мертвая кора и на матово-голубых сучках появились почки; вначале такие же, как сучья, голубые, сухие, потом они стали бурыми и липкими. На знакомом колючем отростыше, который ударил Анну Михайловну по лицу, она насчитала шестнадцать почек. Она сконюснула одну и, лачкая пальцы, раздавила. Из душистой шелухи вывалился желто-розовый сморщенный листочек.

Почью прошел дождь. Лежа на печи, Анна Михайловна слышала, как стучались в окно дождевые капли.

А утром тополь снял яркозелеными иголками, на луговине валялась бурая, как от орехов, скорлупа. Горячее солнце сушило мокрую, словно крашеную поднебесным лаком, кору тополя.

Анна Михайловна полюбовалась на тополь и снова про него забыла.

А тополь рос себе да рос на свободе. Осенью он цвел багрянцем и позолотой, быстро роняя тяжелый лист. Зимой он то жалостно, то непокорно гнулся на ветру, все глубже и глубже уходя в снег; а весной одевался густой зеленью и шумел, пугая воробьев в огороде. С каждым годом тополь становился выше и кудрявее.

Обдумывая постройку нового дома и решив не торопиться скопить денег побольше, чтобы не стыдно было людей в гости звать, Анна Михайловна как-то обходила свою старую одворину. Дом и двор, если их рубить просторно, по всему видать, не влезали в одворину — мешал огород. А занимать унавоженные, копаные десятками лет и перекопанные гряды было жидко.

«Такую загороду на новом месте не скоро разведешь. Огурцам и луку здесь выгодно... Опять же тополь придется рубить», — недовольно думала Анна Михайловна, подходя к огороду. Она взглянула на тополь и не узнала его.

Молодо и могуче вырослся тополь. Курчавая вершина его касалась крыши, и еучья раскинулись вокруг на добрую сажень. Непонятно лепетала глянцевиная листва.

— Вот так выгнулся... точно парень к свадьбе! — подумала изумленная Анна Михайловна. — Поди ж ты! А я и не заметила.

Усмехаясь, она обошла тополь кругом. Запрокинув голову, она дала его веселую тонкую вершину, попробовала пальцами обеих рук обхватить дерево и не могла.

— Ну, уж такой тополище я рубить не дам. И загороду не трону.. Пускай одворину прибавляют, — решительно сказала она.

Как не заметила Анна Михайловна роста тополя, точно так же не заметила она, как выросли ее сыновья. Не заметила она и как подкралась к ней старость.

Волосы у Анны Михайловны побелели, она высохла, стала еще меньше, на лице прибавилось морщин. А ей казалось, что волосы у нее сроду такие, чуть с сединой, и толстой она никогда не была, и без морщин не жила. К тому же глаза у нее были попрежнему черные, горячие, вся она была живая, торопливая, легкая на ногу, как в молодости.

— Какие мои годы, — откровенничала она иногда с Дарьей Семеновой в веселую минуту, — в мои годы еще ребят таскают.

Сыновья для нее были попрежнему малыми детьми, за которыми нужен глаз да глаз. И хотя они учились в семилетке, в каникулы косили Подречный дол, почти не отставая от мужиков, хотя голоса у сыновей ломались, грубели, особенно у Алексея, а плечи угловато раздвинулись, она, мать, не меняла своего взгляда и не чувствовала перемены.

А сыновья, мальчишки, уже стыдились париться при ней в избе, в печи, и, когда зимой колхоз отстроил баню, отказались вместе с матерью идти мыться. Они пошли одни, и она видела, как ребята, по давнишнему обычаю парней, пагитом выбегали из бани, розовые, и крапе березовых листьев, валялись в снегу, ухали и стремглав летели обратно париться.

— Долго ли простудиться, — ворчала мать, когда сыновья вернулись из бани — Насмотрелись у больших и туда же.. в снег, обезьяны. Задохните только у меня, я вас за ноги и на улицу.

Под горячую руку она бралась, как и прежде, за веревку, награждала сыновей оплеухами и подзатыльниками, но сыновья не бежали под кровать или на голбец, они покорно принимали матернюю учение и не обижались, точно им было и не больно. Вечерами, когда они гуляли по гумнам и задворкам около парней и девушек или сидели в избе читали и заглядывали, когда ей выйти на улицу, разыскать их и приказывать:

«Марш домой, спать пора», — ребята послушно, как телята, шли за ней. а если Михаил и ворчал иногда, так больше для фасона.

— Ты, Михайловна, хоть бы орала потише, — говорил он, переняв у Семенова привычку звать ее по отчеству. — Чай, мы не глухие, слышим.

— Знаю я вас, — отвечала мать. — Не скажи, так вы до свету проищаетесь.

— Ну и что ж?

— Ничего. Рано по беседам тереться. Вытри-ка сперва нос

— Да он у меня сухой, посмотри, — дурачился Михаил. — Узнаешь знакомого?

Смеясь, Анна Михайловна щелкала его по носу.

ХІХ

После ужина, перед сном, Михаил любил «чудить». Кудрявый, быстregoлазый и насмешливый, он представлял, как мать разговаривает с бабами у колодца, как молится, истово прижимая ко лбу сложенные щепотью пальцы.

Вот уж и врешь, пересмешник, — сердилась Анна Михайловна. — На вас, безбожников, глядя, и молиться-то разучилась.

Но это была неправда. Она вспоминала о боге часто, по большим праздникам ходила в церковь, хотя перестала петь и, сядя за стол, иногда забывала перекреститься. Но, как прежде, молилась на ночь, тихо читая положенные по церковному уставу молитвы. Босая, на холодном полу, она подолгу стояла перед иконой, крестясь, шевелила губами, повторяя заученные с детства, непонятные, но как бы и нужные слова.

Сейчас, глядя на баловника Михаила, мать думала: хорошо это или худо, что сыновья растут без бога? Если послушать сыновей — выходило даже очень хорошо. Но ведь они несмышленики. Что разумеют? Нет, без бога Анне Михайловне было бы как-то пусто.

Михаил представлял в лицах последнее колхозное собрание: Николая Семенова с его неизменным «сегодняшним днем», тараторку-балаболку Строчиху, горячего, вечно недовольного бригадира Петра Елисеева, постоянно сонного Ваню Яблокова.

Стоит Валя у ворот,
Широко разинув рот,
И никто не разберет —
Где ворота, а где рот,—

пел Михаил сочиненную комсомольцами частушку, и мать от души смеялась, забывая все.

— Воистину, — говорила она, отдышавшись. — Дай ему волю в колхозе, он бы всех нас по миру пустил... А Петра не трожь. Петр Васильич справедливый человек.. Ну, сердце горячее. Так ведь, поди, и у тебя не камень.

Преобразившись, Михаил, скосив глаза, угрюмо пробирался по избе, держась за стену. Шаркая подошвами и тяжело переставляя негнувшиеся в коленях ноги, он выпячивал грудь колесом и задира л голову.

— Богородица, я не пью... я выпиваю... р-разница! — говорил он, останавливаясь перед матерью. — Что есть человек? Напоз Удд-обряет для других землю... Не хочу. Выпиваю — потому ура-зу-мел смысл... Коля Семенов м-меня в прорубь тол... кает. Иду, иду!

— Будет тебе, — отмахивалась Анна Михайловна, начиная снова сердиться. — Никогда мне Савелий Федорыч таких слов не сказывал. Жена при смерти — поневоле запьешь... с горя.

— Внимание! Алексей свет Алексеевич на уроке русского языка... отвечает на «отлично», — продолжал баловаться Михаил, вертляво подскакивая к брату, молчаливо уткнувшемуся в книжку. — Порадуйся на уынка, Михайловна!

— Брось болтать! — обрывал Алексей, захлопывая книгу и глядя исподлобья. — Пролетишь завтра на геометрии.

Михаил урчал и сопел, в точности изображая повадки брата. Дар передразнивать у него был необык-

новенный. Во всем он видел смешное, слова не мог сказать без шутки.

«Легкая у Мишки будет жизнь. Так и пройдет ее со смешком да шуточками, — думала мать. — Да и то сказать, время ноне такое... веселое. Смеху-то и песен в деревне приметно больше стало».

В школе Михаилу все давалось легко, он редко готовил уроки, надеясь на свою память и острый язык, и поэтому учился плохо. Алексею, напротив, все давалось с трудом. Лобастый, угрюмый, он потел и сопел за учебниками, но зато не было случая, чтобы учителя на него жаловались. Он, как в детстве, был молчалив, застенчив и мешковат. Любил книги, газеты и, когда мать просила, охотно читал ей целыми вечерами.

В другое время ему ничего не стоило завалиться с обеда спать и до утра не поднять головы с подушки.

Очень нравилось Алексею ладить что-нибудь по дому: то он чинил трехногую табуретку, то прибавал полочку на кухне или тесал из березового полена топорище. Однажды он загорелся страстью построить радиоприемник. Битый месяц точил по вечерам, стучал, пилил, выдыхая и посадивая. Он терпеливо сносил насмешки брата, говорившего, что заводы быстрее строят, и добился-таки своего. Деревянный неказистый ящик с медными кнопками и затейливой вершушкой был торжественно установлен на комод, рядом с зеркалом. Рядобравшись, Анна Михайловна дала немного денег на антенну и пару наушников, и в избе стало пищать, пипирывать и шашептывать, хоть не было громко, не так, как в читальне, но с некоторым усилением можно было кое-что разобрать, к удовольствию матери и еще большему удовольствию самого изобретателя.

Но, как ни любила мать Алексея, она видела, что он некрасив, уродлив, тугодум, что за Михаилом, который всем в колхозе нравился, ему не угнаться. Может быть, поэтому она благоволила к Алексею, всем своим характером и чертами повторявшему отца, частенько пекла ему наособицу лепешку-другую с творогом.

Огорчало ее, что он боялся ласки и, кажется, совсем не любил ее. матери. Все, что она делала для него, сын принимал молча, равнодушно. Михаил — тот хоть кипятился, ругался, даже ревел от огорчения, если его лепешка оказывалась не так румяниста, как у брата, или костюм ему был куплен в кооперации похуже. Алексею же было все равно: лежали перед ним залитые сметаной сочни с творогом или ломти черствого хлеба, был ли переплачен лишний червонец или не переплачен за хромовые сапоги с модными высокими каблуками.

— Истукан... хоть бы поблагодарил мать, одно слово ласковое сказал! — кричала, рассердясь, Анна Михайловна.

Посапывая и диконато глядя голубыми глазами на мать, Алексей усмехался:

— Ну... спасибо.

— Тыфу! Точно клещами это «спасибо» из тебя тащишь. Да на что мне оно, коли не от сердца, чурбан? Вот погоди — помрет мать, спохватишься, да поздно будет.

— Такие молоденькие не умирают, — отвечал за брата Михаил и, подскочив, обнимал мать. — Па-азвольте, мадам, пригласить вас на тур вальса... Музыка, вальс ба-астон... Пра-шу!

Мать вырывалась и, тяжело дыша, оправляя волосы, ворчала:

— Бесстыдник, в мои ли годы плясать... Марш на колодец за водой!

*

Зимой, простудившись, Анна Михайловна заболела. Превозмогая недуг, кашляя, два дня она бродила, кое-как управляясь по хозяйству, потом слегла. Ночью она бредила, звала мужа. К утру жар спал, она попросила мороженой клюквы и слабым, испепеленным голосом приказала позвать Дарью Семенову, чтобы подоить корову и истонить щей.

— Я сам подою... все сделаю, — ответил Алексей, не глядя на мать.

Михаил сбегал к председателю колхоза, и тот погнал нарочного в город за врачом. Вернувшись, Михаил растерянно побродил возле постели матери, попробовал вымыть посуду, разбил тарелку, мать побиранила его, и он, обидевшись, ушел в школу.

— Иди и ты, — приказала Анна Михайловна Алексею.

— Не пойду.

— Ой, выпорю, Лешка! Не заставляй вставать, — пригрозила она.

— Спи знай, — грубовато ответил сын.

Анна Михайловна слышала из спальни, как он пошел во двор донить корову, как потом долго звенел подойником, неумело разливая молоко по кринкам, как затопил печь, неловко застучал кочергой и тихонько выругался, должно быть опрокинув горшок с водой.

Мать задремала и, кажется, опять бредила и спала долго, потому что, когда очнулась, в избе было сумеречно и она не вдруг разглядела сына. Алексей, горбясь, сидел у нее в ногах, по щекам его текли слезы. Не замечая, что мать проснулась, он теребил одеяло, разорвал его кромку и, выщипывая вату, совсем как маленький, шептал:

— Не умирай... мама... не умирай!

— Дурачок, — ласково сказала она. — Испугался?

Алексей вскочил и отошел к окну.

— И не думал, — сказал он, не поворачивая головы.

— А что шептал?..

— Пришлось тебе, — глухо сказал он, повернувшись, выпрямился, заслоняя окно, и сердито, как бы пойманный в чем-то нехорошем, зазорном, закричал: — Да спи, пожалуйста! Надоела ты мне... вот уроки из-за тебя в школе пропустил.

Кутаясь в одеяло, Анна Михайловна беззвучно смеялась.

Вскоре привезли врача. Он был седенький, маленький, и Анна Михайловна сразу его узнала.

— А-а... беглянка! — тоненько закричал он еще с порога. — Что, опять в машину угодила?

— Никак хуже, — слабо сказала Анна Михайловна. — Внутри моя машина испортилась.

— Замолола, замолола! — фыркнул старик, сбрасывая тулуп и потирая руки. — Хоть бы чаем угостила, чем страсти рассказывать... Самовар, старуха, живо!

Он нашел у нее воспаление легких, насмешил и измучил, ставя банки, напился чаю, охотно отведая молока и согласился переночевать. Ему постелили на двух слвинутых лавках, но он попросился на печь, развеселив этим Алексея; долго и пустяшно болтал с Михаилом, научил его, между прочим, свистеть новую песню «Не спи, вставай, кудрявая» и потом так нахрапывал до десятого часа, что Анне Михайловне показалось — от одного этого храпа ей сразу полегчало. Уезжая, врач многословно и с удовольствием растолковал, что пить, что есть, как принимать лекарство, и строго-настрого приказал больной лежать в постели неделю. На прощанье он промурлыкал Михаилу арию Ленского, раскритиковал в пух и прах Алексеев радиоприемник, выпил без малого полторы кринки молока и чуть не обидел Анну Михайловну, вздумав вынуть из кармана старинное портмоне, чтобы расплатиться.

Анна Михайловна продежала четыре дня, ее одолели безделье и скука, и она, не слушая сыновей, пошла греметь по избе горшками и кринками с такой яростью, так накинулась на заглянувшего проведать ее Семенова, сердито требуя работы, что трудно было поверить, глядя на нее, будто она совсем недавно лежала при смерти. Болезнь точно скинула с плеч Анны Михайловны десятка полтора лет. А может, тому была и другая причина, кто знает.

ХХ

Первого мая, торопясь на демонстрацию, Алексей, одеваясь, оторвал пуговицу на вороте праздничной рубашки. Он попросил поскорее принести пуговицу. Брат нетерпеливо насвистывал под окнами, и не было

сомнения: задержись Алексей еще на пять минут в избе — Михаил уйдет на площадь один.

Понимая это не хуже Алексея, сама давным-давно одетая в лучшее шерстяное платье, мать живо размыскала иголку и подошла к сыну, стоявшему перед зеркалом. Она потянулась к вороту рубахи, стала на цыпочки и не могла достать ворота.

Статный, высокий, словно тополь, стоял перед ней сын. Непокорный русский вихор свисал ему на лоб.

Анна Михайловна прижала руки к груди. Не мигая, смотрела она горячими, влажными глазами на сына и не узнавала его.

— Да сядь ты, долговязый. Как же я тебе припью? — проговорила она.

Сын наклонился, и она неловко отогнула ворот рубахи.

Руки у нее тряслись, иголка не попадала в просторное ушко пуговицы.

— Скоро ли? — сдержанно спросил Алексей.

— Сейчас

Пуговица была прищита, а мать все не отпускала порога рубашки и, не отрываясь, смотрела то на мягкий пушок над верхней губой сына, то на крутую, белую, как кипень, шею, на которой билась голубая жилка.

Потом она уронила иголку, оттолкнула сына и вздохнула.

— Господи, как время-то летит...

— Отшестнадцатый час, — ответил Алексей, взглянув с порога на часы.

— Да не об этом я... — качнув головой, проговорила Анна Михайловна.

И весь день она не находила себе места. На митинге, у могилы, она подошла было вплотную к трибуне и, не дослушав речи Николая Семенова, ушла к бабам, невпопад отвечала им, часто озираясь вокруг, словно чего-то искала.

Ярко светило солнце. Шумели по канавам ручьи. Звонко распевали скворцы на липах. Пламенели фла-

ги и знамена. От солнца, кумача, светлых луж под ногами, от нарядной одежды рябило в глазах. От речей, хлопков, песен стучало и замирало сердце.

Тяжело дыша и тревожно щурясь, Анна Михайловна бродила по площади. Она лишь тогда немного успокоилась, когда заметила среди молодежи русский вихор Алексея и услышала громкий смех, — изобразившись на ограду, Михаил, потешая народ, дирижировал шумовым оркестром девчонок и мальчишек.

Сразу после митинга состоялся традиционный выезд в поле. Не переодеваясь, празднично, народ двинулся с песнями и флагами за околицу. Заливисто ржали откормленные за зиму кони, тарахтели телеги, кричали ребята. А всгречь народу, песням, телегам и лошадям из-за овинов выползли тракторы.

До самого леса, окуренного зеленоватым тонким дымком, лежало поднятое осенью под зябь поле, как одна благодатная полоса. В низинах еще стояла вода, затопив темные, в колючках прошлогоднего жнивья, концы загонов, а на буграх уже было не вязко, почти сухо, и земля, просыхая, рыжела и осыпалась под ногами. Все пробовали нагретую влажную землю, мяти ее в ладонях и говорили, что самая пора пахать яровые. Трактористы, заглушив моторы, лазали по низинам, утопая по колено в воде и грязи, и ругались на чем свет стоит.

— Наша ме-те-эс порядилась у вас землю пахать, а не воду! — кричали они сердито.

— Где вода? Какая вода? Курица перейдет и хвоста не обмочит, — горячился колхозный бригадир.

— Трактор тебе, дядя, не курица... завязнет, — частаивали трактористы. — Ну-ка сунься сам, выкупаешься по самое горлышко.

— А вы чего хотите? По сухонькому, как по дорожке, прокатиться?.. Ну и езжайте обратно, в свою ме-те-эс!

— Дя у нас наряд... Давай справку, что пахать нельзя, повернем оглобли, пожалуйста.

— Я вам дам справку! Я вам поверю оглобли, так, что закачаетесь! — страшая Елисея, закусила она ус.

Помирил Семенов, разрешив пахать выборочно, где посуше.

— Сырые места на лошадях поднимем,— сказал он.

Анна Михайловна суетилась больше всех. Приказала трактористам начинать с ее участка, благо на нем воды не было, поругалась из-за этого с Петром Елисеевым и, настояв на своем, до усталости бродила по загону, то и дело приседая и меряя глубину вспашки. А когда участок вспахали, и он лежал перед ней, точно блюдо с ровно нарезанными ломтями свежесмещенного хлеба и ей больше нечего было делать, она пошла за тракторами на соседний загон.

— Выпила для праздничка, Михайловна? — спросил ее Семенов, когда они медленно возвращались с поля.

В кожанке нараспашку, в новых охотничьих, выше колен, сапогах, бритый и покрасневшийся, он шел, по обыкновению, с непокрытыми, запутанными ветром космами.

— В такой день не грех и выпить, — сказала Анна Михайловна. — Да я и без вина пьяна, — добавила она.

— Что так?

— И сама не знаю, — рассмеялась Анна Михайловна, вбирая в себя благодатное солнце, далекую невинную песню и дыхание мокрой, теплой земли.

— Споем, Коля? — сказала Анна Михайловна.

— Можно. Запевай, я подтяну козелком...

Анна Михайловна помедлила чуток, остановилась. У нее же, и придорожной канаве, чуть слышно журчал ручей. Она сторожко прислушалась к нему и, ощущая, как ответно журчит что-то в груди, подступает к горлу и сладко давит, запела тихо и протяжно, еле переступая ослабевшими ногами:

У меня, у молоды, четыре кручины,
Да пятое горе, что нет его боле...

— Вона! — удивился Семенов. — Я такой песни не помню.

— А ты послушай. Хорошая песня... Я в молодости ее пела.

И она продолжала слабым, дребезжащим голосом петь грустно и проникновенно:

Первая кручина — нет ни дров, ни лучины...
Другая кручина — нет ни хлеба, ни соли,
Третья кручина — молода овдовела,
Четвертая кручина — малых детушек много,
А пятое горе — нет хозяина в доме.

Песня совсем не передавала чувств, которыми была охвачена Анна Михайловна, напротив, она противоречила им, но песня напоминала что-то забытое-перезабываемое, столь далекое и в то же время знакомое, вдруг нахлынувшее с такой силой, что нельзя было не петь.

Я посею горе во чистом поле,
Ты изойди, мое горе, черной чернобылью,
Черной чернобылью, горькою полынью...—

почти шопотом закончила Анна Михайловна, и они долго шли молча, задумчиво шлепая по лужам. Потом Семенов закурил папиросу.

— И-да-а... — протянул он. — Песня старая, а щиплет... — Он на ходу наклонился, мальчишески подмигнул и, облавая запахом табака и водки, заговорщицки зашептал: — Вишневка у меня припасена... Понимаешь? Запашистая. И опять же пироги Дарье удались. С одного взгляда дрожь берет... Заглянем? И песенка поюем.

Анна Михайловна зашла к Семеновым, выпила наливки, отведала пирога с мясом и яйцами, который действительно оказался очень хорош, и увела хозяев к себе в гости, запотчевала и долго не отпускала, точно боясь одиночества.

Когда же она все-таки осталась в избе одна, ее вновь охватило беспокойство. Был тот тихий предсмертный час, когда из углов наступает серая мгла, каждый шорох беспричинно тревожит сердце, спать не хочется, а зажигать огонь еще рано. Анна Михайловна накинула на плечи вязаную шаль и вышла на улицу искать сыновей, чтобы звать, обещать.

Вечерело.

На западе, в груди белых облаков, точно на пуховых подушках, укладывалось солнце, и полнеба еще горело пылким, а на востоке уже дрожала, как слеза, первая звезда. Отчетливо выступал на вечернем небе зелеными игольчатыми ветвями тополь, и легкая, прозрачная тень его, переломленная через изгородь, падала на гряды.

Становилось свежо. Кричали грачи на березах, угнездываясь на ночь. Из домов, мимо которых проходила Анна Михайловна, приглушенно доносились песни и гомон пировавших людей. На пустынной площади, у могилы, ребяташки забрались на трибуну и, подражая взрослым, болтали что-то и сами себе хлопали в ладоши. Со светелки избы-читальни была выставлена черная воронка репродуктора. Невидимый человек рассказывал, что делается на улицах Москвы. Анна Михайловна немощко постояла и послушала.

Где-то на задворках с ласковой грустью мурлыкала гармонь. Анна Михайловна повернула на нее, но гармонь смолкла, и когда Анна Михайловна вышла на околицу, там никого не было.

«Точно в прятки с матерью играют... Вот не дам есть до утра, будете у меня во-время обедать приходиться», — мысленно пригрозила она сыновьям.

Она устала от бесплодных поисков, вернулась к избе-читальне и присела на крыльце. Тут из переулка вырвался смех. Анна Михайловна обернулась и не поверила глазам своим.

Впереди оравы парней и девушек шли ее сыновья. У Михаила на ремне висела чья-то гармонь, он придерживал ее локтем, а другой рукой крепко прижимал к себе девушку. Чуть поотстав от брата, шел Алексей. Длинная рука его лежала на девичьем плече. Потом шли еще парни, девушки, и все парами.

И мать не посмела окликнуть сыновей.

Прижавшись в простенок крыльца, она проводила их ревнивыми и гордыми глазами.

«Паршивцы... Поди, уж целуются с девчонками...

ихи! — подумала она, усмехаясь. — С Минькой-
должно, Настюшка Семенова идет... ровная. А у
яки какая-то долговязая. Да кто же это?» И по-
шла, что не успела как следует разглядеть в лицо
иных зазноб.

Возвращаясь домой через площадь, она наказала
тишкам покликать сыновей.

*

Этот поздний праздничный обед Анна Михай-
ловна была молчаливой, притихшей. Перед лапшой она
и сыновьям по стопочке, подумала — и перед
ним издала по второй.

Без тронцы дом не строится, — вкрадчиво напо-
минала Михаил, помахивая пустой стопкой.

Ничего, построим и без тронцы.. Малы еще
то лапаты, — сурово отрезала мать.

Домочадца, посмотрела на сыновей, да и распла-
лась.

Исти не могу, когда ревут... — проворчал Ми-
хаил, вылезая из-за стола. — Да перестань, мамка же!
Алексей рылся в шкафу, ища домашнюю аптечку.

Голова у тебя не болит?.. Может, аспирины
— смущенно спрашивал он мать.

Валериановое корень, — учело! — подсказал Ми-
хаил, сморщившись. — Да не вой, мамка, хоть для
дочки.

Ничего у меня не болит, — отвечала Анна Ми-
хайловна. — А плакать мне не закажете... я, может,
то и плачу, что пра... праздник у меня сегодня.
Дети стояли перед ней сконфуженные, не зная,
сделать.

Идите, так я, пройдет, — она махнула им ру-
кавом фартуком. — Да идите же, говорят вам!
Дети стояли перед ней сконфуженные, не зная,
как им вояр проведать корову, замесила тесто
вотри, развешивать и, вышива лампу на стену, по-
весил картину на портрет Сталина и, как
бы, отомкнула о муже.

«Не довелось Леше порадоваться вместе со мной на деток»,— подумала она в тихой печали и опять взглянула на знакомый портрет, украшенный красными лентами и, как живыми, сохраненными от прошлого года бессмертниками.

Просто и понимающе отвечал Сталин на горячий взгляд Анны Михайловны.

И она стала разговаривать со Сталиным:

— Ведь вырастила... видишь? Гулять пошли. Сыты, обуты и одеты. Чу, гармонь-то как наигрывает... Симпатий завели, подумай ка!.. Кабы не советская власть да не колхозы, пришлось бы мне, горемыке, по миру идти, милостыньку просить. Ну, спасибо... Дом надо поскорей строить, не заметишь, как и женить время подойдет... Довелось бы встретиться с тобой, на свадьбу пригласила... Может, доживу, внучат потешу. А? Как думаешь?..



часть
ТРЕТЬЯ





С лавное выдалось лето в тот год, когда Алексей и Михаил окончили семилетку и стали работать в колхозе.

Еще не просох по оврагам и ямам рыжий ил, принесенный полной водой, еще распевали утром скворцы на тополе и молодой лист его был зелено-чист и мягок, только что зажглись радужным многоцветьем травы на волжском лугу, еще хоронились под кустами, в росистых местах, белые бубенчики ландышей и держался их тонкий, чуть уловимый аромат, как жаркое марево задрожало над полями, перелесками, запахло дурчаником, гарью и пришло красное лето.

Палило солнце, и редкий день проходил без гроз. Но то были короткие, светлые грозы. Они налетали ниоткуда, шумели и гремели теплым ливнем и исчезали, словно таяли.

И невиданной стеной, сизой, почти вороненой, полились хлеба. Трава была по пояс и, отцветая, все еще росла, тяжелая, сочно зеленая. Лен вытянулся такой, что все боялись, как бы он не полег. В лесу появилась пропасть грибов, ягод. Ребятишки шутя набирали по две и по три сотни голстокопренных белых «коропок», шапками и подолами таскали крупную ушатную землянику, синий, рано созревший голубобель.

— Такого лета отродясь не помню, — говорила Анна Михайловна, и все соглашались с ней, что ничего подобного никогда не видавали.

Зерно наливалось прямо на глазах. По ночам, душным и темным, полыхали зарницы, словно кто-то мигал, приподнимая белесые тяжелые веки, и всматривался, как зреют хлеба. Они стояли неподвижно, туманно-белые, сонно склонив набухшие колосья. На рассвете набегал ветер, и хлеба, просыпаясь, шелестели, выгибали восковые стебли, пробуя выпрямиться, и снова нисли, роняя с грузных усатых колосьев капли росы.

Для Анны Михайловны этот удачливый год был особенно отраден потому, что бок о бок с нею работали в колхозе ее сыновья. Они уже не подсобляли, как прежде в каникулы, а по-настоящему, как взрослые, косили и убирали клевер, ни в чем не уступая мужикам, и Семенов завел для них отдельные трудовые книжки.

— Ну, вот и прибыло нашего полку, — тепло сказал он матери. — Дождалась, Михайловна, помощников.

Дождалась... слава богу, — она перекрестилась, принимая книжки, и бережно завернула их в платок.

Она отнесла книжки в избу, положила вместе со своей на божницу, за иконы, где хранилось самое дорогое — два пожелтевших огарка венчальных свечей с помятыми и пыльными бумажными цветами, свидетельства сыновей об окончании школы, мужнин епитимейный бархат, вышитый сюзетом красным шелком еще в детстве, два креста, принесенные с войны, бутылочка с крещенской водой и грамота, которой колхоз награждал Анну Михайловну за лен.

Любо было матери выйти с сыновьями в поле рано утром, по холодку, в горячую сенокосную пору. Еще с вечера сыновья наказывали матери будить их, как протрубит пастух. Но ей было жалко поднимать так рано ребят. Она доила корову, провожала ее до околицы, вернувшись, разливала молоко по кринкам, ставила одну, самую большую, на стол, осторожно доставала из «горки» два стакана и чашку, резала вче-

рашнюю подовую, с творогом, лепешку крупными ломтями. И только заслышав звонок бригадира, принеполивая себя и еще чуточку помедлив, будила сыновей.

Сонные, натыкаясь на табуретки, они одевались, нечможко, прилику ради, плескались у рукомойника и, вялые, позевывая, лезли неуклюже за стол, неохотно пили молоко, чуть дотрагиваясь до лепешки. Мать присаживалась на краешек лавки, мочила в чашке корки, сердито и ласково косясь на ребят. Сон бродил еще по их розоватым лицам, сковызал руки, заволакивал дремотой глаза. Алексей, посапывая, тер липучие веки кулаками, а Михаил, как в детстве, когда его будили рано, слюнил ресницы и все-таки клевал носом.

— Работнички... нечего сказать,— ворчала мать,— продрать глаза не можете.

— Я выспался,— сипло отвечал Михаил.— Это у меня что-то в глаз попало.

— Хоть раз правду скажи!

— Правду и говорю.

Нанившись молока, Алексей молча вставал из-за стола, шел во двор. Он брал с повети свою косу-литовку, оставшуюся после отца, прихватывал заодно косы брата и матери, изваливал на плечо и уходил первый. За ним торопился Михаил, засовывая на ходу в карман, по ребячьей привычке, недоеденный кусок ватрушки. Анна Михайловна доставала брусочницу, оселок, запирала избу и догоняла сыновей в поле.

За Волгой, окутанной молочно-голубым туманом, поднималось солнце. Огромное, красное, оно еще не жгло, а только ласкало и светило, заливая все ровным светом. И каждая росинка в этот добрый час сияла махоньким солнышком на сизых стеблях колосящейся пшеницы-зимовки, на придорожной метелке, испачканной дегтем, на разлапой густо-зеленой ботве отцветающего картофеля.

Слышно было, как кричал на корюх и хлопал крылом пастух на дальнем лесном пятаке. За рекой, на той стороне, кто-то запоздало отбивал косу, ставила тонко, прозрачно, как падающая вода.

Пожимаясь от свежести, пожевывая, сыновья, сугулясь, шли навстречу солнцу. Косые дымчатые тени падали от них на обочину дороги, к ногам матери. Мать замедляла шаги, чтобы не наступить на эти светлые качающиеся тени.

По дороге встречались девушки, и сон слетал с сыновей.

Степенно трогая кепки, ребята здоровались, сходились по пути к покосу с другими парнями, и у них начинался разговор, понятный им одним.

Анне Михайловне приятно было кланяться с девушками, с их матерями, отцами, слушать болтовню и смех молодежи, примечая, как зубоскалит Михаил с Настей Семеновой, хохотуньей, такой же маленькой, как и он, и всегда опрятно одетой, как молча переглядывается украдкой второй сын с Лизуткой Гущиной, и та, высокая, тонкая, покраснев, надвигает на глаза кумачовую косынку.

А когда подходили к клеверам, народ, торопясь, рассыпался по участку и патачиваемые косы пели жапонорками, Михаил подлетал к Петру Елисееву, дурнчась, брал под козырек.

— Товарищ командарм, бригада имени Анны Михайловны Стуковой на позиции,— докладывал он.— Прикажете начать наступление?

— Наступай,— одобрительно кивая, распоряжался Елисей, пробуя заскорузлым пальцем лезвие косы, точно саблю.— Да смотри, ног не обкоси.

— В атаку! За мно-ой!..— пронзительно кричал Михаил и, держа косу наперевес, как ружье, пригибаясь, бежал на край загона.

Алексей давно был там. Ребята спорили, кому заминировать первому.

— Да не все ли равно?— говорила им сердито мать.— Будет вам народ дивить!

— Нет, не все равно,— горячился Михаил.— Он меня всегда задерживает. Я быстрее кошу.

— По макушкам,— усмехнулся Алексей.

— Кто?

— Ты. Половину на корню оставляешь.

— Это у тебя под носом остается... Размахнешься в сажень, а скосишь вершок.

Алексей плечом отодвигал брата, плевал на ладони, ловчее перехватывая косы. Точно пробуя косу, он осторожно окашивал вокруг себя и потом, откинув наотмашь правую руку, не сгибаясь, делал первый свистящий полукруг. Клевер покорно ложился охапкой ему под ноги, осыпая росу с мохнатых сиреневых красных головок, а старинная коса с золотым полустертым клеймом, длинная и узкая, свистя, делала второй размашистый полукруг, третий...

— Логоняй... богатырь,— отрывисто кидал Алексей брату, и тот, ворча, шел следом по прокосу, поспешно и коротко таяя пяткой косы-хлопуши. Вал у него выходил жидкий, перовный, с непрокошенными краями.

— Не торопись... чище коси,— наставляла Анна Михайловна, идя последней и привычно, не сильно и не часто, но скоро махая косой.— Ровнее бери... не дергайся.

— Как бритвой брею.

— Оно и видно,— отзывался Алексей, оглядываясь.— Тебе бы этой бритвой лысых брить.

— Пятки береги!— кричал Михаил, нагоняя брата.

Умаявшись и попривыкнув, ребята косили спокойно и лучше. Даже у задорного Мишки ряды выходили ровные, крупные и почти без пропусков.

Останавливаясь точить косу, мать подолгу любовалась на сыновей.

«Господи, ничего мне больше не надо,— думалось ей.— Наглядеться бы на них досыта и умереть».

Горячо и благодарно окидывала она поля, отягощенные зеленью; облитые солнцем, они раскинулись привольно, млели и убегали под гору одной сплошной сквертией. Мать щурилась на блеснувшую из тумана серебряной подковой Волгу, на марено, начавшее струиться над головами. Прислушивалась к шороху и свисту кос, к говору народа, налетевшего на клевер, как пчелы. Опять оглядывалась на сыновей, на прохлывающие светлые вали, по которым ступали ее бокие ноги. Она смотрела на весь этот знакомый и та-

кой хороший мир, в котором жила, и не могла оторвать глаз от него.

— Михайловна, не отставай! — кричал сын.

Глубоко вздохнув, она наклонялась, чтобы прихватить горсть скошенной травы, обтереть косу, и, жадно вбирая хмельной, щекочущий ноздри запах, примечала — сквозь сухую, колкую щетину срезанных стеблей пробивались от земли бархатные крестик молодого клевера.

— Пострел какой, — бормотала она, — растет... Все растет!

А когда солнце начинало припекать, к ней подходил который-нибудь из сыновей и говорил:

— Ты, мама, иди... топи печку. Мы зараз одни управимся.

— Управимся, — подтверждал другой. — Припасай поболе лепешек да помаслянистей.

— Парботаете, так припасу, — усмехалась она и не шла, а летела домой, легкая, проворная, чтобы вовремя настрять всего вьюлю сыновьям.

Она топила печь каждый день, и всегда в печи нехватало места для противней, горшков, кринок и плоек. Ребята возвращались с поля обожженные солнцем, голодные, ели, как пыльщики, только поворачиваясь мать, и она радовалась, подставляя им грудь горячих румянистых сочных, блюдо картошки, плавающей в сметане, противень с дробленой, ноздреватой, истекающей маслом и ароматным обжигающим паром.

Больше, чем прежде, наводила Анна Михайловна чистоту и порядок у себя и жаловалась, что в избе попернуться негде, печь мала, в сенях второму ларю места нет, — видать, пришла пора ставить новый дом.

II

Сельский совет не прибавил Анне Михайловне земли к старой одворине (прибавлять было не из чего, кругом застроено доотказа), а отвел новую, крайнюю к шоссе-ной дороге, идущей от станции в

районный город. Всем взяла новая усадьба: и простором, и удобствами. Зеленая луговина начиналась пригорком и отлого, узорчатым ковром дикой кашки, зверобоя, Аграфены-купальщицы и одуванчиков, бежала к шоссе. Место было сухое, веселое.

Однако Анна Михайловна долгое время и слушать не хотела про новую одворину, грозилась пойти в райисполком жаловаться на сельский совет.

— Как на отшибе... Поживите сами! — гневно кричала она в сельском совете. — Что я, прокаженная или подкулачница какая, чтобы меня с родного места выселять? У меня на старой одворине и колодец рядышком, и тополь, поди, как вымахал, и капустник близехонько... и земля в огороде — чистый чернозем, и на гуменике я по три воза гороховины каждый год накашиваю... Не тронусь я, вот и весь сказ!

Убеждали ее всем правлением колхоза. Говорили, что обиды никакой нет, строится не одна она: где же старых одворин напасть? И так скученность в селе страшная, беда, как пожар случится. Колодец ей вырыют, луговину рандалем изрежут да многолетних трав насеют. Опять же, слава тебе, в колхозе на грудочки клевера много дают, заглаза хватит на корову.

— Смотри, не пожелает новый дом на старой одворине стоять... убежит на новую усадьбу без твоего согласия, — шутливо говорил Гуцун. — Полно за гнилушки держаться!

— Да ведь курица, и та свою жердочку любит, и подижек и подавно, — отвечала, сердясь, Анна Михайловна.

— Э-э, ноне и куры без нашествия сбоятся. Цыпятах сидят, по два раза, голорят, в день несутся, благо цыплят не выводить. Облегчение труда! Постой, скоро и людей в инкубаторах родить будут... Иная перемена жизни.

— Не желаю я никаких перемен.

— А нас и не спрашивают, — смеялся Савелий Тимофеевич, ласково кося глазами.

Он на последнее время опять повеселел, зубоскакал, бросил пить, хотя жене его лучше не стало,

крозь у нее горлом шла. Савелий Федорович возил ее по докторам, да бестолку, все говорили, что недолго бедняжке осталось жить на этом свете. Наверное, притворялся Савелий Федорович и веселостью своей, как мог, скрашивал последние дни близкого человека. Когда бабы, жалея, спрашивали, как он успевает справляться по колхозу и дома, он коротко отвечал:

— Приспособился. Доченька ненаглядная помогает... Да ведь я и сам постирать, погладить могу.

— Золотые у тебя руки, Савелий Федорович, цепы им нет,— и бабы качали головами, забывая в такие минуты все нехорошее, о чем говорили заглаза про Гущина.

— Не жалуюсь, работяшние,— скромно соглашался Гущин — Да вот не всем они нравятся, мои руки.

Анна Михайловна догадывалась, на кого намекает Гущин. Действительно, Николай Семенов попрежнему не любил завхоза, наказывал ревизионной комиссии почаще проверять амбары и житницы и сам, словно ненароком, извещивал некоторые мешки, когда весной Савелий Федорович отпускал по бригадам семена.

— Перемена — старому замена. Все к лучшему,— угощивал Гущин Анну Михайловну, по доброте, что ли, своей сочувствуя чужому, хотя бы и маленькому, горю.— По дому — и усадьба. Богатое гнездо сошьешь... приспособишься.

— Ты-то, видать, ко всему горазд приспособишься.

— А то нет? — осклабился Гущин. — Уж мне ли гладко, а смотри, я каков! Потому перю: где ни жить, так ни жить — солнышко человека везде согреет. А тебе чего надо?

И толкал Анну Михайловну локтем, итрово подмигивая:

— Сватей-то скоро я тебя назову?.. Что-о? Али невеста не по сердцу, сват не по душе?

— Ну, где нам до твоей гордой крали дотянуться! — хмурилась Анна Михайловна, не любившая долгопязую, стряженую и молчаливо-диковатую дочь Гущина.

— Хо-хо! Дотянешься...— смеялся Савелий Федорович.— Выезжай из проулка на простор.

— Нет, нет,— твордила свое Анна Михайловна,— не тронусь я, пусть что хотят со мной делают.

Слюмили ее сыновья. Они обещали пересадить тополь на новую усадьбу и до единой горсти перетаскать чернозем из огорода. Все-таки жалко было расставаться Анне Михайловне со старым, обжитым местом. Она даже всплакнула тайком от ребят.

III

Лесничество еще зимой отвело делянку поблизости, в сосновой роще. Вначале Анна Михайловна положила строить дом размером восемь на девять аршин, но, взглянув на сваенные сыновьями срезки, длинные и ровные, точно телеграфные столбы, она раззадорилась и прибавила по аршинчику, потом прибавила по второму и, наконец, посоветовавшись с Семеновым и сыновьями, окончательно решила ладить избу на целых двенадцать аршин по фасаду и без малого восемнадцать в длину, с прирубом, сенями, светелкой и двором на два ската.

Тес пилили пришлое, а срубы взялся рубить, ставить и отделывать новый сосед по одворине хромой Никодим с зятем. Цену он назначил подходящую, без запроса, был мастер на все руки, славился плотницкой честностью. К тому же Анна Михайловна, угостив по обычаю Никодима и его зятя вином, выговорила за ту же плату сладить ей из старья хлев для поросенка и погреб,— словом, в колхозе все утверждали, что она не протадала, дешево плотника не порадишь.

Первый раз в жизни строилась Анна Михайловна. Ее волновала каждая пустяковина: не мелки ли ямы под фундаментом, ладно ли легли камни да нельзя ли под средний переклад для прочности лишней камешкишко положить? Подбирая пилен, она подолгу приставо и счастливо следила за плотниками, как они рубят бревна.

«Был бы жив Леша,— думалось ей,— не пришлось бы чужих нанимать... сгрохал бы сам за милую душу».

Зять Никодима, рослый, плечистый молчун, рубил крупно и торопливо. Он высоко заносил над головой топор, со свистом опускал его, и щепа, брызгая медовой смолой, с треском отскакивала, как теснина. Обтесав бревно, зять, не глядя, переходил к другому, плевал на ладони и без передышки вскидывал звенящий топор.

Старый Никодим, напротив, рубил мелко и не спеша. Отставив большую ногу и припав на колено здоровой, он, покашливая и помаргивая красными, слезящимися глазами, тупал топором, словно сечкой канусту. Топор он держал в маленьких, точно детских, руках почти за самый конец и как-то вкось — ют ног, кажется, выронит.

Анне Михайловне было жалко смотреть на Никодима «Ай, батюшки, никак я прогадала на плотнике! Погналась за дешевкой...— пугалась она. — Нему-дранций попался. И за что только хвалят его?»

Но пригледелась и успокоилась. Не выпадал топор из сморщенных рученок Никодима, и, дивное дело — ржаной послушной лентой беспрерывно разматывалась щепа, и бревно пело под топором.

Когда бревно было обтесано, Никодим вздыхал, точно сожалел, что так рано окончилась работа. Копилки, обходя бревно, часто и нежно постукивая обушком.

— Как и аптеке... Любота! — сиповато говорил он и присаживался попохоть табачку из берестяной, замасловато открывавшейся тавлинки.

Дело у него спорилось незаметно. Вечером, считая обтесанные им и зятем бревна, он неизменно заключал:

— Любота! Обогнал я тебя, зятек... Ну, соседка, припасай литр, будет у тебя вскоре Дворец советов.

— За литром дело не станет, два припасу, — благодарно отвечала Анна Михайловна, нагружая пахучей щепой корзину. — Спасибо, Никодимушка, как для

себя стараешься. Горазд ты бревна тесать, как я погляжу.

— Ты спроси, на что я не горазд? — посмеивался старик, нюхая табак и блаженно чихая. — У тебя, соседка, учусь. Я всегда баял: старый человек не выдаст, старый человек — любота.

— И не говори, — охотно соглашалась Анна Михайловна. — Откуда только силы берутся, сама не знаю. Вот, к примеру, изба эта... Да какая! Почище Исаевых хором будет. И не думала, не гадала такой домище сгrophать.

IV

Ей нечего было желать больше. Сыновья жили вместе с ней, за лето они, послушные, работающие, загорели и вытянулись, скоро можно было о свадьбах думать. В колхозе все шло хорошо. Новый дом выходил богатый. И она, мать, хотела лишь одного — чтобы эта незаметно сложившаяся, тихая и ладная жизнь так и продолжалась день за днем, год за годом.

Но как-то получалось так, что этот обжитой порядок часто нарушался. Сама того не замечая, Анна Михайловна первая ломала размеренную, правящуюся ей жизнь. Ухаживая за льном, она забывала порой дом, не успевала управляться по хозяйству, все делала рывком, наспех и сердилась на себя. У нее не хватало времени побыть с сыновьями лишний вечер вместе, она прямо разрывалась, чтобы успеть накормить их, постирать, пошить и во-время поспеть на работу.

Конечно, она имела теперь право немножко и отдохнуть, трудней в сыновних книжках заглазничать бы, но она привыкла быть на людях, не любила сидеть сложа руки — для них всегда находилось в колхозе неотложное дело. Она не могла пропускать собраний, потому что и к ним привыкла, хотела все знать и все принимала близко к сердцу.

Но чаще и больше ее порядок нарушали сыновья. Они оказывались вечно занятыми по горло, даже по

праздникам. У них завелись свои, непонятные для матери, интересы, какие-то нагрузки, обязанности, а им еще надо было и погулять, повеселиться, и они всегда торопились, прибегали домой только есть и спать. По всему виду, сыновья отдалялись от матери, и это было страшно.

— Шляется неизвестно где и незнамо почто, — ворчала Анна Михайловна, когда у нее выдавался свободный вечер, ей хотелось посидеть с сыновьями, посмотреть на них, о чемнибудь поговорить, а они, как нарочно, являлись под утро. — Остыло все в печи... Разогревай вот вам, полуношникам.

— А мы и холодное съедим. Проголодались — страсть... — говорил Михаил и сам лез в печь, гремя заслоном.

— Хоть скажите матери, куда вас пес носил? — спрашивала Анна Михайловна.

— А на станцию, — коротко бросал Алексей. — Кустовое совещание комсомола.

— Можно было и не ходить.

— Да ведь ты сама на собрания ходишь, — напоминал из кухни Михаил.

Мать не сразу находила, что сказать.

— То я... Сравнил небо с землей. У меня серьезные дела.

— Ну и у нас дела... еще посерьезнее твоих. Молока то нам оставила?

— Остатки, — вздыхала мать, забираясь на печь. — В телях, и ведре с водой, кринка стоит.

Сквозь дрему она слышала, как ребята, постукивая ложками, хлебали молоко и вполголоса разговаривали, вскоре трубил пастух, и они, не спавши, уходили на работу.

В ненастные утра, когда в колхозе делать было нечего, Алексей, выспавшись, охотно помогал матери и стрижке, Михаил уходил в лес за грибами или по ягоды, Анна Михайловна не торопилась и вдосталь поговаривалась с сыном. Собственно, разговаривала больше она одна — обо всем, что слышала от баб, что приходило в голову, сын, по обыкновению, только

хмыкал, поддакивал или не соглашался, но, бывало, и он сказывал одно-два словечка про что-нибудь свое, молодое.

Ему нравилось раскатывать скалкой белое тесто и делать сдобники. Он брал стакан и искусно резал им крутое, желтое от яиц и сметаны тесто на кружки, полумесяцы, звезды, накалывал вилкой замысловатые узоры, посыпал мелко истолченным сахаром, и печенье выходило первый сорт, как покупное, даже красивее и вкуснее.

Михаил приходил из лесу прямо к чаю, ел да похваливал:

— Ай да стряпуха! Придется тебе, Михайловна, скоро в отставку подавать Сынок-то, гляди, на твое место у печки метит.

— Ешь знай, — бормотал Алексей недовольно. — Подавишься.

— Невозможно. Прямо во рту тают... без всякого вредительства, — не унимался Михаил, уписывая сдобники за обе щеки. — Тебе, братан, кондитерской бы заправлять... Пирожными командовать, а? Проси путевку в райкоме. Станешь инженером кулинарных дел.

— А что ж, худо ли? — защищала Алексея мать. — Вон Глаша Семенова на повара учится.

— Ей к лицу, — Михаил презрительно шмыгал носом. — Сама — как булка рассыпчатая.

— А вам что надо?

— Нам, Михайловна, надо многое.

И верно, все, что сыновья имели, что делали, — им вроде как было мало. Они постоянно казались недовольными, хотели чего-то большего, куда-то стремились.

— Чего вам нехватает? — спрашивала, сердясь, Анна Михайловна. — Кажись, сыты... одеты не хуже людей. Вчера Коля Семенов высчитывал — трудней у нас, слава тебе, за тыщу перевалило. Вот осенью я по новому костюму справлю... Ну, чего вам еще?

— Ничего, — вяло отвечал Алексей — Ми не жалеемся.

— А фырчите, вижу!

— Эх, Михайловна, не единым костюмом жив человек, — насмешливо и укоризненно говорил Михаил, потряхивая кудрями. — Глаз у тебя близорукий. Скучно слушать.

— Уж какая есть Близорукая-то, скучная мать жизнь на вас положила. Сколько горя хлебнула, пока выпоила-выкормила эдаких... толсторожих... А они все матерью недовольны.

Алексей, хмурясь и кусая ногти, пробурчал:

— Тобой мы довольны

Помолчал и, глядя в сторону, добавил:

— Мы собой.. недовольны.

— Господи! — изумилась Анна Михайловна, тревожно вглядываясь в сыновей. — Да почему?.. Алл вы уроды какие? Рук нет, ног? Али вам, ученым, не по носу работа в колхозе? Чистенькой захотелось? Да в прежнее время одна бы вам дорожка — в пастухи, трешница за лето. Свиныи вы, вот что... зарылись...

Ребята отмалчивались, и это, пожалуй, было хуже всего. Они словно таяли что-то от матери. И ей становилось обидно.

Тайком она присматривалась к сыновьям, прислушивалась к разговорам их, разгадывала разное, да бестолку.

Одно приметилось ей, несомненное и горькое: у ребят все меньше и меньше было промеж себя ладу. И хотя они работали и гуляли чаще всего вместе, дома шептались доверчиво, сидя на крыльце или закурившись с ногами на лавку, куска не съедали врозь, и сидели попрежнему рядышком, на старой деревянной кровати, — однако на людях они словно тяготились друг другом, насмехались, как чужие, придирались ко всякой пустяковине, спорили и даже в открытую ругались. Но то были не ссоры, как в детстве, а что-то другое, чего Анна Михайловна понять не могла.

— И чего вы поделить не можете? — не раз горько спрашивала она ребят. — Авдогья сказывала, опять на народе поругались... Разве хорошо... Каково матери-то слушать?

— Я этой Куприянихе отрублю как-нибудь

язык, — грозил Михаил, переглянувшись с братом и мрачно насвистывая. — Больно длинен вырос у балаболки... А ты развесила уши!

— И развешивать нечего. Видно мне... Ровно вам стыдно, что вы братья родные.

— Ну, поехала... — бормотал глухо Алексей и старался уйти из избы.

— Нет, постой! — мать загораживала ему дорогу, пытливо вглядываясь. — Скажывай напрямик — что у вас там вышло? О чем ругались?

— А мы и не ругались, — усмехался Алексей, спокойно выдерживая разгневанный взгляд матери.

Анна Михайловна отворачивалась, махнув рукой.

— Пес вас разберет... Что и за детки поне пошли, одно мученье!

V

Богатое догорало лето.

Цвели и влажно шумели листвою и пчелами старые липы. Выкидывал голубую тяжелую броню овес. Завивалась в курчаво-непокорные зеленые кочаны капуста. В зное и грозах спела рожь, светлая, напоенная доотвалу дождем и солнцем. Коленчатые горячие стебли ее не ломались еще в руке, гибко гнулись, как тонкие серебристые прутья ивы. По сухим скошенным взгорьям лежал густой загар, а в тени, по впадинам, в зарослях орешника и малины, поднималась изъерошенной гривой молодая трава и украдкой снова распускалась Иван-да-Марья.

Все кругом было в самой поре роста. Душисто пахло в огородах укропом, огурцами и сырой землей, на гумнах, возле сараев, был пролит крепкий настой свежесушенных трав, а с ближних полей и лесов тянуло тем тонким, знойным дымком, в котором больше сладости, чем горечи, и не разберешь: то ли это пахнут, загорая, пшеница и рожь, то ли на самом деле где-то далеко-далеко жгут смоляной костер и он струит жаркое благовоние.

Но побледнело, словно выцвело за лето, небо. В босоте, по кочкам, на седом мху, мелко прострочен-

ном черными нитями ягодника, стыдливо зарумянилась в полщески клюква. Неуловимо укорачивались дни, а ночи прибавлялись, теплые и темные. И однажды, идя селом мимо могилы, Анна Михайловна заметила, как отделился от липы круглый, еще почти зеленый, с пушистожелтым цветком лист, тихо покружил над ее головой и бесшумно упал под ноги, на луговину. Анна Михайловна наклонилась и подняла лист. С цветка слетела встревоженная пчела, недовольно прожужжала над самым ухом и взвилась вверх, в густую зелень и медовую цветень липы...

Поспел лен, высокий, кудрявый, точно вылитый из золота. Горячий полдневный ветер играл червонными головками льна, они звенели бубенчиками. Был дорог каждый час, в колхозе все, от малого до старого, помогали теревить лен.

Бригадир поставил Алексея к конной теребилке, и Михаил, выдирая с матерью лен руками, не скрывал зависти. Он словно бы и петь и свистеть стал меньше.

— Вечет долгонятому, — ворчал он, ожесточенно захватывая полными горстями мягкие стебли и с треском вырывая их из сухой земли. — Просил дядю Петра разрешить по очереди с Лешкой работать. Ни в какую! Обядал, видать, с жары, не понимает ничего. Знай башкой вертит да ус кусает... шатун однопудный.

— Перестань! — строго приказывала мать. — Лен-то и чем виноват? Гляди, сколько головок оборвал. Прогоню с поля.

Михаил замолкал, теребил прилежно, но, связав сноп, опять начинал скулить:

— Уж хоть бы умел Лешка как следует лошадыни править... Смотреть противно, до чего неловок. Правый вожжи от левой не отличает.

— Полно молоть не дело.

— Да погляди сама. Над ним же лошади смеются!

Когда Алексей, важный, не замечая брата, проезжал мимо, тот, не вытерпев, просяще кричал:

— Дай разок прокатиться... Эй, братан!

Кони с храпом проносились рядом, облавая Анну Михайловну горячим дыханием и седой пылью. Не оборачиваясь, Алексей коротко кидал баском в пространство:

— Сломасшь... нельзя... баловство.

— И потихонечку.. честное комсомольское, потихонечку! — умоляюще выкрикивал Михаил, бросаясь следом за теребилкой. — Ну, что тебе стоит? Дай обьеду загончик... Ну?

Гремя, теребилка летела по льну, к ногам Михаила падали ровные кучки золотых стеблей. Приминая, он ступал на них и, сунув по-мальчишески два пальца в рот, оглушительно, зло свистел.

Кони шарахались в сторону, Алексей, туго натянув вожжи, грозил брату кулаком.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы колхоз не получил второй теребилки. Михаил чуть не плакал, выпрашивая у Семенова позволения работать на машине.

— Что, заело ретивое? — посмеялся председатель, выслушав жалобную, горячую и беспязную бормотню Михаила. — Ладно. Бери теребилку и действуй... Покажи брату, что не один он парень на деревне.

— Я ему, медведишке, жирок послушу, — пообещал Михаил.

Анна Михайловна присутствовавшая при разговоре, с сердцем сказала Николаю Семенову:

— Ты чего их науськиваешь... как собак? И без тебя грызутся, не приведи господь.

— Зубы растут. Это хорошо, — довольно усмехнулся Николай.

— Да чего же тут хорошего?

— Побольше бы такой грызни, Михайловна, вот что. Пользительна она для дела... Ах, жалко, в тракторах нам отказала мастеря. Смакнули б денюг и три дня... Вишь ты, бросили машины в отставание колхоза. А разве мы не отстаем? Горит лен... Вся надежда на твоих парней.

Мать с сомнением покачала головой, поджимая губы. Непонятен ей был Семенов, непонятны стали сыновья.

Михаил живо приловчился к терсбилке и летал по загону, словно в масленицу на праздничном кругу. Сидя ухарски, боком, сдвинув на курносый нос лакированный козырек белой замаранной кепки, он, маленький, легкий, чуть шевеля вожжами, горячил коней свистом. Пара вороных, прижав уши, неслась по полосе, как по гладкой дороге. Повеськая, необкатанная терсбилка визжала и раскатисто гремела. По этому безудержному грому мать, будучи в поле, не взглянув, безошибочно определяла, где сегодня работает Михаил.

Ольга Елисеева, посаженная к Михаилу приемной мамой, не успевала сбрасывать ползущий по транспортеру лен.

— Рученьки отнялись, — жаловалась она Лине Михайловне. — Я ему кричу: «Миша, погодь ты маленько, дай вздохнуть!» А он знай насвистывает... Уморил до смерти, песенник.

По полю работал Алексей. Его старая, порядком изношенная терсбилка жалобно скрипела, когда он, сутулый, грузно опускался на сиденье, заботливо подобрал ноги. Молча тронув лошадей, он не давал им сразу полного хода, сдерживал, сосредоточенно и упрямо приглядываясь ко льну, буграм и камням. Наклонясь, он шелушился, как воркует смазанные чулки, шелушился, как ползет по ремню лен, роняя ли, не обрывает ли головок, и только со второго заезда давал коням волю.

И не стало у ребят иного разгонора дома, кроме как о льне.

— Сколько натерсбил сегодня? — небрежно спросил Михаил за ужином на третий день работы.

— С меня хватит, — усмехнулся Алексей.

— Значит, старушка твоя не развалилась еще?

— Поскрипывает. На молодую не сменяю.

— Но-о? — удивился Михаил, озорно прижмурился левый глаз и подмигивая матери. — А может,

уступишь? Моя молодка чтой-то ленится. Сегодня обстряпал всего-навсего... гектаришко. У вас?

— С четвертью.

— Заливай!

— Пожара нет.

Михаил перестал есть. Видела Анна Михайловна, как потемнели от волнения его глаза.

— Нет, без шуток. Сколько? — пристал он к Алексею, раздраженно отодвигая от себя локтем сковородку с шипящей яичницей. — Скажи по-честному.

— По-честному — гектар с осьмой.

Брат так и подскочил за столом.

— Ох, косолапый! У меня... три четверки.

«Соперничают... — неодобрительно подумала мать. — Диви б чужие... И что им надо? Я этому Семенову за выдумку...»

— Будет пам! — вскинулась она на сыновей. — Что вы из работы забаву строите? Попортите мне лен... Ешьте яшню, пока горячая. Спать пора.

— Ну и спи, коли тебе охота, — огрызнулся Михаил, водворяя сковороду на место. — Мне от этой забавы сна нет.

Анна Михайловна постучала по сковороде вилкой.

— Как ты с матерью разговаривашь, стервец? Веревки захотел? Получишь... Я не посмотрю, что ты семилетку кончил и с девчонками хороводишься, отлупцую за милую душу.

— Михайловна, пожалей! — жалобно и смешно закуксился сын. — Не туда сослепу, извиняюсь, целишь. Ты веревкой вздуй Савелия Федоровича. Он Ленке понарошку сотки приписывает, помогая бригадиру. Я знаю... Лизку свою пучеглазую сосватать хочет. Вот и копит жениху трудодни.

— Мели, Емеля, — сердито сказал Алексей.

— Ничего не остается другого делать. Мелю, братан, на все тридцать два зуба, без передыху. Плесни молочишка стакан, Михайловна.

Забираясь последним на кровать, к стене, Михаил, херелезая через брата, навалился на него и пригнулся. Тот не остался в долгу. Они возлились как ни в чем не бывало, свалили на пол одеяло, подушки. Ста-

рая деревянная кровать стонала под ними, того и гляди, развалится. Ребята баловались, пока Анна Михайловна не закричала на них.

Угнетившись, Михаил тихо спросил брата:

— Как тебя угораздило... гектар с осьмухой?

— А вот так и угораздило. Поменьше свисти на лошадей.

— Бойсья — перегоню?

— Нет... угробишь теребилку.

— А-а — протяжно, сладко зевнул Михаил. — Не твоя забота.

Помолчав, сонно пробормотал:

— Чур... за тобой... очередь... будить.

— Ладно, — согласился Алексей, потягиваясь. —

Стащу за ноги ровно в три... как по будильнику.

— Ну, спи...

— Сплю.

«В гнезде — голуби, на работе — чистое ястребье... Вот и пойми их, — думала, засыпая, мать. — Чую, теперь не жди добра».

Но добро это само лезло ей в глаза. Глядя на се сыновей, девочки задорнее теребили лен. Они работали наперегонки и подшучивали над бабами, которые отстаивали. Тем стало вроде как неудобно и немножко обидно, что их обгоняет молодежь, и они прибавили усердия.

Незаметно разобрал задор и Анну Михайловну. Она теребила лен на пару с Дарьей и вела счет своим и се сынам. «А ведь это вроде соревнования... про которое в газетах пишут», — подумалось Анне Михайловне.

Николай Семенов вывесил у правления доску, и бригадир писал на ней мелом, кто сколько выработал за день. И приятно было взглянуть на доску, идя вечером с поля, отыскать свою фамилию и цифру, проставленную рядышком. И все бабы это делали, хотя притворялись, что интересуются не собой, а другими, и точно им безразлично, что там про них нацарапано на доске. Однако, если фамилия какой-нибудь стояла последней и цифра возле нее была самая махонькая, так и знай — поднимется хозяйка завтра до пастуха,

накажет бабушке подолоть и согнать корову, заторопится в поле, будет теребить лен не разгибаясь, но поздней уйдет завтракать и пораньше других прибежит с полдника, чтобы видеть вечером на доске свою фамилию первой.

Словно обсыхая, уменьшался в поле золотой разли лъна, все больше и больше обступала его берегами суглинистая, черствая земля. И радовалось сердце Анны Михайловны, примечая, как растут шалашики снопов, дозревая на ветру и солнце.

— Кажется, во-время управимся со льном, — весело признался Семенов и приказал Петру Елисееву зажинать с народом пшеницу, оставив на тереблении только машины.

— Не сожжете мне остатки льна, ребята? — спросил он, зайдя вечером в избу к Анне Михайловне. — Шесть гектаров на вашей совести лежат. Когда рассчитываете кончить?

Михаил метнул горячий взгляд на брата, подумал.

— Послезавтра разделаемся, — сказал он уверенно.

— Это ты за себя говоришь? — рассмеялся ему в лицо Алексей.

— Нет, за тебя, медведь! — закричал Михаил сердито. — Я берусь по полтора в день теребить. А вот ты попробуй!

— Мне и пробовать нечего, — брат равнодушно пожал плечами. — Сегодня ровно столько дал.

— Дядя Коля, прет он? — жалобно спросил Михаил.

— Правда. А ты не горячись, — остановил его Семенов. — Три дня сроку даю, авось не сгорит лен.

Михаил обиженно замотал головой.

— Заглаза двух хватит. Берусь.., вот! — Он оглянулся на Алексея и показал ему язык. — Только освободи ты меня, дядя Коля, от тетки Ольги. Сделай такую милость... Тряско ей, видите ли, барыне. Животик ее благородный не переносит.

— Да она о том же сама просит.

— Ей-богу? — обрадовался Михаил. — Уважь, дядя Коля, дай другую приминьмалышину.

Семенов взглянул на Анну Михайловну, сердито собиравшую ужин на стол.

— Может, подсобишь парню? — спросил он.

Она молча резала хлеб, сдвинув брови.

— Выручи... мамка... — плаксиво пробормотал сын.

Не отвечая, она пошла на кухню. Михаил двинулся за ней.

— Ну, что пристал? — проворчала она, оборачиваясь. — Не пропадать же лыну... Марш за стол, сейчас щи подам.

VI

Вот когда Анна Михайловна почувствовала захватывающую силу молодого, отрадного соперничества.

Еще затемно поднял ее Михаил, не дал как следует подотыг корову и, пока брат, потягиваясь, одевался и не спеша завтракал, слетал за лошадьми. Он привел их к крыльцу, и мать, заслышав под окном нетерпеливый стук копыт и фырканье, не допила своей чашки молока.

— Ну, Леня-соня, и твоих коней я привел. Поешьте. Принимай да поворачивайся. Сегодня тебе жарко будет, — весело и задорно сказал Михаил, входя в избу и торопливо нагружая карманы вчерашними сочиниями. — Пошли, Михайловна. Дорогой поедем... Счастливой работенки, братан!

— И тебе счастливо... Ты маму, смотри, не убей, дурак, — нахмурился Алексей.

— Не страшай, не из пужливых. Мы всего-навсего тебя обгоним. Правда, Михайловна?

— Иди, иди знай, — толкнула его мать, повязываясь платком.

Мишка пошел в сени, потом вернулся и, просунувшись в дверь, со смехом сказал:

— А принимальщица твоя еще нахрапывает, Кузнечиха-то... Я под окошком был, слышал.

— Ничего, разбудим.

Ведя лошадей в поводу, быстро дошли сын с матерью до ярового поля. Гасли зеленые звезды, побе-

лен над лесом ушербленный месяц, румяно и широко занималась заря. Отблески ее багряно легли на бронзовый лен, на теребилку у межи.

Доедая сочни, Михаил вытащил масленку, смазал шестерни, постучал по ним ключом, посвистел. Мать помогла ему запрячь лошадей. Он привычно вскочил на узкое сиденье, по брови надвинул кепку и подобрал вожжи.

— Михайловна, не зевай!

Она примостилась сзади и не успела путем оглядеться, как по ремню, шурша, поползли ей в руки длинные и еще влажные стебли льна. В ушах стоял звон, сидеть было неловко, тряско, того и гляди свалишься, пришлось держаться одной рукой за раму, а лен набегал бесконечной желтой волной, обрушивался в протянутую ладонь, и Анна Михайловна не успевала сбрасывать его кучками на землю.

Сын скосил горячий глаз на мать и поморщился.

— Руку! — отрывисто бросил он.

Она не поняла и, робея, переспросила:

— Что, Миша?

— Что, что... Не держись, вот что! — сквозь гром теребилки крикнул он с досадой. — Не маленькая, не упадешь.

Пересиливая страх, она послушно оторвала от рамы руку. Ее так и подкинуло. Но она выпрямилась, сохранила каким-то чудом равновесие и не упала.

Теперь сын покосился с усмешкой, одобрительно.

— Обими хватай... ловчее будет! — прокричал он.

На третьем заезде Анна Михайловна попривыкла, осмелела и сбрасывала лен без задержки. Загон пошел ровнее, трясина стало чуть-чуть, и можно было смотреть, как встает солнце, как золотятся и светятся курчавинки волос на смуглой шее сына. Приподнявшись, мать огляделась вокруг, заметила, что теребилка ходит не вдоль, а поперек загона. «Лишние завороты, — смекнула она, — вдоль куда сподручнее теребить», — и указала на это сыну.

— Правильно, — быстро согласился Михаил, заворачивая коней. — Времецко сэкономим. Ну, братику теперь за нами не угнаться.

Мать видела, как получасом позже провел лошадей на свой участок Алексей. Должно быть, и верно, заспалась Кузнечиха. Она плелась позади, и мать пожалела Алексея.

Михаил помахал брату кепкой, живо обернулся.

— Прибавим ходу?

— Прибавляй... — усмехнулась мать.

Он свистнул, и терсбилка загремела пуще прежнего. Ей задорно откликнулась Алексеева на соседнем загоне, и кажется, все поле вокруг загремело и запело. Ветер ударил в лицо матери, прохлада его была желанна. Колотилось и замирало сердце, грудно стало дышать, ныли руки от напряжения, следовало бы передохнуть. Но кони мчались так славно и лес падал в ладони таким могучим валом, только не звай — сбрасывай, и она, мать, летела с сыном, точно на крыльях, навстречу солнцу.

В утренней радужной дымке разворачивались перед ней поля. Везде кипела работа: взлетали серебряные серпы, вставали лохматые белесые суслоны, далекая жнейка приветливо махала ей руками. И почти рядом, стараясь обогнать их, стремительно плыл через лыняное горящее озеро Алексей, легкой лодкой ныряла его терсбилка, и белым парусом вздучалась полотняная рубаха.

И, тая дышанье, жмурясь от солнца и ветра, хотелось мчаться еще быстрее, чтобы свистело в ушах, холодило лицо и рукам было больше чем вдоволь работы. Несколько вспомнилась Анна Михайловна молодости, как она девочкой в навозницу капила наперетонки с подружками и парнями, стоя в телеге и вкрутив на голые руки обжигающие вожжи. Хохот, пиканье, звон бубенцов не смолкали тогда. Телега гремела и подпрыгивала вот так же, как сейчас терсбилка, но босые упругие ноги крепко упирались в шпиль. Юбка хлестала Анку по коленям. Захватывало дух, а она горячила жеребца и, замирая от счастья, что всех перетнала, летела словно по воздуху...

Анна Михайловна смотрела в это невозвратно далекое время и улыбалась ему.

— Ну, как? — спросил через плечо Михаил.

— Хорошо! — вырвалось у матери.

Сын засмеялся, приспустил вожжи, сел боком и, болтая ногами, затянул песню. Ветер рвал ее, слов нельзя было разобрать. Но мать и так поняла, что песня была хорошая, такая же, как певец, как его работа, как все, что окружало их.

А скоро пришло и забытие, которое она любила в работе. Перестали болеть руки. Все делалось будто само собой, легко и ловко. И не надо было следить за толчками, тело сохраняло равновесие без всякого усилия. Все виделось, и ничего не забывалось, как в крепком сне. Много и хорошо думалось, но о чем — Анна Михайловна не смогла бы ответить, если бы ее спросили.

Она очнулась от треска и грохота над головой. Падая туча пивесть когда закрыла солнце. Синевато-промерцала в сумраке молния, пробежала розоватой змейкой вторая, раскатисто ударил гром, и пошел дождь, частый и теплый. Не успели они остановить лошадей и укрыться под кустом, как дождь, отшумев, латих, туча пронеслась и выглянуло солнце. Над волжским лугом дождь еще шел косыми темными полосами, а здесь, в поле, уже было светло. Умытый ден чуть дымился. Просыхала рябая дорога. На Алексеевом участке зарокотала теребилка, и Михаил, стрелкнув туда из-под козырька кепки прижмуренным блестящим глазом, тотчас тронул мокрых, фыркающих коней...

Вот так и вышло, что обогнал в тот день Михаил брата. И матери было жалко Алексея. Весь вечер она чувствовала себя как-то неловко, не смела поднять глаза на сына, словно в чем провинилась перед ним.

За чаем Михаил, не утерпев, стал было зубоскалить над братом, но мать так посмотрела на него, что он прикусил язык. Когда хлебали молоко, она подсушила Алексею лишнюю середку белого пирога, но сын, этого не заметив, потянулся через стол за хлебом.

Укладываясь спать, он постелил себе на полу.

— Ты у меня не дури, — сказала мать тихо.

— Жарко на кровати... Мишка дигается, — глухо ответил сын.

Подавив вздох, мать замолчала.

«Началось...» — горько подумалось ей.

Она долго не могла уснуть, слышала, как, посапывая, ворочался на полу Алексей, как насвистывал и нахрапывал в безмятежном сне Михаил. А у нее, у матери, болели руки, ломило спину, и черные думы полонили голову. Испытанная в поле радость казалась теперь смешной и ненужной, а соперничество сыновей — страшным.

«Сегодня спят врозь, завтра за стол вместе не сядут... А там, гляди, и вся жизнь — врозь, кувырком пошла... Обливайся, мать, слезами, уговаривай, мири их... Да разве затем я растила сыновей, господи?!»

Поправляя изголовье, Анна Михайловна решительно сказала себе: «Прекратить эту вражду, пока не поздно. Да... завтра же».

С тем и уснула, как в яму провалилась. Не слышала, как трубил пастух, и не сразу подняла голову на сердитый окрик Михаила:

— Корову проспала... да мамка же!

В избе гуляло солнышко. Оно плескалось на щербатом полу червонным разливом. И полосатый, свернутый вдвое постельник плавал посредине избы лодкой, и мятая, загнутая подушка белела парусом.

Щурясь, мать покосилась на брошенный постельник, на Михаила, в одних трусах метавшегося по кухне. Она прибрала постель, подошла к окошку и распахнула его. В избу ворвалось погожее утро, с прохладой, горячим светом, пением петухов и далеким, чуть впитанным рокотом теребилки. Неуловимое дуновение несло с полей запах спелых хлебов.

И мать поняла, что она не сдержит своего слова.

— Ушел и не побудил... Тоже, брат называется, комсомолец, — кипятился Михаил, надевая штаны и прыгая на одной ноге. — Ну, припомню я ему!

— Оба вы хороши, — только и сказала мать, собираясь в поле.

В этот день работа не ладилась. Участок им попался каменистый, короткий — одни завороты. Лен перерел, местами он полег, и теребилка, не захватывая стеблей, обрывала граненые, шумящие головки. Миха-

ил, горячася, возился с ремнем транспортера. Он сделал захват пониже и, пока кони шли ровно, пропускал и обрывов почти не было. Но стоило немного прибавить ходу, как теребилка начинала скакать по камням, ремень скользил поверху, обрывал и давил головки льна.

До обеда они не вытеребили и половины гектара. Запрягая после полдника лошадей, Михаил заплакал с досады. И матери нечем было его утешить.

Где-то, невидимая за хлебами, неумолчно гремела Алексеева теребилка. Михаил зажал уши ладонями, чтобы ее не слышать.

И, заметив это, жался сына и сердясь на него, мать закричала:

— Как тебе не стыдно! Лен-то — колхозный. Что же, по-твоему, гореть ему, если у нас с теребилкой не ладится? И чему вас там, в комсомоле, учат! Да ты радоваться должен, что у брата так работа кипит.

— Не больно-то он... вчера... радовался... на мою работу глядя,— ответил, всхлипывая, сын.

— Сам виноват, не хвастай,— сурово отрезала мать.

Помолчав, добавила мягко:

— Полно реветь, глупый... Никто нас не казнит, что мы с тобой трошки отстали сегодня. Не диво, каменьев-то ровно леший наворотил на полосу. Убирать их надо весной, вот что я скажу Семенову... Мы отстали, а Леша пообогнал... как ты вчера. И хорошо. И нечего соперничать... Дело-то общее и вперед идет, не назад... Я так понимаю... это самое... соревнование. Вот Леша кончит, тебе же подсобит, дурашка.

— Очень мне нужны... подсобляльщики! — вспылил Михаил и, вскочив на теребилку, не дожидаясь матери, ударил вожжами.

Коня рванулись и понесли. Теребилку сильно подбинуло. Встревоженная, бросилась Анна Михайловна к машине:

— Стой! Стой!

Но было уже поздно. Обрывая и приминая лен, теребилка раз взлетела теребилка, раздавая сухой треск и

скрежет булыжника. Михаил упал. Не выпуская вожжей, он проехался на животе, с трудом остановив коней. Поднявшись, кинулся к теребилке.

Подбегая, мать видела, как сын медленно выпрямился, лицо его побледнело. Обходя мать, он пошел за оброненной кепкой, поднял ее, нахлобучил на глаза и сел на межу.

— Что... там? — дрогнув, спросила мать, не смея приблизиться к теребилке.

— Шестеренка.. сломалась... — сипло ответил Михаил, пристально разглядывая колесо.

Штаны были изорваны, он просунул в дыру палец, порвал еще больше и засвистел.

Этот свист так и передернул Анну Михайловну.

Молча подошла она к лошадям, отстегнула вожжи, сложила их вчетверо и что есть мочи вытянула сына по плечам.

— Ой, что ты, мамка? — оторопело пробормотал он, валясь на межу.

Мать поймала его кудрявую потную голову, зажала между колен, и вожжи загуляли по спине.

— Свистеть!.. Свистеть, негодяй?.. Машину сломал — и свистеть? А лен-то... А люди-то... А мне, матери. Господи! Да я с тебя всю шкуру спущу!

Ползая на четвереньках и плечами отталкивая мать, стараясь высвободить голову, сын бормотал:

— Перестань... мамка... вот выдумала... Да больно же! — вскрикнул он и, вывернувшись, поймал вожжи.

На один миг глаза их, одинаково черные, горячие, встретились: сердитые и непонимающе-испуганные — сына, знакомо-тесные, ничто не видящие — матери; пальцы Михаила, скользнув, выпустили веревку.

И как только сын затих, перестал сопротивляться, Анна Михайловна бросила вожжи, заплакала и ушла с поля домой.

VII

И надо же было так случиться, что в этот вечер Семенов назначил колхозное собрание. Из района прислали инструкцию, как авансировать по трудодням из

нового урожая, следовало потолковать, а матери казало — собрался народ у ограды, возле памятника, судить ее сына. Все знали, что Михаил сломал теребилку, и Анна Михайловна, опустив голову, сидела сама не своя.

Два чувства, одинаково сильные, боролись в ней: жалость к сыну и гнев на него.

Михаил стоял, прислонившись к ограде, поодаль, отвернувшись от народа. И так не ахти какой ростом, он сжался, поник и, совсем маленький, теребил белую замаранную кепку, ломал козырек. Рубашка сзади выбилась у него по-детски из-под ремня и висела хвостом. Матери хотелось встать, подойти, поправить рубашку и отнять кепку.

Ребенок ведь еще, что с него спрашивать. Хотел больше да лучше сделать, погорячился, вот и вышел грех. Выпорола она его, как прежде за баловство порола, ну что же еще? Зачем при народе бесчестить ее, мать? Она-то чем виновата?.. И не смотрят на него, а кто и глянет, так ровно на пустое место. Ну, почто, разве пропащий он человек? Не задорили бы, не науськивали — и не случилось бы ничего...

Да ведь и он, стервец, хорош, по правде сказать. Не дорос — так не суйся, слушайся матери, чтобы не пришлось ей краснеть за тебя. А раз взялся да испортил — сумей ответ держать... Нет, мазо тебе вожжей, нечистый дух, мало! И не в машине тут дело. Теребилку, пес с ней, и починить можно, а лен... лен теперь сгорит — не воротишь. Леша со своим не управился. Значит, вручную теребить надо. А кому? Оторвешь народ от жнитва — потечет, гляди зерно... Ну и что же ты натворил, мерзавец? Чем ты матери стыд сотрешь?

Ей было совестно перед народом, так совестно, словно она поломала теребилку и сгубила лен. Она не слышала, как читал и разъяснял Николай Семенов инструкцию по авансированию, как обсуждали ее мужики и бабы. Щеки у Анны Михайловны жгло, губы пересохли, острый комок подступил к горлу. Вздохнуть бы, выпрямиться и закричать на всю улицу, как ей, матери, нехорошо и больно. Но она не может под-

нять тяжелой головы. Мучительно-ясно видит она черный, выжженный лес и видит сына, — он все еще ломает козырек кепки, и рубашка сзади торчит у него хвостом. И Анна Михайловна не знает, что ей делать.

«Хоть бы поскорей... На один конец, — тоскливо думает она. — Срам-то какой... и не переживешь».

Нет сил больше ждать. А Семенов, как нарочно, тянет собрание. И все рассуждают охотно и спокойно, будто и не случилось ничего, будто и впрямь созвано собрание не для того, чтобы судить ее сына. Но ведь она-то, мать, чует сердцем: будут судить, беспрерывно. И правильно, нельзя иначе, она понимает, да вот тяжело ей. Крепись Анна Михайловна! Немало ты горя хлебнула, отведай самого горшего — от сына... Ладно, она выдержит, все перенесет. Она еще от себя словцо сыночку скажет: «Так-то ты, разлюбезный, мать на старости утешаешь? Ну, погоди же!»

А вышло все иначе, совсем не так, как ждала и хотела Анна Михайловна.

В конце собрания Савелий Федорович занкнулся было о Михаиле, но Семенов, не слушая его, громко и ясно прочитал наряд на завтрашнюю работу, помедлил чуточку, покурил, будто ждал чего-то. Стало на собрании тихо, и Анна Михайловна слышала, как, упав, застучало у нее сердце. А вздохнулось все-таки облегченно. «Сейчас начнется... давно пора... Ну, Мишка, не посмотрю я, что сын ты мне!»

И вдруг Семенов, нарушив тишину, объявил собрание закрытым. Анна Михайловна вскочила, ничего не понимая. Растерянно озираясь, заметила она, как, отираясь по домам и толкая о том, о сем, народ, поровнявшись с оградой, выжидающе замолкал, а потом обходил Михаила стороной.

Сын качнулся, оторвал козырек у кепки, повернулся лицом к народу. В вечерней догорающей заре огнем полыхало его лицо. Рывком поправив рубашку, он, не трогаясь с места, сказал Семенову:

— Прощу обсудить мой вопрос.

— Какой вопрос? — спросил Семенов, складывая в папку бумаги.

— Ну, какой... сам знаешь.. какой, — пробормотал Михаил.

Семенов наклонился к столу, скрывая усмешку.

Широким жестом он остановил народ:

— Минуточку внимания, граждане. Вот тут у нашего... знатного теребильщика Миши дело до нас есть. Послушаем?

— Послушаем. Отчего не послушать. Можно, — согласились колхозники, возвращаясь. — Поскорее только. Спать пора.

Мать тихо опустилась на скамью. Ей виделась первая колхозная осень, груда мешков с зерном в сенах, она сама, в слезах, смущенно просящая Николая позабыть ее малодушие, и слышался его ответ, что он ничего не помнит и не знает.

Она поняла его тогда точно так же, как поняла сейчас. «Умница... Знаешь ты ход в каждое сердце», — одобрила она Семенова и успокоилась.

Сын подошел к столу, маленький, прямой, горячий. И она увидела в нем себя, и ей понравилось, как он держался. «Вот так, начистоту, по-колхозному. Легче будет».

Михаил оглядел народ, отыскал ее, мать, и точно ответил ей черными горящими глазами: «Да, начистоту... конечно, легче».

Но ему не дал говорить Савелий Федорович Гущин. Его словно прорвало. Куда девались шуточки, ласковая веселость! Оскалившись, он залаял:

— Нечего народу морочить головы. Все сами знаем. Машину сломал, сопляк! Лен погубил... Вычесть у него из трудодней. К работе не допускать. Вот и весь разговор.

— Знамо, вычесть. Ай, ей-богу! И работы не давать... Навыдумывали соревнований, пусть сами расхлебывают, — в один голос, как всегда, отозвались Строчиha и Куприяннха.

— Да, уж это соревнование кончит нам в копеечку, — плюнул Гущин.

— А ты на копейки то не считай, — сказал Андрей Блинов.

— На рубли прикажешь? — скосив глаза, бросил Савелий Федорович. — Не больно много в нашем колхозе рублей-то.

— Получишь добро храни — тыщи заведутся.

— А я не храни? Ты не на завхоза кивай, а на председателя. Он и вторую теребилку ухайдакает, по-такая..., хулиганам.

Лица Михайловна смотрела и не узнавала Гущина. Полно, да он ли это, добрый и справедливый человек, с пеной у рта лает на ее сына, бесчестит? Да какой же хулиган Мишка? И почему нельзя его к колхозной работе допускать? Откуда такое зло у Савелия Федоровича?

Матери было горько. Платок свалился у нее с головы, и она не могла поправить его, перевязать. Ее пугало молчание Семенова. Навалившись локтями на стол, он сурово хмурил брови из-под ладоней, покачивая рыжей головой, как бы соглашаясь с Гущиным.

Слово взял бригадир Петр Елисеев.

— Не правятся мне твои речи, Савелий Федорович, — сказал он, закусывая ус. — Правильно Блинов говорит — все-то ты на деньги считаешь... по-торгашески.

— Торгашом был, торгашом и остался, — кивнул Семенов, отнимая ладони от бровей и спокойно выпрямляясь.

— Прошу не попрекать прошлым! — взвизгнул Гущин. — Честным трудом все заглажено.

Никто тебя прошлым и не попрекает. — Елисеев дернул плечом. — Мы сегодняшним попрекаем. Да! Черт тебя знает, как это у тебя получается... Лен гать начали — плохо. Машины купили — плохо. Люди стали нормы перевыполнять — опять нехорошо... Прямо куда ни глянь — везде дрянь. Или ты без глаз, или мы ослепли... Чего ты хочешь?

— Я уж отхотел, Петр Васильевич... стар, — нескладно пошутил Гущин, отступая. — А вот колхоз порядку хочет.

— Разные порядки бывают, — вставила словцо Дарья Семенова.

— Именно, — подхватил Елисеев, одобрительно

взглянув на Дарью. — За копеечные порядки стоишь, Савелий. А других, видать, не знаешь... Вот ты о добре кричишь, а сам пол-амбара овса семенного весной сгноил. Как же это?

— Какой колхоз, такой и завхоз, — осклабился Гуцин, разводя руками и становясь веселым. — Али забыл — овес на корню сопре... Назначай ревизию, я отвечу. Да обо мне ли разговор? Гладь по головке хулигана, он тебе завтра не такой еще фортель выкинет.

Чернея лицом, Елисеев постучал обожженным кулаком по столу.

— Ты напраслину не городи. В бригаде моей хулиганов нет. И по головке мы никого не гладим.

— Оно и видно, — насмешливо отозвалась Строчиха.

— А что ты видишь, дура баба! Ничего ты не видишь. — Елисеев повернулся к Миханлу, пристально посмотрел на него, помолчал. — Ну, браток, отвечай мне, как командиру... по-военному, как же это у тебя вышло?

Мать опустила голову, закрылась платком по самые глаза. Завозились, зашептались бабы. Говорок пролетел по собранию.

— Ти-хо! — строго скомандовал Семенов.

И многие повторили за ним:

— Тихо! Тише!

— Отвечай, — приказал бригадир.

— Моя ошибка, дядя Петр, — твердо сказал Михаил.

— Знаем. Да откуда она?

— Леньку хотел обогнать... побольше выработать.

— Похвально. А машину зачем ломать?

— Погорячился... — тихо ответил Михаил.

— Погорячился? А ежели бы ты не на теребилке сидел, а на коне... И не на поле был, а на войне? Ты б тоже горячиться стал?

Голос у Елисеева загредел железом, и матери показалось, что это поднялся из-за стола, как много лет тому назад, Семенов — контуженный фронтовик. Вот он стоит рядом с Сергеем Шаровым, высокий, кисти-

стый, он срывает окровавленную повязку с головы и, размахивая ею, как флагом, зовет и учит ее, мать, учит всех, как надо жить. А может быть, это сам Леша, поправляя сзади солдатскую гимнастерку, точно затыкая за пояс топор, жалеет, что рубил он богачам дома, а не головы. И опять ей мнится Семенов, зимним вечером в Авдотьиной избе. Он ведет народ в колхоз, крыльями раскинуты его смелые руки, и в неведомую даль устремлены глаза. Он смотрит вперед, поверх голов мужиков и баб, и словно видит все хорошее, что ожидает их, перепуганных баб, и улыбается этому хорошему, столь далекому и невозможному тогда, что не верилось, а теперь ставшему явью, да такой, точно другой жизни никогда и не было.

— А знаешь ли ты, парнишка, к чему приводит... эта самая горячность? Глянь-ка сюда... — Елисеев шумно вздохнул, должно быть, показывая стесанное ухо — Вроде тебя — погорячился и чуть башки не лишился... Конь спас. А кто тебя спасет, ежели ты... этому самому коню... ноги ломаешь? Что же нам теперь с тобой делать? — задумался Петр Елисеев.

Дай-ка я скажу.

Мать изронила. Невозможно знакомо прозвучал этот новый, глуховатый голос. Она вскинула голову и ужаснулась:

«Супротив брата?..»

Не глядя на Михаила, Алексей тяжело и медленно, как бы затрудненно, бросал слова:

— Ухари... какой напелся Гектар с лишним... вчера шатерился. И все ему мало... Ясно! Из-за себя поломал теребилку. Характер свой... дурацкий... тешит. Я его предупреждал.

— Ты лучше расскажи, как комсомолыцы тайком на работу уходят... не побудивши других! — гневно крикнул Михаил, возвращаясь к ограде.

— Расскажу. Правильно. Я тоже дурака сваял.. Дискредитировал соревнования... Больше этого не случится... А за поломку машины — выговор... я предлагаю... закатить.

— Прежде камни с полос уберите, а потом уж и... выговор, — пробормотал Михаил.

— А где у тебя глаза были? — спросила Ольга Елисеева.

— На затылке.

— Оно и похоже! — рассмеялись колхозники.

«Да что вы на него все напали? — хотелось крикнуть Анне Михайловне — Ведь не нарочно он... И понимает... Я его вожжами отвозила». Но она не могла защищать сына, поступок его не имел оправдания, и она ничего не сказала.

— На первый раз, Миша, мы тебе выговора не дадим. Но смотри, не пори горячку в будущем. Предупреждаем на сегодняшний день. Нет возражений? — спросил Семенов колхозников. — Придется завтра, товарищи, лен руками теревить. Наделая ты нам делов, парень.

— Я сам... все вытереблю, — угрюмо сказал Михаил.

Прямо с собрания он ушел в поле.

VIII

Дома, не стерпев, Анна Михайловна набросилась на Алексея:

— Как тебе не совестно супротив брата идти? Ну, нехорошо он сделал, так поругай насдине. А то при народе... Срам-то какой, тьфу!.. И откуда слов набрался, молчун? Пусть бы другие говорили. А ведь ты... Как ты ему опосля этого в глаза посмотришь?

— А вот так...

Сын близко подвинулся к матери, прямо и ясно взглянул ей в глаза и рассмеялся:

— Эх, мама, до чего же ты еще отстала!

— Ну, еще бы, — рассердилась Анна Михайловна. — Где же матери с тобой сравняться, все понять, — стара. Только вы, молодые, глазастые, все знаете и все понимаете... Да, может, я подальше тебя вижу? Вот что! Может, от меня больше всех Мишке досталось... Чем зубы скалить, шел бы да подсобил брату.

— Не пойду... Угробил теревилку, пусть и выкручивается.

— Бессердечный ты... истукан!

— Уж какой есть.

Алексей поел и лег спать.

Мать побранилась еще, покричала, сын не отозвался. Тогда она, замолчав, налила парного молока в кувшин, заткнула его тряпичей, прихватила кашник сметаны, хлеба и пошла в поле к Михаилу.

Был одиннадцатый час, колхоз уже спал, и Ваня Яблоков, разжалованный за лень-матушку из конюхов в сторожа, иредка постукивал в свою деревянную колотушку. Роса лежала скупю, лишь по канавам и ямам, и отовсюду надвигалась душная мгла. Во ржи скрипел коростель. Выходила над Волгой узкой багровой полоской луна, ее тусклый неживой свет стлался по сумрачной земле.

Анна Михайловна задержалась возле срубов. Дом вырастал из груды бревен, теса, вороха щепок, лежавших смутно-белой громадой. Чернели прорубы окон. Пахло смолой и сухими опилками.

«Будет ли мир в этом доме? — подумала Анна Михайловна. — Не понапрасну ли я затеяла... силы убиваю?»

Она понурилась и не обошла, как всегда срубов кругом, повернула прочь. Ее пугали тишина и мрак. Все было мертво окрест — и черные, будто нежилые, избы, и тихие лица, и белесая дорога с еще не остывшим песком, и темное небо с редким и слабым миганием зарниц. А страшней всего чудились поля, пустынные, короткие, точно обвалившиеся по краям в бездну.

Анне Михайловне стало тоскливо, и она пошла быстрее.

Легучая мысль с легким шорохом пронеслась над голубой, чуть не задев платка.

— Ах, проклятая! — похолодев, отмахнулась Анна Михайловна.

Ей стало немного легче, когда она отыскала сына. Теребя лен наощупь, Михаил, как ни в чем не бывало, мурлыкал песню. Видать, его не пугала эта мертвенная тишина ночи. Стебли мягко шуршали под его торопыжками руками, хрустели и падали комья зем-

ли. «Молодому и ночь — день белый, и былинка — душа живая... — ласково подумала Анна Михайловна — Певун ты мой незадашливый... воин во чистом поле... А брат-то дрыхнет... Ну, труд тебе на пользу».

Увидев мать, Михаил перестал мурлыкать.

Не говоря ни слова, Анна Михайловна подобрала готовые снопы, устала в десятки и, зайдя с краю, принялась подсоблять сыну. Выпрямляясь, чтобы связать сноп, она оглядывалась вокруг, — тьма уже не была такой кромешной, глаза попривыкли, и матери не раз мерещилось, что она видит там, на конце загона, человека, словно бы тоже теребящего лен.

— Кто там? — спросила она сына.

— Где?

— Да вон, на конце.

— Привиделось тебе. Никого.

— Как так никого? Эвон ворошится, вроде бы человек. А?

— Почему я знаю, — сердито ответил сын.

И мать долго не решалась заговорить снова, предложить Михаилу поесть. Потом все-таки набралась духу.

— Поешь, Мишья, — сказала она заискивающе.

— Не хочу.

— Ты на хлеб не серчай. Поешь — больше сработает.

— Да не хочу я... Отстань!

Мать все смотрела на конец загона, ее тянуло гуду, и она пошла.

— Куда ты? — тревожно позвал тотчас сын. — Давай.. брюхо подвело... что там у тебя?

Она послушно вернулась, подала ему, присела на пеньку рядом. Михаил набил рот хлебом и прильнул к кувшину.

— Важно... ух, важно! — бормотал он, захлебываясь молоком и жадно оцупывая закусанную краюху. — Хлеба-то, кажись, маловато принесла, Михайловна... Вот поесть — или домой. Нечего тебе здесь делать.

Не отвечая, мать все оглядывалась на край загона.

— А ведь это Настюшка, — сказала она по догадке и покосилась на сына.

Кувшин качнулся у него в руках, молоко пролилось на рубаху.

— Она самая... — нехотя проронил он, утираясь. — Принесла нелегкая.

— Но, но! — погрозила мать.

— А что? Опять вожжами? — рассмеялся Михаил, залезая всей пятерней в кашник со сметаной.

— А уж чем придется, — усмехнулась мать.

Все светлела вокруг нее ночь, так, по крайней мере, ей казалось. Она не могла больше сидеть, порывисто вскочила и, как маленькая, сгорая от любопытства и нетерпения, побежала, спотыкаясь, межой на край загона.

Верно, это была Настя Семенова, одинокая, крохотная. Она перестала теребить, как только подошла Анна Михайловна, поздоровалась, отвернулась и заплакала.

— О чем ты? — спросила Анна Михайловна.

— Мишу... жи-алко... — прошептала Настя.

Анна Михайловна погладила Настю по голове.

— Стоит его жалеть... баловника, — проворчала она и еще раз погладила Настины волосы. — Ишь рас-трещала косы то... длинные какие. — Помолчала и добавила: — Смерть не люблю стриженных.

Не успели они поговорить, как где-то близко зафыркали кони и затарахтели, приближаясь, гремучие копыта. Анна Михайловна замерла, прислушиваясь. Она опять ничего не видела, ее окружила темень, но зато с груди будто камень свалился. Радостно разлилась голова... один миг, и снова ее задавило горе.

— Проваливай, проваливай! — послышался озлобленный голос Михаила.

— Я тебе провалю! Дай дорогу!.. — отвечал второй, такой же страшный.

«Подерутся... сейчас подерутся. Господи!» — мелькнуло у матери, и она заметалась на конце загона. Бежать и разнимать — поздно, кричать — не послушаются.

— Что же это... Настя? Что же это, а? — в отчаянии причитала Анна Михайловна и вдруг затихла.

— Садись и правь лошадьми, — нятно сказал Алексей.

— Я?

— Ты.

Молчание.

— Садись, говорят тебе, — повторил Алексей. — Я принимающим буду. Ну?..

— Додернешь, братан?!

Скисст отлучил Анну Михайловну.

— Эх, воронье, удалые! — запел-засвистел Михаил, ударил коня, и пошла, в лад песне и топоту копыт, греметь, теребилка.

— Побегеж, Настя, спать, — устало сказала Анна Михайловна.

IX

С тех пор перестали мать тревожить за сыновей.

Она непрерывно спорничала и дружила, все так же не давала друг другу спуску что в деле, что в пустяках, и Анна Михайловна по привычке бранила ребят, но спокойнее было ее сердце, тихо и светло на душе. Своего парочка, рожки и телега свои сыновей и перестал рвать и ломать и хворать, все зарослила, все полюбила и, глядя, поглядывая, что так оно и должно быть, «не плачет». На расти только плакучей ивой, не стоять больше, как раньше, бокастом, не хохотать молодому сердцу, а плакать.

Еще больше стала дорожить Анна Михайловна временем, когда сыновья были дома и они, втроем, за доску дурачились, рожкиварная про всякие разности. И хорошо было поглядеться над шутками Михаила и пошутить, над читает газету Алексей, и про что похвалить, поглядеть на сыновей, тихо порадоваться.

Никогда в юни забавили приятели, приводили с собой подружек, и чаще становилось, тихо и шумно. Мать сидела на печи и откуда, свесив голову, смотрела и слушала, как забавляются молодежь.

Все было не так, как прежде. Парни не садились к девушкам на колени, не озорничали. Игры с поцелуями заводились редко, их как-то стеснялись, презирали. Молодежь больше всего любила, сбившись в кучу, разучивать новые песни или стучать по столу костяшками, выкладывая из них какие-то замысловатые, непонятные фигуры. Часто ребята спорили обо всем, что вычитали из газет и книг, спорили и по разным пустякам, и не поймешь: в шутку или всерьез, потому что и смеху бывало много, а сердитого крика еще больше. Любили они также шептаться, мечтать, что ждет их в жизни, куда пойти учиться, работать да когда можно будет автомобиль завести, аэроплан, чтобы путешествовать и друг к другу в гости ездить, и всякое такое, что смешило и радовало Анну Михайловну.

Но песни, споры, шопот, игры и смех не мешали молодежи, как видела мать с печи, делать еще другое, извечное, самое для них важное — разговаривать глазами, улыбками, тайными пожатиями рук. Заметно было, как они ревновали, страдали, ссорились и мирились, порой обнимаясь украдкой.

Михаил ухаживал за Настей, и мать одобряла его. Эта маленькая, востроносая приветливая девушка, ловкая что на работе, что на гулянье, была давно по душе Анне Михайловне. А ночное теребление льна прямо-таки растрогало Анну Михайловну. «Дай бог! — думала она. — Ладная пара... Лучшей снохи мне и не надо» И кснлась на Лизутку Гушину, которая молча, не поднимая глаз, как всегда, диковато отсиживалась в сторонке. Она редко принимала участие в забавах, не умела спорить и шутить, разве что бросала одно, другое слово, когда ее дожимали, и то невольно, заливаясь румянцем и усмехаясь уголками тонких, постоянно строгих губ. Но в играх она всегда выбирала Алексея, и он выбирал только ее, хотя никогда к ней не подсаживался и почти не разговаривал. «Экий сын каменный, не девка, — раздражалась Анна Михайловна. — Мать померла, а ей хоть бы что, шляется... Нечего сказать, по себе выбрал Лешка... и молчанку играть. Глаза бы мои на них не смотрели...

Ну, да рано об этом думать», — утешала она себя, наблюдая за молодежью.

Хорошо было также вечером, в праздник, нарядившись, пойти всем вместе в избу-читальню на собрание или, когда приезжала кинопередвижка, сестры рядышком и замечать, как смотрят в их сторону и шепчутся бабы, как проходит мимо Настя, чтобы поклониться ей, матери, показать, словно ненароком, обновку, а Лизутка не смеет, прячется в кути за подруг, как сыновьям смерть хочется подойти поболтать с девушками, но они стесняются матери и даже, когда она скажет: «Чего уж тут, идите... женихи!», они еще чуточку посидят, встанут, будто нехотя, и... пропадут до утра...

Много, много было приятного для матери. Она ждала зимы, нового дома, мечтала, как заживет в нем, просторном и светлом, с сыновьями, душа в душу, как загуляют они на беседах в свободные зимние вечера, а она, мать, досыта налюбуется ими.

*

Осень стояла на редкость долгая, ясная и тихая.

Затепо убралась с яровыми, отсеялись, выкопали картофель, подняли всю зябь, чего никогда не бывало. Живо измяли, отрепали лен и принялись за молотьбу. Дожди начались было в конце октября, но после праздников опять распогодилось, установились светлые короткие дни. Было так тепло, что голые ветви яблонь и черемухи выкинули пересцвет. Белорозовая дымка окутала сады и огороды, точно весной. И странно было видеть рядом с белыми, пенными яблонями огненно-золотую сквозную листву дремوتных тополей, осин и берез. Осинь пошла в трубку и с такой силой, что уж не рады были и колхозе долгому теплу, боялись, как бы не прибли зимой буйно разросшиеся посевы ржи и пшеницы. Поэтому все желало поскорей заморозков.

Они пришли, как всегда, неожиданно. После теплого, кроткого вечера и душной тихой ночи вдруг на поздней, багряной утренней заре побелели черные

крыши изб, амбаров, густо напудрилась луговина, и на дороге, в колеях, сковал лужи первый тонкий, прозрачный лед. Под яблонями и черемухами снежной пеленой лежали спавшие, свернувшиеся лепестки.

«Ну, дождались-таки... вот она, зима-матушка», — весело думала Анна Михайловна, затопив печь и выбегая к колодцу за водой, пожимаясь от холода и прислушиваясь, как поют под башмаками льдинки.

Солнце встало поздно, в тумане, с трудом согнало с крыш и земли морозное серебро, растопило льдинки, и скрылось за тучами. Молочно-голубая изморозь побиела над полями. Ветер принес с гумен сырой, горьковатый запах риг и овинов, взметнул, закружил вороха ржавой, потускневшей листвы, подмел начисто улицы и пошел гулять и насвистывать по селу.

Ненастье продержалось с неделю, а затем снова пернулось тепло. По утрам и вечерам были заморозки, но днем солнце пригревало, и разубранные, точно на свадьбу, безмолвно рдели леса. В сосновом бору стояла такая непостижимая тишина, что слышно было, как звенела хвоя, падая на землю. Торопливо, молча, пролетали в вышине запоздалые стаи журавлей. Все затаилось в ожидании. Не раз в утренники принимался кружить легкий и редкий, чуть видимый снежок. Он таял в воздухе, оседая на изгородях, жинные холодной матовой пылью.

А потом сразу, как это бывает после долгой погожей осени, навалило сухого снега, подморозило, и тогда установился хороший санный путь.

х

И не сбылось то, о чем мечтала Анна Михайловна. По первопутку неожиданно уехал Михаил в город, на курсы счетоводов. А в декабре колхоз послал Алексея в МТС учиться на тракториста. Осталась Анна Михайловна одна.

Когда она в первый день истопила печь и, садясь в непривычной тишине пить чай, поставила, забыв-

шись, на стол два стакана и потянулась, чтобы налить их, у нее онемела рука. Как всегда, kloкотал старий, в царапинах и язвах, с позеленелой решеткой, медный самовар. Голубой, с отбитым носиком, чайник был горяч, и на крышке его чернели обретенные чайники свежей заварки. Но этот горьковатый, крепкий, любимый ребятами чай не надо было наливать в стаканы. Холодные и пустые стояли они на столе под капающим краном самовара.

Мать убрала стаканы в «горку», налила себе чашку, да так и не выпила.

Она стала прибираться в избе, и на глаза ей все попадались то мятая, запачканная кепка Михаила с оторванным козырьком, сунутая за комод, то Алексеева недочитанная книга с загнутой страницей, забытая на лавке, то брошенные на кровать брюки. И, подбирая, мать подолгу рассматривала сыновние вещи, складывала, чистила и бережно прятала. Ей хотелось, чтобы этих разбросанных вещей было побольше, чтобы могла она целый день перебирать их и утешаться. Но, как ни тянула она, пришел конец уборке.

Тогда Анна Михайловна достала с божницы мужикин кисет, военные кресты, школьные удостоверения сыновей, колхозные трудовые книжки. Без счету раз все это было осмотрено прежде. Что ж с того? Каждый раз мать любовалась, как впервые, и непременно что-нибудь находила новое, раньше ею не замеченное. И сейчас, сидя у окна и тихонько разлюжив на коленях бесценные сокровища, она отыскиала в сборках, внутри кисета, заваливавшиеся крупинки махорки. Она собрала их вместе с зеленой пылью на ладонь и понюхала. Повеяло давно забытым теплым и сладко-зато-горьким дыханием. Так пахли усы мужа.

Ладонь ее задрожала, и, боясь обронить хоть одну табачинку, Анна Михайловна поскорей ссыпала махорку обратно в кисет, прижала его вытертый, чуть щекочущий бархат к губам. Да было ли это время — или только снилось ей?.. Глаза ее затуманились.

Она взглянула на удостоверения. Золото букв солнцем горело на холодной плотной бумаге. Имена сыновей, написанные синими чернилами, выступали круп-

но и ясно. Отметки были проставлены помельче и не так разборчиво. И хотя мать знала эти отметки наизусть, она поднесла поближе к глазам удостоверение Михаила. Соцдурившись, перечитала и обнаружила, что по географии и русскому языку отметки учителя вроде соскоблены ножиком и написаны заново чернилами посветлей.

«Обманул мать, — подумала она, качнув головой. — Баловство-то везде сказывается. Небось, Ленке соскабливать нечего, коли учился хорошо... Ну, бог с тобой, — вздохнула она, — лишь бы себя не обманывал в жизни».

Она листала книжки с знакомыми цифрами трудодней и не могла еще раз не подивиться, как много заработали сыновья за лето. Все эти палочки, крючочки, аккуратно проставленные рукой Семенова, как живые, рассказывали о пережитом. И снова вставала перед матерью страдная пора: росистые голубые утра — со звоном и свистом кос; знойные полдни — с червонным разливом льна, грохотом теребилки, жарким нехрапываньем коней; тихие вечера — с туманами, скрипом возов, песнями, усталым и веселым говором народа, возвращающегося с поля. И что тогда огорчало — теперь в памяти мелькало быстро, как бы сглаживаясь, забываясь, а что радовало — стояло и не уходило, оборачиваясь такими подробностями, которые тогда и не замечались вовсе, а сейчас вот припомнились, трогая сердце.

Книжка, сблудив, уронила что-то на кухне. Анна Михайловна пошла, чтобы посмотреть, и сразу ее окружили серый сумрак позднего зимнего утра, тягостная тишина пустой избы. Ей стало неважно, и она, шепнувшись, ушла из дому.

Потянулся день, длинный, как год. Она заглянула во двор, постлала корове свежей соломы, задала корму, принесла воды, запасла дров, провела поросенка, размела снег у крыльца. Походила, поискала, нельзя ли еще чего сделать, — и не нашла. Надо было возвращаться в избу, сидеть там в одиночестве и скуке. Она испугалась этого и побрела, увязая в сугробах, на одворину, к срубам, хотя знала, что Нико-

дим пятые сутки хворает, отделка дома приостановилась и делать ей там и смотреть нечего. Но она все же поднялась по широкой и звонкой, замороженной тесине, переброшенной с улицы в отверстие двери, походила по скрипучим, не сплоченным половицам с грудками стружек и нанесенного снега, потрогала ледяные, чисто выструганные переборки.

Все было так, как она желала: просторные сени, прируб, прихожая и кухня в два окна, с добротными еловыми перекладами под печь, большущая горница в четыре окна, отделенная глухой тесовой переборкой от спальни. До матицы не достанешь и с лавки, вот какой высокий потолок. А там еще светелка, что изба хорошая, и чердак — есть где белье посушить, разное старье положить.

Рыжий мох, затянутый паутиной иней, еще свисал по стенам. На козлах лежала шершавая, в сучках, доска, под ней, на полу, в стружках, валялся забытый Никодимом рубанок. Когяки в окнах еще держались на клиньях, не прилаженные как следует, но подоконники, желтые и гладкие, совсем были готовы, и такие широченные, хоть садись и пей чай, как за столом. Потерпеть до весны, в крайности — до лета, и дом будет отделан, можно переезжать, справлять новоселье.

Но и это не порадовало нынче Анну Михайловну. Она посидела на подоконнике, озябла и пошла к Семенову, в правление.

Здесь, как всегда, толпился народ, домовито пылала жаром изразцовая «голландка» — наследие ямщика Исаева, пахло табаком, кислыми шубами и залежалой бумагой. Со стен, оклеенных светлыми, еще не успевшими потемнеть обоями, глядели на Анну Михайловну знакомые портреты — под стеклом, в рамках, доска с вырезками газет и нарядами на работу, плакаты, барометр. В красном углу на венском стуле возвышался исполкинский восковой спон льна, к нему было приспичено бархатное, с золотыми кистями, переходящее знамя, завершенное колесом осецией. С этажерки, набитой книгами, кулечками, банками с семенами, удобрениями, свисал телефонный

шнур. Рядом, возле старинного, с резьбой, шкафа, блестел лаком новенький нескороаемый ящик.

Сочно стучал на счетах Гушин, приспустив на острый нос очки и строго косясь поверх их на Андрея Блинова, вычитывавшего по ведомости силным, простуженным голосом: «Тридцать два кила... еще подкинь сто восемь... долой пятьдесят четыре... Ну, и где же у тебя завалился мешок?» У окна, за столом, покрытым кумачом в чернильных пятнах и прожженных дырках, облокотившись на газеты и бумаги, беседовал Николай Семенов с незнакомым бородатым и толстым человеком, должно приехавшим из города. Николай был по-домашнему — без пиджака, в коричневой косоворотке. По обыкновению, он все видел и все слышал. Он кивнул Анне Михайловне и, продолжая беседу, сказал приезжему: «Нет, это не выйдет», обернулся и спросил Блинова: «Сколько, говоришь, нехватает?»

На диване и стульях сидели, дожидаясь своей очереди к председателю, колхозники, сдержанно разговаривая и покуривая. Спинной к печке стоял и грелся Петр Елисеев, окруженный бабами, и, как всегда, бранил кого-то.

И этот обжитой порядок, тепло, зеленый душистый дымок махорки, говор народа сегодня особенно пришлись по душе Анне Михайловне.

— Мешок — не иголка, пропасть не может. Где же оно, брагинское семя? — допытывался Блинов, сия и покашливая.

Савелий Федорович раздраженно смешал костяшки на счетах.

— Что было, все тут. Записано в ведомости.

— А кто писал?

— Ну... я. А ты подписывал как председатель ревизионной комиссии. Забыл?.. Да что ты, не веришь мне?

— Я себе верю... Мало ли что в спешке подпишешь. У меня, чай, память не отшибло. И Стукова вот подтвердит. Скажи-ка, — обратился Блинов к Анне Михайловне, — сколько мы в новый сусек «брагинского» засыпали?

— Восемь мешков, — сказала, подумав, Анна Михайловна.

Андрей швырнул ведомость Гущину.

— Семь... У тебя, чортов завхоз, семь! — просипел он, задыхаясь, и стал торопливо кутать простуженное горло шерстяным жениным платком. — Сей момент идем в житницу проверять... сей момент!

— Это что... ревизия? — спросил Гущин, вставая.

— А хотя бы и так, — ответил за Блинова Семенов, не прерывая своей беседы с приезжим.

Савелий Федорович оглянулся, снял очки, старательно протер их рукавом и, пряча в карман, сказал:

— С полным нашим удовольствием. Давно о том прошу.

Обходя Анну Михайловну и Елисеева, который примолк и насупился, Савелий Федорович подмигнул им, как бы извинительно заметил:

— Беда с неграмотным народом. Навывдвигали разных... ревизорами. Путаются и других со счету сбивают.

Анна Михайловна и раньше слыхала от баб, что Гущин нечист на руку. Поговаривали, правда, заглаза, будто не один воз пшеницы утплыл из колхозных амбаров на базар, что не зря гоняет косоглазый по два раза на неделе в город и все затемно, словно боится, как бы кто в телегу к нему не заглянул. Гляди, и семенной овес он променял весной на гнилье, а барыш на книжку положил. И не зря, бесстыжая харя, сорочин по жене не справив, зачастил на станцию к вдове Аняте. Дочери взрослой не стыдно, жениться задумал, приданое толстомясой шинкарке копит. И сенцом в открытую торгует, денежки на свадьбу копит. Откуда у него лишки сена? Уж не из тех ли самых копен, что пропадают каждый год с волжского луга?

Многое болтали, да, пожалуй, больше от зависти. На проверку все гладко выходило у Савелия Федоровича, даже Семенов придрататься ни к чему не мог. И когда перевыбирали правление и Савелий Федорович, по обычаю, долго и решительно отказывался от своей должности, говорил, что хватит, послужил на-

роду, пусть теперь другие, помоложе, так постараются, — все вдруг вспомнили, как просился он в колхоз, старой жизнью каялся, дом отдал, как потом не жалел себя на работе, и, не слушая Семенова, опять выбранили Гущина завхозом, а он, перестав отказываться, кланялся и благодарил за доверие. И все видели, как он старался пуще прежнего, и не велика беда, ежели он когда ошибался, — с кем не бывает. Вот и Анна Михайловна, рассудив здраво, простила ему поклеп на сына: известно, вгорячах да жалея колхозное добро, чего не скажешь.

— Проворовался-таки завхозишко, — брезгливо сказал Петр Елисеев.

— Не может этого быть, — Анна Михайловна покачала головой.

— Все может. Старая шкура сказала, — убежденно откликнулся Семенов, поднимаясь из-за стола и не слушая больше приезжего, который рылся в портфеле, настаивая требовательно и внушительно на чем-то своем. — Накрыл, накрыл дядя Андрей... молодец! — Семенов закурил, позвал к себе дожидавшихся колхозников и, прямо и твердо взглянув в глаза приезжему, отрезал: — Кончим, товарищ. Нельзя.

— Это установка вышестоящих организаций, — напомнил тот, пыхтя и наливаясь гневом.

— Резать молодняк? Нет такой установки.

— Не резать, а... продавать.

— Племенной — на мясо, — добавил Семенов.

Задирая бороду, приезжий тяжело поднялся со стула, угрожающе потряс портфелем.

Самоуправство... У меня план... Я буду жаловаться!

— На здоровье, — сказал, усмехаясь, Семенов, помог ему хозяйски аккуратно собрать в портфель бумажки и, сразу как бы забывая это решенное дело, стал разговаривать с колхозниками.

Костя Шаров и Катерина, наряженные, розовые и застенчивые, пришли звать на свадьбу. Николай поздравил их, пошутил, обещал быть и распорядился, чтобы им дали в счет трудодней хлеба и денег на обзаведение.

Петр Елисеев спрашивал, сколько лошадей посылать на лесозаготовки. Требуют четырнадцать, да надо ведь перевозить сено и яровицу, опять же черед колхозу в пожарном депо дежурить, и, признаться, ему жалко новых подсанок, не занять ли в соседнем колхозе? Семенов сказал, что жадничать нечего, подсанки Никодимом как раз и припасены для лесозаготовок, с яровицей можно повременить, сенцо — корзинками перенести, и приказал отправить в лес двадцать подвод.

Марья Лебедева плакала, жалуясь на сноху. Негодяйка совсем выжила ее, старуху, из дому: к печи не подпускает, корову сама доит, белье постирать, и то напростишься; а сынок, нечего сказать, утешает: «Маменька, не волнуйтесь... дайте молодым дорогу». Окаянный, да кому же она дороги не дает?..

Почтальон, сердито похлопывая клюшкой по клеенчатой тугой сумке, рассказывал, что с подпиской на газеты — беда, одного номера лишнего не выпросишь, потом наклонился к Николаю Семенову и тихо сказал, что Гущину опять письмо с Урала, смотри, уж не Исаев ли ему поклоны шлет.

Антон Кузнец вытащил из-под шубы загнутые, как рога, железные сошники от сеялки, они не подходили к новой, шестнадцатирядной, и он спрашивал, как ему быть.

«Вот и научился ходить Коля... не споткнется. Хозяин, — думала Анна Михайловна, входя в интерес всех этих больших и малых дел, жалея Марью Лебедеву, понимая Елисеева, который опять уговаривал председателя занять подсанки, и радуясь за молодых Шаровых. — А про Савелия Федоровича он зря говорит. Ему своего добра не пережить. Да и как можно, колхозное... Рука отсохнет, не поднимется».

Когда Семенов освободился, она попросила:

— Дай ты мне, Коля, дело... хоть самое махонькое.

— Отдыхай, Михайловна. Зима. Все передслано.

— Да я уж наотдыхалась по самое горло.

— Скучаешь? — понимающе спросил Николай.

— Не по кому мне скучать, не молоденькая,—су-
рово ответила Анна Михайловна. — Безделья не
люблю.

Семенов, улыбаясь, посмотрел в окно.

— Будь по-твоему, — согласился он. — Иди на
скотный, дояркам подсобишь. Отел начался.

— Ну и спасибо, — оживилась Анна Михайловна,
повязываясь шалью и собираясь сейчас же итти ту-
да. — А Милка отелилась? Нет? А Звездочка?.. Те-
лушку приму, помяни слово, телушку. У меня рука
легкая, счастливая...

В дверь просунулся Блинов и, напуская стужу, рас-
терянно просипел:

— Целехонько... Восемь, скажи на милость.

Семенов, помолчав, сказал:

— Не успел украсть. А ты уж, поди, извинялся,
кланялся!

— Как же? — смущенно пробормотал Блинов, по-
кашливая. — За-зря человека оскорбил. В таком разе
не грех, Николай Иванович, и шапку сломать, изви-
ниться.

— Поторопился...

— Будет тебе не дело говорить, Коля, — остано-
вила Анна Михайловна.

— Говорю вам, обманывает он нас, — жестко и
ясно ответил Семенов, сдвигая брови. — Закрой дверь,
Блинов, побереги горло... Долго ловлю я эту скольз-
кую сволочь, но таки поймаю... с поличным.

XI

Никогда Анне Михайловне не казалось зима та-
кой длинной, как в этот год.

Днем, за работой, на людях, Анна Михайловна
забывалась и не чувствовала одиночества. Беломордая
очкастая Звездочка, любимица и гордость доярок,
записанная в государственную племенную книгу, как
сказала Анна Михайловна, принесла телочку — да
какую: крупную, с очками, в черно-белой аккуратной

рубашке, чистую ярославку. Корова давала за удой в сутки по двадцать литров молока, а потом, раздвинувшись, еще прибавила. Анна Михайловна упросила Ольгу Елисееву, заведывавшую с осени фермой, разрешить ей ухаживать за Звездочкой. Любо было растирать тугое розовое, свисающее до соломы, вымя, слушать, как поют в ведре первые тонкие струнки молока, а подоив и отцедив лишек, нести дымящуюся лохань телушке и с пальца поить ее молоком. Только два дня захлебывалась и сосала палец телушка, а потом, солощая¹, понятливая, сама стала совать белую морду в лохань и тянула до последней капли, широко и смешно раздвинув в стороны тонкие, непослушно качающиеся ноги и приподняв черную кисточку хвоста. А скоро научилась и мычать, выпрашивая прибавки. Посоветовавшись с Ольгой, Анна Михайловна назвала телушку по отцу — Умницей, так и записали в книгу, и дощечку с прозвищем повесили на загородку.

Но смеркалось рано, вот уж и подоена Звездочка, корм ей выдан, подстилка свежая настлана нагусто, и Умница напилась парного молока, пожевала и набаловалась гороховиной и улеглась, вот и дежурные доярки пришли на ночь с фонарями, лепешками и рукодельем, — надо итти домой.

Вечера были особенно тяжелы Анне Михайловне. Она пробовала, управившись по хозяйству, не зажигая огня и часто не ужиная, ложиться спать. Сон приходил сразу, с усталости крепкий, но к полуночи Анна Михайловна высыпалась досыта, вставала, зажигала лампу, бродила по избе, выискивая какое-нибудь дело, и, не найдя его, опять ложилась и, ворочаясь с боку на бок, мучительно ожидала рассвета. И то, что днем, на работе, забывалось, в бессонницу не выходило из головы, и она думала все об одном и том же:

«Только подросли — и на сторону. Скажи, как и не было их, опять мать осталась одна-одинешенька... И что им надо? Кажись, выучились, в люди вышли...

¹ Солощая — охотная до еды.

Не старое время — на чужую сторону с голодухи бежать. Слава тебе, всего довольно... Ну и живите на здоровье с матерью, работайте, веселитесь, старость ее утешайте».

Так думалось в холодной и черной ночи, и словно бы правильно думалось для их же, ребят, счастья. Но тут против воли вспомнилось — не у нее одной сыновья в отлучке, у многих разлетелись кто куда: на поваров, на инженеров, на командиров учатся. Лестно. Плохого ничего не скажешь. И народ везде нужен, такая жизнь пошла, это она тоже понимает. Да вот матерям-то каково? Торчи на печи, разговаривай с веником.

«Вон Костя Шаров не хуже вас, а по курсам разным не шляется, — хваталась она, как за соломинку. — Женился и живет... Поди, скоро внучатами потешит мать. Худо ли?»

И она видела маленький смеющийся рот, зубок торчал во рту, как кусочек сахара, видела пухлые, точно перевязанные ниточками у локотков и ладошек, ручонки — они теребили ее за волосы, за нос, и, склопившись, она щекотала подбородком теплую белую шейку.

Ну, ладно, — говорила она, ворочаясь. — Женить вас рано. И курсы, леший с ними, не на всю жизнь, вернетесь... Да надолго ли?

Сердце замирало от такого вопроса. Анна Михайловна старалась не отвечать себе, торопясь, думала про другое, что вот и писем нет, строчки за месяц не написали: живы, здоровы ли, как кормят? Не грех бы и навесить родную мать. Чай, выходные бывают. Чем каблучки сшибать по городу, взяли бы да и промялись, прошли осьмнадцать верст — долго ли молодым, вроде прогулки... И что это не светает, не пора ли печь затоплять? Нет уж, ни за что она не ляжет еще раз так рано; все бока отлежала, и на сердце нехорошо.

Она шла вечерами в читальню или посидеть к кому-нибудь из соседок, где ребят было побольше.

А однажды, под воскресенье, промаявшись ночь, поднялась Анна Михайловна раным-рано, напекла пи-

пирогов, сдобнушек, яиц сварила, намешала из топленой сметаны масла и, взяв в колхозе лошадь и попрощав Дарью приглядеть за домом, съездила к ребятам в город и потом долго вспоминала, как обрадовался Михаил, как уписывал пирог и сдобники, а поев и расспросив о новостях, взял коньки и ушел в городской сад, торопливо попрощавшись с матерью; как насилу разыскала она в гараже МТС Алексея, грязного, в масле и копоти, — он не удивился и не обрадовался, словно они и не расставались, но тотчас увел в общежитие, помылся, переоделся, напоил чаем, молчал и слушал мать, а когда она собралась домой, не отпустил, уговорил переночевать. Он уступил ей свою койку, а сам лег с товарищем, и под утро, когда в общежитии выстыло, мать слышала, как он тихо поднялся и укрыл ее своим пальто. И за одну эту минуту, когда он на цыпочках, босой и очень высокий в предрассветном сумраке, подошел к ней, и, стараясь не дышать, чтобы не разбудить, укутал ей ноги, за одну эту минуту она согласна была жить в одиночестве сколько надо для сыновей. И, согревшись, засыпая, она подумала, что, должно быть, вот из таких минуточек и складывается материнское счастье.

XII

Прошли январские морозы, переломилась зима, отгуляли-отплакали докучливые вьюги, и дел Анне Михайловне прибавилось, некогда стало много раздумывать. А там и весна грянула, и с первыми ручьями привел Алексей в колхоз трактор. Посветлело и потеплело в старой избе. Скоро вернулся и Михаил с курсов: подмышкой премия — хромовый портфель и счета с желтыми новыми костяшками, — тут вовсе повеселело в доме.

— Как делишки, товарищ тракторист? Не угостить ли вас орехами, чтоб не пахали вы с орехами? — подтрунивал Михаил над братом. — Сколько изволили подшпилиничков сналить?

— Пока ни одного.

— Что ты говоришь? Гм-м... Слушай, а кто это в вашей бригаде целый день трактор заводил, не знаешь? — вкрадчиво спрашивал Михаил, весело жмурясь. — Будто бы вертел, вертел, живот надорвал, а машинка — ни тпру, ни ну... Вызвали механика, прикатил тот вечером на велосипеде. «В чем дело?» — «Трактор сломался...» Осмотрел механик — все в порядке. Что за оказия? Потом глянул случайно в радиатор, а там... воды нет. Знакомая история?

— Выдумывай... — бормотал Алексей, посапывая и краснея. — И вовсе не так дело было.

— А похоже? — не унимался Михаил, покатываясь со смеху.

Анна Михайловна, усмехаясь, качала головой. Алексей взглядывал на мать, хмурился и ворчал:

— Ладно, ладно... Расскажи-ка, главбух, много ли ты нашелкал.

— Десять лет строгой изоляции.

— Не смей так говорить, — сердито обрывала мать. — Болтай, да меру знай. Еще неизвестно, что ревизия покажет.

Ревизия, назначенная Семеновым, много попортила крови Анне Михайловне. Савелий Федорович притащил в избу корзинищу бумаг и каждый вечер приходил с Андреем Блиновым к Михаилу. Они раскладывали бумаги по лавкам и на полу — прямо ни пройти, ни сесть, считали и пересчитывали, стучали на счетах до поздней ночи, не давая спать.

Критицизм и ведомости за первый год сходились как быть следует. Задержалась ревизия на документах второго и третьего года. Но, видать, по пустякам, потому что Савелий Федорович был ласков и весел. Скосив острые глаза и царапая стриженный затылок, он подшучивал, что не миновать ему казенных харчей, насчитает Мишутка утруски и усушки годков на пять с гаком. Придется на старости лет на курорт заглянуть, уж если не в Крым, так в Нарым обязательно. Видать, не пожалеет... будущего родственника.

— Дадим, дадим путебочку, папаша, не волнуйтесь, — в тон ему отвечал Михаил, копаясь в пыльных выцветших бумагах. — Международный вагон

прямого сообщения... с решеткой. — Он придвигал к себе поближе лампу, рассматривая квитанции. — Кто же денежные документы простым карандашом пишет?

— На морозе, Миша, чернила стынут. Закон природы.

— А химическим?

— Под рукой не было.

— А резинка, по закону природы, всегда под рукой?

Савелий Федорович таращил круглые, переставшие косить глаза. Он улыбался кротко, непонимающе.

— Какая резинка?

Михаил, насвистывая, рассматривал квитанцию на свет, потом передавал Андрею Блинову.

— Бумажка... протерлась,—нерешительно говорил тот.

Щурясь, Михаил поправлял:

— Протерли.

С лица Савелия Федоровича сползала улыбка, зрачки сбегались к переносью. Высоко, так знакомо Анне Михайловне, вскидывал Гушин голову.

— Ты, парень, говори, да не заговаривайся,—строго напоминал он. — Может, я где пуд-другой и не довесил или перевесил, с кем греха не бывает... Но чтоб копейку... Ты эти штучки брось!

— Есть бросить эти штучки, — откликался, посмеиваясь, Михаил, прятал квитанцию в свой хромовый портфель и защелкивал замок.

А Савелий Федорович еще выше поднимал белобрысую голову и, заложив руки за спину, расхаживал по избе петухом. Анна Михайловна с печи смотрела, как шевелятся и сжимаются за спиной Гушина коротышки-пальцы, как косят и ничего не видят его бычьи, налитые кровью глаза, судорожно дергается верхняя, презрительно оттопыренная губа, обнажая редкие крупные желтые зубы.

«Как у лошади...» — с неприязнью думает Анна Михайловна, и ею овладевает непонятное враждебное чувство к Гушину. Ей кажется, что давно это чувство

жило в ее сердце, Анна Михайловна подавляла его, а оно росло, и вот нет больше терпения, оно поднимает ее с печи, заставляет говорить. Она открывает рот, но слов нет, одна злоба. И она кричит другое, совсем другое, и не Гушину, а сыну:

— У меня не контора... Идите в правление и торчите там хоть до утра... Третью ночь без сна. Убирайтесь!.. Пылищи от ваших бумаг — дышать нечем.

Так и прогнала из избы. Перебралась ревизия в правление. Было это в субботу.

А в воскресенье вечером шла Анна Михайловна на гулянку, посмотреть на сыновей, и видела, как шлялся по-за гумнами горбатый такой человек. Он показался ей знакомым или похожим на кого-то, но она никак не могла припомнить — на кого. А потом она забыла про горбатого, не до того было, загуляли ее ребята по-настоящему, молодцами, и она торопилась посмотреть.

Гулянка была на спортивной площадке, у школы. Окруженные бабами и ребятишками, расхаживали по площадке принаряженные девушки и, взявшись за руки, распевали песни. И звонче всех, приятнее всех выделялся голос Насти Семеновой. Парни стояли поодаль, возле гармониста. Анна Михайловна постеснялась сразу посмотреть туда, но она чувствовала — сыновья ее там. Она подошла к бабам, поздоровалась, бабы потеснились, и она стала смотреть и слушать девушек.

Насти была в красном шелковом платье, как цветок. Лизутка Гушина — в белом кисейном, надетом на розовый чехол, обе в носочках и туфельках-лодочках. К Насте шло все — и складочки на груди, и рукава модными пузырями, и клетчатые носочки на смуглых ногах, и крохотные туфельки под цвет платья. Она первая поклонилась Анне Михайловне, а Лизутка только оглянулась. И кисея на той висела, как на доске, бант сзади приляпан. Такой голенастой, длинноногой не носочки носить и лодочки, а русские сапоги с портянками. Анна Михайловна отвернулась.

Заиграла гармонь, парни, докуривая папиросы, медленно, как бы неохотно, потянулись к девушкам,

приглашать на танцы. И тут Анна Михайловна увидела сыновей и чуть со стыда не сгорела:

«Не переоделись... Ах, бесстыдники!»

Действительно, Михаил был в будничной майке, заправленной в брюки, и в тапочках на босу ногу. Алексей — в косоворотке, простых сапогах и кожанке внакидку.

«Вот и сряжай их... А они на первое свое гулянье как на работу вышли. Еще люди добрые подумают, что и надеть нечего... Срам, срам!» — гневалась мать и хотела от стыда уйти, но гармонист заиграл, и она на недолечко осталась.

Все, все было не так, как она желала и представляла себе. Парни не ударили каблуками, не хлопнули в ладоши, не закружили девчат. Они медленно протянули им руки и, прямые, неловкие, точно связанные, не сгибая в коленях ног, зашагали по площадке журавлями.

— Это что же... танец такой? — шопотом спросила Анна Михайловна у баб.

— Заграничный... Ш-ш-ш!

— Заграница! — фыркнула Анна Михайловна. — Гармонь воеет, а они, что землемеры, аршинами землю меряют. Велика охота!

Но вот гармонист заиграл другое, торопливое, порывистое и опять ни на что непохожее. Парни и девушки смешно засеменили, завертелись, выкидывая ноги, того и гляди, коленками друг друга ткнут.

— Прежде так не плясали, — проворчала Анна Михайловна, обиженная в чем-то самом дорогом, и собралась уходить. — Смотреть противно...

Она пошла домой, но гармонь вдруг грянула знакомую плясовую, и Анна Михайловна поневоле вернулась и увидела, как Михаил, подтянул брюки, потер ладони, ударил ими, свистнул и вылетел на середину площадки. Он пролетел на носках по кругу, выбил дробь остановился перед Пастей, нагнулся, треснул ладонями по коленям и призывно отступил. Пастя чуточку помедлила, потом выступила вперед, повила плечами и поплыла, как лебедь, по кругу. Михаил метнулся за ней вприсядку...

Вот это была пляска, так пляска!

И не беда, что Михаил был в старой майке и тапочки сваливались у него, он и босыми подошвами выстукивал так, словно на току в семь цепов молотили. Славные он выделял коленца. У него плясало все — ноги, руки, плечи, глаза. И подстать ему была Настя, ловкая и красивая.

Когда они устали, на смену им вышла вторая пара, третья. Потом Михаил взял гармонь и заиграл кадрили, и Алексей, не танцовавший еще, пригласил Лизутку, и они, высокие, ровные, тоже ладно кружились, не так, как Михаил с Настей, но все же не плохо, приятно было посмотреть. И бант у Лизутки вроде как бы к месту, и платье сидело хорошо, и ноги были совсем не длинные.

Насмотревшись, довольная Анна Михайловна пошла домой. Но спать ей в эту ночь не пришлось. Загорелись исаевский амбар с хлебом и правление колхоза. Амбар отстояли, а контора сгорела дотла. Когда народ расходился с пожарища, Семенов задержал возле своей избы чужого человека. Тот бросился было на него с ножом, но откуда ни возьмись подоспел Гуцин, нож отнял, помог связать. Разглядели — Исаев, одет хорошо, а пьяный и вовсе горбатый.

«Так вот кто шлялся вечером по-за гумнами», — сказала себе Анна Михайловна.

Разговор с ним был короткий.

— Ты поджег? — спросил Семенов.

— Хотел, да кто-то до меня постарался, — криво усмехнулся Исаев.

Его увезли в город.

А утром Савелий Федорович ходил по селу и хвастал, как он спас от верной смерти председателя колхоза. Заглянул Гуцин и к Анне Михайловне, пожаловался:

— Не кончить нам ревизии, Мишутка... Грех-то какой вышел, а?

— Кончим, — сонно и вяло ответил Михаил. — Часок сосну, и за дело примемся.

— Да ведь сгорели документы, чудак.

— Ну, зачем им гореть. — Михаил зевнул. — Я документы дома храню. Вон, под кроватью лежат.

Савелий Федорович страшно обрадовался и долго благодарил Михаила.

Но ревизию Михаил все-таки не успел закончить. В полдень Гущина арестовали.

XIII

Как ни ловчился Никодим, постройку дома он затянул до осени. Старость брала свое. Никодим частенько прихварывал, хотя и храбрился. Впрочем, и это было кстати, потому что отделка избы, прируба, крыльца и светелки потребовала такую уйму денег, что, не подвернись годовалый бычок и заработок Алексея, пришлось бы Анне Михайловне изрядно занимать в колхозе.

Алексей заработал в МТС деньгами, хлебом и все до копеечки, до последнего килограмма отдал матери. Не так поступил Михаил. Еще до распределения доходов в колхозе он зачастил в кооперацию, тайношественно шептался с заведующим и однажды приволок баян, стоголосо развернул его рябые необъятные мехи, ловко пробежал пальцами по перламутровым пуговкам и рванул «барыню».

— Вот тебе, Михайловна, музыка... чтоб в новом дому не скучно было.

Мать раскричалась, поплакала, а когда от сердца отлегло, подумала: «Да пес с ним, баловником. Извернись как-нибудь... Пусть тешится, коли охота есть».

Она еще для прилику покосилась и поворчала с педелью на транжиру-сына, а потом как-то вечером, когда взгрустнулось, попросила сыграть свою любимую «У меня, у молоды, четыре кручины».

Михаил не знал песни. Она напела мотив, как умела, сын быстро и верно подобрал голоса, от себя прибавил печальные переборы и, усмешливо и с любовным поглядывая на мать, так сыграл, что она простила ему эту дорого стоящую покунку.

Перебирались в новый дом в сентябре. Ребята живо перетаскали на улицу лавки, комод, стол, кровать, одежду и горшки. Все не ушло на один воз. Кажись, и не много было добра в старой избе, а как вынесли, вытряхнули, набралось порядочно, не считая мешков с хлебом, ларей и кадок. Анна Михайловна подобрала каждую тряпку, каждый черепок, повыдергала гвозди из стен, даже облезлый веник прихватила — в новом хозяйстве все пригодится.

Она не пустила сыновей сразу в новую избу, а, по обычаю, отнесла туда сперва кошку.

— Иди с богом, живи,— сказала она, сажая кошку на порог в прихожей.— Тут гнездо твое.

Кошка мяукала, царапалась и рвалась в дверь, на улицу.

— Полно, глупая,— уговаривала ее Анна Михайловна, присев на корточки и лаская.— Обнюхаетесь, поди как хорошо будет. Ну, иди же!

Кошка долго не решалась переступить порог, но сидела уже смирно, а потом, точно послушавшись хозяйки, выгнула горбом спину, потерлась о подол, мурлыкнула и тихо скользнула на пол. Медленно переступая, наострив уши, она обошла прихожую, кухню, заглянула в зал, вернулась и прыгнула на печь.

— Ну вот и нашла свое место,— усмехнулась Анна Михайловна.

Когда все перевезли и перетаскали, расставили и развесили, Анна Михайловна прошлась по гулкому полу, огляделась, потрогала бревенчатые, с янтарными вкраплениями смолы, стены — и не почувствовала радости.

Пустовато...— вздохнула она,— все какое-то чужое... холодное.

Она украдкой вернулась в старую избу. Печь зияла черным открытым устьем, слабо синели вечерним тихим светом оконца, паутина висела в красном углу, там, где была божница; на полу, в мусоре, валялась оброненная вилка. Здесь, в старом доме, тоже было пусто, но пахло еще жильем.

Анна Михайловна подняла вилку и, усталая, грустная, постояла немножко посредине избы.

«Ломать неохота, а придется... И ничегошеньки не останется от прежней моей жизни,— подумалось ей.— Не сладко было, а все-таки жалко чего-то... Век прожила, легко сказать... Ну, ладно, видать, к новому дому надо привыкать».

Она заглянула в чулан, сняла с гвоздя забытый платок; пошарила по углам, не завалилось ли еще что путное, спустила по привычке щеколду на двери и вышла двором на улицу. Она шла переулком к новой избе и все оглядывалась.

— Ничего, так надо, так надо,— говорила она себе, плотнее сжимая губы.— Свыкнусь... радоваться должна, а не плакать.

XIV

Новоселье справляли в октябре, в первое воскресенье.

Еще за неделю до праздника Анна Михайловна приготовила солод и в субботу сварила корчагу пива. Сусло вышло крепкое, темное и такое сладкое, хоть не клади сахара. Положили в сусло дрожжей, хмеля, изюму и, заткнув плотно кувшины, поставили пиво на печь — бродить. Из кооперации Анна Михайловна принесла селедок, рису, конфет, малосольного судака, круг колбасы, красивую, конусом, бутылочку рябиновки и две литровки мужицкой благодати — русской горькой. Ребята зарезали барашка. Анна Михайловна вымыла белый, еще не успевший пожелтеть пол, постлала дерюжки в прихожей и в зале, в спальню половиков не хватило, протерла мелом стекла в «горке» и окнах, начистила кирпичом старый самовар, растворила пшеничное тесто, прибралась в новой избе и так уходилась-убегалась за день, прямо не помнила, как и добралась до постели. А главная стряпня была впереди.

Раным-рано встала в это утро Анна Михайловна. Впотьмах торопливо пошла на кухню. Не привыкнув еще к новой избе, натолкнулась на табуретку, зашибла коленку и не сразу нашла дверь из спальни.

— Заблудишься... дворец и есть, — бормотала она, потирая ногу, досадуя и усмехаясь.

Зажгла лампу, быстренько подоила корову, принесла дров и, готовясь к стряпне, впервые по-настоящему оценила просторную кухню, шкафчик, полочки, широкий, точно стол, шесток — все эти неведанные ею маленькие бабьи удобства. Можно было ворочать клюкой и ухватами, не боясь, что в окно заедешь, есть место, где квашню поставить и пироги развалить.

— Подсобишь, что ли... обещал? — шопотом побудила мать Алексея.

— А? Чего? — тревожно откликнулся он, поднимаясь на локти, таращась на свет и не понимая ничего со сна.

— Говорю — подсобишь али не выспался?

— Подсоблю, — сипло ответил Алексей, приходя в себя.

— Может, и мне... дельце какое... найдется? — спросил Михаил, зевая и потягиваясь.

— Найдется, — добро сказала мать, — делов прорва, не знаю, как и управиться... Вставай.

Втроем принялись они за стряпню. От Михаила, впрочем, помощь была невелика. Он больше работал языком и все пробовал, что подвертывалось под руку, — студень, изюм, сдобное тесто, даже от малосольного судака, который с вечера мокнул в воде, отрезал кусочек, пожевал и выплюнул.

— Одна соль... не соответствует своему названию.

Зато Алексей старался и, помалкивая, так быстро и круто замесил тесто для пирогов, что вызвал одобрение матери.

Жена с тобой не пронадет.

Вот еще... Я и не женюсь... больно нужно, — пробормотал, розовея, сын.

— Сказывай... Не вижу я, кто по десять раз на день мимо окошек пробегает.

— Мало ли народу по дороге ходит! Не запретишь.

— А надо бы... В отца, даром что не косая, — проворчала мать. — Экое золото нашел!

— Отец тут ни при чем, — буркнул Алексей, отворачиваясь.

— Одна порода — и слава одна... Стыда у ней нет, чисто камень, а не человек. Перебралась к тетке, и горюшка мало.

— Не каждое горе со стороны видно, — не сдавался сын.

— А и таить-то нечего, один срам, — отрезала Анна Михайловна. — Другая бы на улицу не показалась. А ей хоть бы что, стриженной... Знай шляется под окошками.

— Правильно, правильно, Михайловна. Я ее вот как-нибудь по длинным ногам поленом угощу, — отозвался Михаил, ловко переводя разговор на шутку.

— Ты Настю угости. Она всю воду у нас в колодце вычерпала... тебя по вечерам поджидая, — оборонялся брат.

— Что ж, Настя — девушка симпатичная, передовая. Я ее в комсомол рекомендовал. Поленом-то крестницу словно бы и неловко... не по уставу, — отшучивался Михаил. — Нет, ты послушай, Михайловна, — болтал он, — иду я третьего дня из конторы, подзапоздал, темно... Подхожу к дому и слышу — за углом шебаршит. Не иначе, думаю, Строчихина корова, шатунья, мох рогами ковыряет. Ну, постой, думаю, задам я тебе. Снимаю ремень, подкрадываюсь... И только собрался огреть, вдруг корова-то и заговорила человеческим голосом: «Ах, Леня, говорит, поедешь в город, на завод — и я с тобой. Страсть хочу инженером быть». А он, наш Леня, корову-то... извиняюсь, будущего инженера — чмок, чмок.

— Это еще какой завод? — Анна Михайловна нахмурилась, пытливо взглядывая исподлобья на Алексея.

— Не могу знать, — ответил Михаил за брата. — Должно быть, машиностроительный. Алексей Алексеевич спит и видит себя механиком.

— Никуда я вас не отпущу, — сурово сказала мать, — и не выдумывайте.

— И не отпуская Ленку, обязательно не отпущай, — со смехом подхватил Михаил. — Уедет — копейки не прийдет. Всю выручку на Лизонку потратит. Как же, элеватор, прямо сказать — небоскреб. Которая

на платье и тремя метрами обойдется, а ей все пять да пять... Я бы запытился от такого крепдешина. Я, например, как кончу летнюю школу, первое свое жалованье...

— На велосипед,— подсказал брат.

— Нет, иду на почту и посылаю Михайловне...

— Баян в подарок.

— Ну, будет вам, замолоти мельницы,— сказала, посмеиваясь, мать. Раскрасневшаяся от огня, она легко подняла на шесток чугунок с водой, прихватила тряпкой кринку с убежавшим молоком и заодно посмотрела румянившуюся на сковороде баранину.— Скоро ли картошки начистишь, летун еропланый?

— Сию минуточку. Кстати, Михайловна,— вкрадчиво сказал Михаил, не спуская глаз с печи,— пивко-то надо бы исследовать... не скисло ли. Разрешите навести пробу опытному лаборанту. А с чем у нас сегодня лапша будет?

Анна Михайловна уронила кочергу.

— Ай, батюшки! Про лапшу-то я и забыла. Пес ее задержал!.. Ведь с курицей хотела.

— Которой прикажете свернуть головку? — живо спросил Михаил, хозяйничая на печи с кувшином.— Пивцо в самый аккурат, злое, в нос бросается. Чистая брага... прсбуйте, пока не заткнул... Хохлушку или Чернуху резать? Можно обеих.

— Бессхвостую, ее самую, Чернуху,— распорядилась мать: — корм жрет, а яиц от нее не видывали... Да, как опалишь курицу, сбегай к Никодиму,— наказывала она, расторопно управляясь разом с несколькими делами,— стол попроси, скамей парочку, посуды там... Скажи Никодимушке, чтоб приходил уж непременно, и зятя зови... Беда, сгорят у меня пироги, не знаю, как печет белое новая печка. И дров, кажись, чуть подбросила, а жару хоть отбавляй. Почернеет в уголь баранина... И тесто не поднимается, фу ты, пропасть!

Но все шло хорошо, все сегодня удавалось Анне Михайловне. Она ворчала и волновалась, а баранина румянилась себе да румянилась, плабая на сковороде

в жиру и соку, и тесто для пирогов поднялось во-время белой шапкой над квашней, пышное, сдобное, и студень был крепкий, хоть ремни из него режь, и пиво чуть не вышибало из кувшинов.

«Никогда у меня еще не бывало такого праздника. Только бы перед гостями не осрамиться»,— думала Анна Михайловна, летая по кухне в приятных хлопотах.

Шаркая обсоюженными валенками; в избу влез Ваня Яблоков, с порога вобрал дрогнувшими ноздрями аппетитные запахи и, не снимая шапки, только поправив ее, громко и весело заговорил:

— Иду мимо— гляжу, дым из трубы валит, прямо как на фабрике... и огонь во все окна полыхает. Уж не пожар ли, думаю, в новом доме, дай проведаю. Зайду... Здравствуйте! Жару тебе в печь... с новосельем, Анна Михайловна!

— Спасибо, Ваня, — ласково отозвалась Анна Михайловна и, понимая, что означает это раннее посещение, оторвалась на минутку от печки и поднесла стопочку.— Выкушай.

Яблоков изобразил на лице полагающееся в таких случаях изумление:

— Что ты, Михайловна, да разве я за этим!.. Я так... вижу, дым больно валит, дай думаю...

Но рука его, не слушая хозяина, уже приняла и бережно держала стопку. Яблоков покосился на стопку, точно удивляясь, откуда она взялась, хотел еще что-то сказать, но стопка сама опрокинулась в рот. Ваня сладко зажмурился, проглотил, и уже закусывая седелкой и горячим картофелем, подсунутыми Анной Михайловной, запоздало прохрипел:

— С праздником вас, с новым домом!

Анна Михайловна поднесла еще. Не отказываясь больше, Яблоков тотчас повторил и полез за кисетом.

— В которых колхозах праздничек, а у нас завсегда будни,— оживленно заговорил Яблоков, опускаясь у порога и подворачивая под себя колено. Гнешь-ломишь хребтину за лето, и хоть бы тебе рюмку предсидатель когда поднес. Везде, честь по чести, день

урожая справляют, а наш отмитинговал, а про остальное и не заикается.

— Бережливый человек, общественной копейки на баловство не изведет, — заметила Анна Михайловна.

— Да какое же это баловство? — обиделся Ваня. — Поработали хорошо, и отдохнуть надо в удовольствии. Прежде как? Год стараешься на хозяина, с ног валишься, а прикатишь из Питера — первым делом, стало быть...

Анна Михайловна оборвала:

— Брось ты про свой Питер. Сто раз слышала. Это ты вон Ленке болтай, он старого не знает, может, и поверит. А я-то сама встречала питерщика... не приведи господь!

— Нет, я, брат, та-ак жил... Ну, взять и нынешнее время. Намедни иду Кривцом... Батюшки мои, столы на улицу вынесены... Чего только нет! — Ваня вскочил на ноги, потер руки и захлебнулся слюной. — Два барана зажарены, лопни мои глаза, так целехонькие на противнях и красуются. Гусятина с яблоками, пироги — что твои заслоны... Мед прямо ложками из бадейки хлебуют. Вина — хоть облейся. Я было считать бутылки... куда там! Со счету сбился.

— А не попробовал? — спросил Алексей, рассмеявшись.

— Отказывался... Зазвали... усадили... пришлось попробовать, — ответил Яблоков, важно приосанясь.

И, не дожидаясь вопросов, принялся длинно, с наслаждением рассказывать, как наложили ему гусятины полную тарелку и баранины, сало с нее так и течет, что вода, как завели бабы патефон, песни хором пели, как пирога он даже съесть не мог, два куска одолел, а третий в карман положил.

— Так нагостился, так нагостился... Н-ну, скажу тебе — чистый Питер, даже лучше Питера, — заключил он, восхищенно качая головой и причмокивая. — Не помню, как и домой добрался... Прихожу, кричу ребятам: «Гостинца вам принес, пострелята!» Хвать за карман — и нет ничего... пирога нет. Должно, потерял дорогой.

— А может, съел? — пошутил Алексей.

— Может, и съел,— серьезно сказал Яблоков.— Больно хорош был пирог-то... во рту тает. Не помню... может, и съел.

Ваня помолчал, старательно обсосал хвост и голову селедки.

— Вся-то сладость жизни — выпить да закусить,— глубокомысленно промолвил он и вздохнул.

— Заработай — и выпьешь,— сказала Анна Михайловна, начиная сердиться.— Пить мастер, а на деле тебя нет... Да в работе самая сладость и есть!

— Поди-ко. Небось, ты дрова пилить гостей не заставишь, а за стол посадишь.

— Тьфу! Да ты что же думаешь, они из-за рюмки ко мне придут? Радость со мной хотят разделить.

— За столом и мне радостно.

— Ой, не вводи меня сегодня в грех, Яблоков,— грозно сказала Анна Михайловна.— Язык у тебя болтает, а чего — и сам не знает.

— Знать-то он зна-а-ет, — протянул Ваня, ерепясь, но, взглянув на Анну Михайловну, смутился, забормотал: — Порченный я Питером... Чего кричишь? Я все понимаю. Мне бы вот только... Ты уж того... налей еще стопочку... последнюю. — Он нахально улыбнулся. — Селедка-то у тебя больно хороша, мурманская... посолился — пить хочется.

Алексей молча, безглаголиво пододвинул Яблокову початую бутылку.

XV

Гости собрались к обеду. Пришли Николай Семенов, Петр Елисеев и Костя Шаров с женами, приехали дальние родственники из-за Черного моря, прихрамал Никодим с зятем.

Все были разодеты по-праздничному, молчаливо-торжественные, немножко стесненные одеждой, невольные, как это всегда бывает перед началом большого, хорошего пира. Костя Шаров даже надушился, и Катерина, сердито-счастливая, шумя черным шелковым платьем, все отодвигалась от него, говоря, что ей прямо дышать нечем. Николай Семенов пообстриг свои

рыжие лохмы, стянул шею белым твердым воротничком, галстук нацепил и с непривычки не мог ворочать головой, держал ее неестественно высоко и прямо, точно конь из засупоненного хомута.

Пока мужики, сидя по обычаю на крыльце, курили крепкую, запашистую махорку и дорогие, праздничные папиросы, изредка степенно перекидываясь словечком о том о сем, бабы, засучив рукава кофт и повязавшись полотенцами и фартуками, чтобы ненароком не испачкаться, взялись подсоблять Анне Михайловне. Живо сдвинули они столы в зале, накрыли их новой, пахучей клеенкой, расставили угощение. Для всего на столах нехватило места, пришлось кое-что отнести обратно на кухню, про запас.

На почетном, самом видном месте красовались любимые всеми селедки с картофелем, луком, огурцами, в масле и уксусе, по-городскому — с яйцами, в сметане, кому как нравится. Дрожал и просился в рот, чтобы там растаять, студень с хреном, прозрачный и холодный, точно лед. Розовое мясо бараньих ножек, мелко изрубленное, точно вмерзло в эти ледяные глыбы, возвышавшиеся на тарелках. Хороша была дроблена. Ее только что вынули из печи, дроблена — желтая, как масло, ноздреватая, — пылая румяным жаром, дышала и шевелилась на противне. Маринованные грибы тоже были по-своему замечательны. Красные, крохотные, словно пуговицы, рыжики утонули в сметане. Побелевшие, твердые и крупные шляпки борошников, голстокоренных подберезовиков плавали поверху, вместе с голубоватыми нежными груздями, ядреными волнушками, серянками и прочей лесной дичью на одной ноге. Отдельно было выставлено блюдо с сырчевыми, неказистыми на вид, но очень приятными на вкус, маслятами. А там шли тарелки с колбасой, яблоками, домашним печеньем, малосольными огурцами, пропахшими укропом и листьями черной смородины, блюдо со свежее испеченным ржаным и пшеничным хлебом. В промежутках между посудой виднелись бутылки русской горькой, словно пустые. — такая чистая, как слеза, была эта мужицкая благодать, пузатые графины с пенно-коричневым, густым пивом, рябиновка.

А на кухне еще дожидались своей очереди свежие щи со свиной, лапша с курятиной, жаркое, сдобники в масле, толченом сахаре и варенье. Но чудом стряпни, пожалуй, все-таки были пироги, золотистые, рассыпчатые и такие пышные, что Анна Михайловна, пригласив гостей за столы и покосившись на горы ломтей, дымивших горячей, ароматной начинкой, даже заговесилась.

— Не обессудьте, что есть... Кушайте, — по обычаю сказала она и невольно рассмеялась: так эти старые, подвернувшиеся на язык, слова не подходили к угощению, которое она предлагала.

— Э-э, завалила столы добром, да еще извиняется!

— Пироги-то держите... улетят.

— Ну и дрочена... да она у тебя, Михайловна, живая.

— Я к студню поближе. Студень с хреном — любота, — шутили и переговаривались гости, рассаживаясь и облюбовывая каждый то, что ему было по вкусу.

— Ну что ж, — сказал Семенов, поднимая стопку и чокаясь с Анной Михайловной, — выпьем за новый дом, чтоб он дольше стоял, за его хозяев, чтоб они сто лет прожили.

— С ручательством... Любота!

— Замочим половицы, чтобы не рассохлись...

— Косяки не корежило!

— Матица не гнулась!

— Печь не дымила!

— Выпьем, чтоб работалось сладко, жилось гладко... сыновья — женились, внучата — родились, а ты, Михайловна, глядя на них, радовалась.

Звон не смолкал над столами.

Смеясь, чокаясь, все желали напребой Анне Михайловне самого хорошего, что только можно было пожелать в такой час.

Держась за краешек стола, она кланялась гостям, благодарила, рюмка дрожала у нее в руке, и рябиновка тягучими каплями падала на клеенку.

Вот и исполнилось то, о чем мечтала всю жизнь Анна Михайловна. Она выстроила новую избу, и гостей позвала, и есть чем угостить их. Ий было так ра-

достойно, приятно, даже больно, что, кажется, уж ничего нельзя больше ждать, а она ждала, чего-то искала. Она взглянула на сыновей и нашла то, что искала.

— Спасибо,—сказала Анна Михайловна растроганно,—за хорошие слова спасибо. Нет, выпьем спервоначалу за добрых людей... за правильных... за него, отца нашего... Человеком я стала... и ребята у меня... Мишка, не смей зубы скалить! Про сурьезное говорю. Через колхозы все это. Живешь — и не веришь. Ну вот... от души... я так сча... и выпьем,—она запуталась в словах, заплакала, но все поняли ее, закричали, захлопали в ладоши, еще раз чокнулись и выпили.

Анна Михайловна пригубила из рюмки, поуспокоилась и стала потчевать гостей.

Пир удался на славу. Гости ели да похваливали стряпуху. На свадьбе ей готовить, мастерице. Всего, всего довольно, разве что птичьего молока нехватает, право. И не угощай, не набивайся — руки свои, что хотят, то и берут. Колхозом работаем — колхозом и за столом сидим, управимся, не беспокойся. Сама-то ешь, не бегай, привязать ее к табуретке, хлопотунью. А пизка подбавь, это ты правильно сообразила, здорово оно тебе удалось. С такого пива заплывешь живо.

Каждый нашел свое любимое кушанье. Петр Елисеев, опрокинув вторую стопку и отведав дробленых, подвинул противень к себе поближе. Дарья, Катерина и Ольга, раскрасневшиеся от рябиновки, все пробовали и не могли напробаваться пирогов. Никодим говорил зятю, что такого студня он еще в жизни не едал, глаза его слезились от крепкого, забористого хрена. Николай Семенов скоро расстегнул твердый, давивший горло воротничок, развязал галстук, помотал облегченно головой и на пару с Костей Шаровым налег на грибы и селедку. Михаил, болтая с гостями, тянул стакан за стаканом пива, заедая его яблоками. Алексей, начав с селедки и колбасы, аккуратно дошел до пирога, ел и помалкивал. И только одна Анна Михайловна, как и все хозяйки на пиру, почти ни до чего не дотрагивалась. Как в прежние годы, когда она кормила ребят картошкой и была сыта тем, что глядела на сыно-

вей, так и сейчас она забыла про себя, потчуя гостей и радуясь их аппетиту.

Хороша была еда, но не в ней заключалось самое важное.

Самое важное было в разговорах, задушевных, возникших за столами как-то незаметно, точно раздумье на отдыхе.

— Смотрю я вокруг и глазам своим не верю. Что с народом сделалось! — говорил Никодим, зарядив нос табаком и блаженно громко чихая. — Душевный народ стал, благородный, уважительный. Любота!... С чего бы это? От богатства, скажешь? Да прежде богатые-то самые подлые люди были. Все на моей памяти... А теперь... Радостно, приятно, а понять не могу.

— И понимать нечего, — колхоз, — заметила Дарья.

— Колхоз, он землю переделывает, не душу.

— Точно. Душа, брат, сама по себе...

— Бытие определяет сознание, — звонко вставил Михаил, насмешливо поглядывая на старого Никодима.

— Это что за бытие? — рассердился тот.

— Спроси у Карла Маркса.

— Марксова Карла знаю. В читальне портрет висит. На меня похож, с бородой... Что за бытие, спрашиваю?

— А вот какое бытие, — сказал Николай Семенов, задумчиво разглядывая груздь на вилке. — Был намерении такой случай. Поднимал один тракторист зябь. Поле большое, колхозное, время горячее. Выхал утром, пахал до вечера... Ждет смены, а ее нет. Забыли трактористу сменщика прислать. — Семенов мельком взглянул на Алексея, тот покраснел и торопливо потянулся через весь стол за печеньем. — Ему бы перекусить пора, отдохнуть, а трактор не пускает, зябь колхозная не пускает, словом — долг, совесть не позволяют на сегодняшний день... Так он, этот самый тракторист, и отгрохал три смены без передыху и еды... Вот тебе бытие и сознание. Ясно?

— Что-то знаком мне сей тракторист, — Михаил подмигнул.

— Молчи, — тихо сказал Семенов.

— А про казначея Павла слышали, из «Нового пути»? — спросила Ольга Елисеева. — Какая с ним история недавно приключилась. Шел он по бригадам авансы раздавать. Лесом шел и на грибы прельстился. Брал, брал грибы в шапку, да шкатулку с деньгами где-то и потерял... И что же вы скажете? Нашла Александра Козлова. Бруснику брала и нашла. Отдала... Пять тыщ в шкатулке лежало.

— А я все еще мучаюсь, — признался Петр, захмелев. — Старым мучаюсь... Буянка своего видеть не могу, так во мне все и переворачивается.

— Полно, Петр Васильич, поклепы на себя напрасные возводить, — сказала Анна Михайловна. — Кушай-ко... пирожка отведай, колбаски.

— По горло сыт. Не-ет, брат, душа-то у нас еще черная... Ну, на хороший конец, серенькая. Далеко-о до светлой души!.. Но будет она. Верю. Не зря воевали.

— Воевать нам еще придется, — значительно сказал Костя Шаров, закуривая папиросу.

И все мужики за столом, как-то сразу протрезвев, согласно кивнули Косте и сурово нахмурились.

— Не миновать.

— Точно.

— Мир-от надвое расколот.

— Фашизма башку подняла.

— Неужто правда, что про фашистов пишут? — спросила Анна Михайловна.

— Врать незачем.

— Да это не люди, звери какие-то!

— Именно, — подтвердил Николай. — Звери, которые всех сожрать хотят. А нас — в первую очередь.

— Подавятся!

Петр ударил по столу кулаком так, что подпрыгнули и загремели тарелки и вилки.

— У нас — Сталин... народ у нас... правда! Стеной встанем за свою жизнь. Вот!

— Не приведи, господь, войну... — вздохнула Ольга, отодвигая подальше от мужа стопку и вино.

Анна Михайловна промолчала. Как всегда, ей вспомнился муж, и стало тяжело и грустно. Украдкой

она взглянула на сыновей. Неужели придет время, когда и их придется ей провожать? Проводит, да и не встретит никогда...

— Кушайте, гости дорогие, кушайте, — принялась она снова угощать, отгоняя тревогу, вдруг охватившую ее.

Она была рада, что разговор вскоре перешел опять на колхозные дела. Толковали о льне — своем богатстве.

— Слышал я, льны наши брагинские имеют историю давнюю, — сказал, между прочим, Николай Семенов. — Любопытная история, вот послушайте... Сказывают старожилы, в восьмидесятых годах заимел эти семена мужик один из деревни Морганово, Крюковской волости. Да как его звали, постой?... Иван, нет, Тимофей, вроде Иванович, по фамилии Смирнов. Вот как его звали, точно. Смирный был мужик, в аккурат по своей фамилии. Сказывают одни, что семена льна Тимофею принесла жена в приданое, до замужества она, слышь, батрачила в Твери, у барина какого-то льном раздобылась. Другие спорят, — мол, Смирнов сам привез льносемена из Питера. Отходник был Смирнов-то, по печному делу мастер... Так или иначе, раздобылся наш Тимофей новым льном и посеял. И что же вы думаете? Уродился лен в первый год редкий-прередкий, прямо смотреть срамota.

— Бывает, — согласилась Анна Михайловна, — с землей не породнился, чужаком рос.

— Ну, Смирнов этот, стало быть, разбиделся, хотел все семена на масло сбить, да сосед отговорил, Лука Фадеев. Дошлый был человек, жадный, проныра, попросту сказать, по-нынешнему — кулак. Подметил он, что смирновский лен хоть и редок, да высок, стеблем тонок и в волокне — серебристого отлива, нежен, прямо девичьи косы. Откупил он у Тимофея все до единого зернышка и такой лен на другой год вырастил — барышники на базаре прямо с руками волокно рвали. Он цену ломит, а им шнучем, давай — и все.

— Промазал твой Тимофей, дурак, дурак! — воскликнул Елисеев, с интересом следя за рассказом.

— Дело ясное. Поахал Смирнов, да поздно. Лука горсти семян не дал, как уж он ни кланялся. Затвердил Лука одно: примета, слышь, есть: разживутся семенами соседи — переродится лен. На сегодняшний день сказать — конкуренции боялся... Десять лет охранял свое льняное серебро Фадеев, разбогател — страсть. Только один раз сдал, заговорил ему зубы весельчак Ефим Селезнев, что в Брагине жил.

— Это который гармошки делал?

— Он самый. Батрачил Ефим у Фадеева, погорел, и уж как он своего хозяина обломал — не знаю, только отвалил ему Лука два пуда и клятву взял: даже отцу родному не давать льна на развод. Побожился Ефим, а как снял первый урожай — роздал семена в Брагине по хозяйствам. «Сейте, говорит, братцы, назло Фадееву. Уж больно он, жила, меня в батраках давил. Сейте больше, может, счастье нам привалит...» Вот так и дошел до нас брагинский лен, — закончил, усмехаясь, Николай и поднял стопку. — Выпьем, что ли, за лен наш счастливый?

— Воистину счастливый, — откликнулась Анна Михайловна, чокаясь. — И еще счастливей будет, коли мы по клеверищу станем сеять. Лен и клевер — что муж и жена, всегда вместе.

— Ноне это не обязательно, — рассмеялась Катерина, косясь на Костю. — Вон Игнаша со своей женой разбежался.

— Того, знать, стоила... Лен — растение серьезное. Трудов не пожалей — лен тебя отблагодарит. Я десять центнеров волокна берусь с гектара дать.

— Высоконькохватила, Михайловна!

— Десять — сбесят.

— Мирись скорей на пять.

— Десять, — не уступала Анна Михайловна. — Помяни мое слово, дам десять. Я тебе, Коля, скажу, в чем секрет: в густоте посева и чтобы ленок стоял. В Бельгии, чу, сетки такие железные употребляют, чтобы не полег лен. Ну, а мы жерди приспособим, веревки да колышки. Я все обдумала. Вот еще этого супе... супостату раздобыть.

— Суперфосфату! — захохотал Михаил. — Малограмотный язык у тебя, мамка.

— Верно, малограмотная я, — призналась Анна Михайловна. — Поучиться бы мне немножко.

— За чем дело стало? — весело сказал Семенов. — Учись. Одобряю. Прикрепим к тебе учительшу. Овладей наукой. Ребята тоже помогут.

— Подсобим, — вставил Алексей свое первое слово в застольную беседу.

— Обучим, как по алгебре пироги печь, — рассмеялся опять Михаил.

— Цыц! — грозно прикрикнула на него мать. — Я не шучу... Чем зубы над матерью скалить, лучше бы сыграл нам на гармошке.

— Любота! «Барыню»!.. На одной ноге спляшу.

Пир был в самом разгаре. От выпитой наливки у Анны Михайловны немного шумело в голове. Все были веселы, но не пьяны, говорили громче обычного. Анна Михайловна зажгла лампу-«молнию», и от ровного яркого света заиграли самоцветами стаканы с крепким чаем, рябиновка, графин с пивом. На душе стало еще легче, веселее.

Нехватало только музыки.

— Потрудишь, Миша, на общую пользу, — попросила Ольга.

Михаил живо вылез из-за стола, взял баян и, склонив кудрявую голову к мехам, точно прислушиваясь, как вздыхает, плачет и смеется гармонь, рассыпал плясовую.

— Выходи, у кого ножка легкая!

— Была легкая, да укатали Сивку крутые горки...

— Топни, топни в новой избе, — подзадоривал Петр Елисеев Анну Михайловну. — Не бойся, пол не проломишь... Катерина, Костя, молодожены, а вы что же?

Как всегда, первым плясать никто не решался, стеснялись. Даже Пинкодим, пахваставшись, прилип к табуретке и лишь притопывал здоровой ногой под столом. Но пляска была пужна, это чувствовали и желали все, и Николай Семенов, бросив недокуренную папиросу, поднялся из-за стола.

— Разучились? — спросил он насмешливо. — Могу напомнить маленько... Ре-же, Миша!

Высокий и ладный, прошел он к гармонисту, постоял, словно подумал, и, взмахнув руками, как крыльями, неслышно полетел по избе.

— Во-на! Знай нашего председателя... везде передом! — восхищенно прохрипел Никодим, ерзая на табуретке.

Николай подлетел к Анне Михайловне и, не спуская с нее светлых смеющихся глаз, топнул, закинул руки за спину и отступил зазывной чечеткой.

— Ну, держись!

Анна Михайловна сорвала с головы платок, для чего-то вытерла губы, махнула платком и пошла, как умела, по кругу, покачиваясь.

— Покажь, покажь ему!

— Не ударь лицом в грязь, Михайловна!

Николай пустился впрысядку...

Еще не кончила плясать первая пара, как грохнул табуреткой Никодим. Прибаутничая, он завертелся на больной ноге, выделявая здоровой замысловатые колесца.

— Бабоньки, молодочки, неужто старику поддадите-ся? — закричал он.

— Как бы не так, — сказала Катерина и, шумя шелковой юбкой, смело вошла в круг.

Дарья и Ольга снисходительно рассмеялись. Нет уж, не сй плясать, мужиковатой, деревянной, как стуна, молодухе.

Никодим захромал к ней, игриво обнял за просторную талию. Катерина отвела его руку, не спеша оправила платье и ударила в ладоши. Она выкинула вперед, словно повесила в воздухе тяжелую грудь, и все увидели, как затрепетали ее угловатые, вдруг ставшие мягко-круглыми плечи. Точно отделившись от пола, завертелось упругое, сильное тело Катерины.

— Царь-баба... ух! — тихо выругался Петр Елисеев и переступил занывшими ногами.

Уже давно Никодим отступил к стене, затихли ошеломленные гости, давно Костя Шаров ревниво следил за женой, Михаил перебрал все плясовые мо-

тивы, но пальцы его никак не успевали за темпом танца. Но вот Катерина выпрямилась, точно скинула ношу, и, замедляя движения, в такт музыке, бережно понесла по кругу свое полное, сытое счастьем тело. И сразу, будто застыдившись, убежала за стол, под восторженные хлопки и крики «браво». Она подсела к мужу, а тот, сердясь на что-то, отодвинулся.

— Полно, глупый, — смеясь, сказала ему Катерина, обмахиваясь платком и тяжело дыша.

Потом пели хором песни, старинные, которые Анна Михайловна очень любила.

Никодим, пригорюнившись, сипло затянул:

Бережочек зыблется,
Да песочек сыплется,
Ледочек ломится,
Добры кони тонут,
Молодцы томятся:
— Ой, ты боже, боже!
Сотворил ты, боже,
Да небо и землю,
Сотвори же, боже,
Весновую службу...

Гости подхватили широкую, как Волга, заунывную бурлацкую песню:

Не давай ты, боже,
Зимовые службы,
Зимовая служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно...
Ой, ты дай же, боже,
Весновую службу.
Весновое служба —
Молодцам веселье,
Сердцу утеха...

Анна Михайловна тихонько подтягивала и видела, как сыновья непонимающе таращатся на гостей. Михаил пробовал вторить на басах, но вскоре бросил. «Горя не хлебнули, оттого и песня им чужая... И хорошо это, хорошо», — думала мать.

А песня все лилась и лилась, печаль ее сменилась удалью. Никодим, вскочив, размахивал вилкой, и, послушные ее властным, стремительным взлетам, гости рванули:

И возьмемте, братцы,
Яровые весельца,
А сядемте, братцы,
В ветляны стружочки
Да грянемте, братцы,
Ой, да вниз по Волге!

XVI

Долгое время Анне Михайловне было как-то не по себе в новом доме. Слов нет, изба вышла светлая, просторная, есть где разойтись веником и мокрой тряпкой. Спина уставала у Анны Михайловны, когда приходилось подметать пол. Но все же необжитый дом казался ей неприветливым и холодным.

— Как в сарае, прости господи, — огорченно говорила она. — Дров не напасешь... замерзнем зимой.

Купили и поставили круглую железную печь, обложили избу снаружи соломой и мохом — заметно потеплело, но дом от того не стал приветливее. Главное — он был пустынен. Домашний скарб Анны Михайловны, наполнявший старую избушку и всем своим незатейливым, поношенным видом как-то соответствовавший ей, здесь, на просторе, выглядел убого.

В девять окон врывается свет в избу. И сразу стало видно, что комод облысел и стекла в «горке» выбиты, что кровать — деревянная и с клопяными неотмываемыми пятнами, что стол искоблен до ям и один-единешенек на горницу, спальню и кухню, зеркало мало, засижено мухами и кособочит человека. Не хватало скамей, плешек с цветами, не было занавесок на окна, пикейного покрывала на кровать и многого другого. В довершение ко всему, как ни остерегалась Анна Михайловна, занесла из старой избы тараканов.

— Видно, не нам в хороших домах жить. Кишка тонка, — жаловалась она сыновьям. — Послушалась я

вас, старая дура, выстроила амбарище, и теперь хоть плачь. С улицы посмотреть — будто и путные люди живут, а взойдешь... срам.

— Не все сразу, мама, — рассудительно отвечал Алексей. — Наживем добро.

— Скорей умрешь, чем наживешь.

— А по мне и так хорошо, — смеялся Михаил, наигрывая на баяне. — Был бы чайшко с молочишком... да с потолка не капало.

Мать пригрозила:

— Вот продам твою музыку и куплю кровать с серебряными шишками. Небось, запоешь тогда у меня.

— Повешусь... Ах, Михайловна, ничего ты не понимаешь! Да мой баян, можно сказать, весь твой дворец украшает. Как раздвину мехи под окошком — и цветов не надо.

*

Утешала Анну Михайловну работа в колхозе. Много и весело трудилась она на людях, бегала к учительнице и агроному, пристрастилась ко льну и накопила немалый опыт, как надо растить его и обихаживать. На общих собраниях она, обычно неразговорчивая, спорила не раз с бригадирами и полеводом, как лучше вести льноводство. Подчас ее слушали с усмешкой:

— В агрономы метишь?

— А хотя бы и в агрономы, — отвечала, сердясь, Анна Михайловна. — Сталин про нас что сказал? Нынче женщине дорога широкая... Чем зубы скалить — лучше торфу заготовили бы побольше.

И когда в колхозе, вопреки ее советам и поддержке Семенова, вопреки принятым решениям, сделали не так, как ей хотелось, а по старинке, она часто думала: «Ах, взять бы мне участок отдельный да обиходить его по всем правилам, как агроном говорит... Вдвое уродилось бы. Ведь лен-то ласку любит».

Когда началось в колхозах стахановское движение, Анна Михайловна осуществила свою думку. Ей дали отдельный участок — два гектара. Она подгото-

рила вместе работать молодуху Катерину Михайловну Шарову. Вдвоем, по снегу, гремя тяжелыми ведрами, они рассеяли фосфоритную муку. Потом талая земля приняла суперфосфат, силвинит и калийную соль.

Участок был хотя и после клевера, но довольно низкий, сырой. С завистью смотрела Анна Михайловна, как сеяли лен другие звенья. А к ее земле и не подступишься — грязи по колено.

— Беда, запаздываем, Катя, — беспокоилась Анна Михайловна. — Уродится мышинный хвост — засмеют нас... Может, от удобрений земля-то разжижела?

Позвали агронома, молодого толкового парня.

— Ничего, догонит ваш лен, увидите, — успокоил он.

Землю они приготовили, как пух. И посеяли. Стал лен расти не по дням, а по часам. Действительно, он не только догнал, но и перегнал посевы на соседних участках. Безустали ухаживала Анна Михайловна со своей помощницей за льном.

Весна в этот год выдалась без дождей, сухая. Пождала, пождала Анна Михайловна, да и приволокла с Катериной на участок пожарную машину. Алексей и Михаил, если бывали свободны, таскали им с речки воду ушатами, а они поливали лен.

Нелегко был этот труд. Даже по вечерам разгоряченная, потрескавшаяся земля жгла подошвы босых ног, солнце исщадно, как в полдень, палило головы и плечи. Как бы невзначай, сыновья обливали и себя, и мать, и Катерину из пожарного рукава. Приходило облегчение. Радугой падала благодатная струя из брандспойта.

— Пей, ленок... Пей, не жалея! Уродись высокий и волокнистый, — приговаривала Анна Михайловна.

И вырос лен на диво — в метр четырнадцать сантиметров длиной. Могучей зеленой стеной, почти по плечи Анне Михайловне, высился он.

— Такой у Стуковой лен: умрешь — не забудешь, — заговорили в колхозе.

Из соседних деревень приходили бабы, смотрели и дивились:

— Чудо, а не лен... И как вас угораздило такую махину вырастить?

Алексей прикатил в поле с новой теребилкой «ВНИИЛ-5», огненно-голубой, как сказочная жар-птица. Она летела за трактором по полю, и где крыло ее касалось льна, там проходила широкая улица. Алексей поднимал лохматую, пыльную голову от руля, оборачивался и, стараясь перекрычать грохот трактора, спрашивал льнотеребильщика:

— Что там?.. Гляди!

— На большой палец... с присыпochкой! — орал тот и смеялся над колхозницами, которые не успевали вязать снопы.

Видела Анна Михайловна, как девушки посмелее нарочно поджидали трактор.

— Как жизнь, Ленья? — кричали они, когда трактор был рядом.

Обожженный дочерна солнцем, Алексей сверкал в ответ белыми зубами:

— Лучше всех.

— Обожди немножко, — упрашивали его, — придержи конька, покури... Невесту тебе сыскали.

Трактор удалялся, и новая улица распаивалась во льне перед смолкшими, обиженными девушками.

— Эх, суматошные, — говорил им Николай Семенов, посмеиваясь, — еще нет на свете такого человека, для которого бы Алексей Алексеевич остановил машину. Намедни понаехало из района начальство, ждут его на конце загона, а он ка-ак поддаст газу... только его и видели... Пришлось директору эмтеэс бежать да рукой знак подавать. И то не сразу послушался... Ну, что стали? Думаете, лен-то, на сегодняшний день, сам свяжется?

Приятно было Анне Михайловне слушать такие речи.

«Нет, не уступит Леша брату, даром что некрасив, — думала она. — Возьмет свое в жизни... Оба возьмут... Да».

Хорошо работала теребилка. Однако лен в колхозе было видимо-невидимо, и, как всегда, он поспел сразу. Поэтому машине подсобляли вручную. Когда

Анна Михайловна теребила свой лен, наклоняться ей почти не приходилось.

Славой и гордостью в то лето была Катерина Шарова. Районная газета писала о ней как о героине труда. В соревновании Катерина победила даже Анну Михайловну. Молодая, красивая, она звонче всех пела песни. Любо было Анне Михайловне глядеть на нее, вспоминая свою молодость. Казалось, Катерина не теребила лен, а просто перебирала его своими тонкими смуглыми пальцами. И, словно покоренные ее лаской, стебли льна ложились в ее исцарапанные руки, и росли, росли позади Катерины кудрявые снопы.

— Возьми в муженьки, ласковая. С тобой не пропадешь, — шутили мужики.

— Коли отставку своему мухомору дашь, меня не забудь. Я нонче пятьсот трудодней отхвачу. Мы с тобой зараз пара.

— Ладно... не забуду, — смеялась Катерина.

И вдруг она сразу сдала, вдвое уменьшив выработку. Анна Михайловна глазам своим не поверила.

— Да здорова ли ты, голубушка?

Катерина заплакала и убежала с поля.

— Задрознили... Житья не стало... хоть вешайся, — со слезами рассказывала она в чулане Анне Михайловне.

— Да о чем ты? Что стряслось? — не поняла вначале Анна Михайловна.

— Будто я ударничаю, чтобы сыновьям твоим нравиться... и вообще мужчинам. «Ты, говорят, у нас безотказная. Вваливай, коли тебе... одного мало». А сам, дурак, ревнует, сердится... Сегодня избил и грозит: «Зарежу, если ударничать будешь».

— Кто... — запнулась, побелев, Анна Михайловна. — Кто пакость такую разводит?

— Известно... Строчиha да Куприяниха. Их завидки берут. Как же, Катерина Шарова по пятнадцать соток теребит, а они по три... Я говорила им: «Не чешите языки, так сработаете с мое. Запрету никому нет». — Катерина подняла мокрые, злые глаза. — Мне на них наплевать, да ведь есть люди, которые и верят. Вчера сама слышала, как Никодим с девками

разговаривал. «Будьте здоровы, говорит, по два жениха каждой». Его спрашивают: почему по два? «А с одним — в загс, с другим — так-с». Стыдить его начали, а он рассердился, да и брякнул: «Мне стыдно, Катерине Шаровой — хоть бы что...» Каково слушать-то? Уж коли такой старый человек балаболкам верит, молодые — и подавно... Да что же это за жизнь?!

— Ну, погоди, доберусь... вырву змеиные языки, — успокаивала Катерину Анна Михайловна. — Полно, полно... Бить? А — ты развод ему.

— Жалко... — потупилась Катерина.

— Ах, жалко? — рассердилась Анна Михайловна. — Сдачи дай. Тоже жалко? Мне — ни капельки... Ох, баба, ростом большая, а постоять за себя силенок нет, — усмехнулась она, лаская Катерину.

В тот же вечер по требованию Анны Михайловны созвали общее собрание членов колхоза. Анна Михайловна, рассказав, в чем дело, настаивала на исключении Прасковьи и Авдотьи из колхоза, чтобы другим nepовaдно было травить честных людей.

Заголосили бабы, повинились, что их зависть ододела. При всем народе дали слово вести себя, как подобает колхозницам. Только тогда Анна Михайловна сняла свое предложение. Сплетниц на первый раз простили, ограничившись строгим общественным порицанием.

После собрания Анна Михайловна зазвала к себе в избу Костю Шарова и отчитала наедине.

— Как ты смеешь на жену руку поднимать? — гневно кричала она, загоняя оробевшего Костю в угол. — Слов нет, хороша твоя Катерина, да разве другие-то хуже? Ты думаешь, у моих сыновей невест нет? Думаешь, слепая я, не вижу, с кем они хороваются? Нравится мне, не нравится, а они свое дело делают... не запретишь.

Костя по стене, боком, пробирался к двери, злой и смущенный.

— Полегче командуй, Михайловна, полетче... Вот нашла сына... Пустя, чего ты? — жалко и обидчиво ворчал он, обжигаясь цыгаркой и отмахиваясь от ды-

ма и от наседавшей на него Анны Михайловны. — Ты еще клюку возьми... Какое право имеешь?..

— Пра-во?.. — Анна Михайловна всплеснула руками, загораживая спиной дверь. — Да соображаешь ты, идол, что кулак твой не одну Катерину — весь колхоз ударил? Общее наше дело ударил, соображаешь?

Она стояла на пороге, пройти Косте никак было нельзя, он терся спиной о стену, жевал цыгарку и молчал.

— Скажи-ите, какой ревнивец нашелся! Распалился... Пошутить твоей Катерине нельзя. Не старые времена, батюшка, не старые. Мы на тебя управу найдем... Сам-то с бабами в молчанки играешь? Видела, как третьеводни на гуменнике петухом вокруг молодух ходил... Чай, Катерина тоже не деревянная, бабочка молоденькая, в ней каждая жилка играет. Нет чтобы приласкать... Куда окуроч бросаешь? Не видишь, пол чистый...

Костя покорно поднял изжеванный окуроч, отнес в помойное ведро, потоптался на кухне и опустил голову.

— Прости, Анна Михайловна... с сердцем не совладал.

— У жены проси прощенья, а не у меня, — сердито отрезала Анна Михайловна.

— И у Кати прощенья попрошу. На руках буду носить!

Еще позволит ли она, — усмехнулась Анна Михайловна.

— Да любит она меня... вот! И я... всей душой... — бессвязно бормотал взволнованный Костя.

XVII

Осенью звено Анны Михайловны сдало государству по 12,28 центнера высокосортного волокна с гектара. Это был неслыханный урожай не только в районе, но и в области. Все поздравляли Анну Михайловну. Колхоз премировал ее швейной машиной. На район-

ном слете стахановцев-льноводов ей преподнесли патефон, а на областном — отрез шелка на платье. По годам ровно и не к лицу был шелк, но продавать его было жалко. Полюбовалась Анна Михайловна да и спрятала отрез в сундук. «Пригодится... Может, снохаладная, по сердцу будет... та же Настя. Подарю».

На Октябрьскую годовщину Михаил притащил из сельского универмага дюжину венских стульев. Алексей привез из города на попутном грузовике дубовый буфет, хотя и подержанный, купленный по случаю, в комиссионном магазине, но совсем еще хороший, этажерку для книг и настоящий четырехламповый радиоприемник. Анна Михайловна, в свою очередь, приглядела на станции, в железнодорожном кооперативе, долгожданную кровать, голубую, с серебряными шишками и полосатым пружинным матрацем.

Кровать стояла, ни мало, ни много, ровнехонько четыреста целковых. Анна Михайловна ужаснулась этой неслыханной цене, пошла вон из магазина, постояла на крыльце, вернулась и по привычке стала торговаться.

— Цены без запроса, гражданочка, — сказал строгоглазый, подвижной и усатый, видать бывалый, продавец. — Прошу не оскорблять государственную торговлю.

— Ахти, что сказала... Уж и поторговаться нельзя, ведь на советские деньги покупаю, не на бумажки, — обиделась Анна Михайловна. — Может, ты на ярлыке тут лишку приписал.

Ощетинив сивые усы, продавец оскорбленно пожал плечами.

— Если вы, гражданочка, из лавочной комиссии, так и доложите и голову мне пустяжными словами за-зря не морочьте, — сухо сказал он, вытирая руки фартуком. — Я вам официально счет-фактуру покажу.

— Ни из какой я не из комиссии. Кровать мне очень хочется... настоящую, — объяснила Анна Михайловна, не сводя глаз с приглянувшихся шаров и тикового матраца. — Деревянная-то мне глаза замозолила. Ну, а твоя кроватка с виду и подходящая, а

кусаются... Ты не сердись, товарищ, не привыкла я еще богатые вещи заводить. Раньше-то все на копейки покупала...

Продавец помолчал, посмотрел на Анну Михайловну, должно быть, понял ее состояние и раздобрился. Он вытащил кровать на свет, протер фартуком никелированные украшения, так что Анна Михайловна ослепла от их блеска, прилег на матрац, покачался на добротных, позванивающих пружинах и сказал, что вещи износу не будет, сноха поблагодарит и внучата помянут бабушку. Анна Михайловна и сама видела, что такой кровати еще ни у кого в колхозе не было.

— Да у меня, родимый, и денег столько с собой нет, — начала сдаваться она. — Разве в сберкассу сбежать? Восемь верст киселя хлебать...

— И не бегайте, не беспокойтесь. Отложим-с, — ухаживал продавец, накручивая усы и любясь на кровать, точно он сам ее покупал. Анне Михайловне даже стало совестно. — Из какого колхоза будете?.. Из «Общего труда»?.. Позвольте, да вы не Стукова ли Анна Михайловна?! Как же, как же, понаслышались про вас... Очень приятно знакомство иметь. Покупочка вам к лицу... Бывайте здоровы и не сумлевайтесь, кроватка за вами останется, — приговаривал он, провожая Анну Михайловну на крыльцо магазина. — Берите завтра лошадку в колхозе; и милости просим, приезжайте.

Так была куплена кровать, и новая изба потеряла свой необжитой, пустынный вид. Правда, нехватало еще стола, достойного военных стульев, да и мягкий диван, по правде говоря, не мешало бы завести. Словом, дом еще не был «полной чашей», как хотелось Анне Михайловне, но то, что уже стояло в горнице и спальне, выглядело хорошо.

Как-то, возвращаясь с льнозавода, Анна Михайловна застала сыновей в избе за курением папирос. Она и раньше замечала иногда, что от ребят ровно бы табаком пахнет, находила ненароком в карманах броек спички, крошки махорки, курительную бумагу и ругалась нещадно, раздавая сыновьям колотушки.

И сейчас сыновья, памятуя наставления ее горячей руки, заробели, попрятали в рукава папиросы.

— Чего уж тут... курите, — милостиво разрешила мать. — Тайком-то еще дом спалите с табачищем вашим проклятым... Ишь, накадили... фу-у, — морщась, ворчала она, открывая форточку. — Ровно взаправдашные мужики.

Собственно, так оно и казалось матери. Дозволение курить табак что-нибудь да значило. Как ни говори, взрослые стали сыновья.

Мать походила по избе, покосилась на ребят, которые старательно и независимо глотали дым, будто дело делали, и, не смея обронить пепел под ноги, относили его на ладонях в подтопок. Она подала им чайное блюдце вместо пепельницы, потом влезла на лавку и достала с божницы мужнин кисет, долго вертела его в руках, наконец протянула сыновьям.

— Отцова память... Берите который-нибудь... новехонький совсем.

— Не надо, мама... спрячь, — попросил Алексей, бережно возвращая кисет матери.

— И то... — согласилась она, печальная и суровая. — Пусть вам кисеты невесты вышивают.

К ней пришли спокойствие и наблюдательность. Она как-то больше стала все замечать и часто по мелочам делала важные для себя заключения. Например, она заметила, как при встрече с Алексеем мужики первые уважительно трогают фуражки, и ей понравился этот почет.

— Где Алексей Алексеич на своем тракторе работает, там и хлеб хорошо родится, — говорили на собраниях колхозники.

Девчонки были влюблены в Михаила. Постоянный участник спектаклей в клубе, непревзойденный гармонист, красавец и плясун, он покорял девичьи сердца веселым словом. Впрочем, по работе он не уступал брату.

Николай Семенов, поглядывая то на мать, то на Михаила, не раз говаривал:

— Сообразительная у тебя бабка, Минутка. По счетам пальцами бегает, рожю она баяне играет.

И на людей глаз острый... Ах ты, смена моя на сегоднешний день! Чую, будешь греметь на всю область.

— Я, дядя Коля, сперва хочу в облаках погреметь.

— То-есть?

— В Красную Армию скоро... в летчики попрошусь. Во сне я уже почем зря летаю...

— С кровати на пол... бывает,— насмешливо добавляла Анна Михайловна, но где-то в памяти сохраняла и это случайно высказанное, потревожившее ее желание сына.

Невесты, завидев Анну Михайловну еще издали, украдкой прихоращивались, одергивая кофты и юбки, приглаживали волосы и никогда не забывали, весело кланяясь, справиться о ее здоровье. Она попрежнему благоволила Насте Семеновой и не переносила Лизутки Гущиной, хотя та и работала хорошо в колхозе и ничего худого никто о ней не мог сказать. Матери невест охотно останавливались поболтать. И о чем бы ни шел разговор, заканчивался он неизменно похвалами сыновьям Анны Михайловны.

Но не это было главное, что открылось Анне Михайловне. Главное было то, что она, как бы ранним утром, хорошим, ясным, вышла из своей избы, поднялась на высокую гору, взглянула отсюда вниз, загорядясь от солнца ладошкой, и увидела большой и ладный, нивесть когда выросший дом. И дом этот был колхоз.

И она поняла многое иначе, чем понимала раньше.

Этот колхоз строила она вместе с мужиками и бабами, строила долго, как Никодим ее избу. Люди, работавшие с ней бок о бок, ворчали, у иных бессильно опускались руки, малодушные убегали, одни — навсегда, другие — на время, а колхоз все рос да рос. Те люди, кому постройка была не по нутру, потому что захватила их одворину со всем добром, нажитым не всегда честно, эти люди мешали, запугивали, будто ничего путного не выйдет, и даже тайком, по бревнышку, пытались раскатить и растащить колхозный сруб. Ничего из этого не вышло. Подвели дом-колхоз под крышу, прорубили большие светлые окна в жизнь.

В нем, в этом доме-колхозе, вначале было пусто-вато, холодно и неприветливо, как в ее необжитой, новой избе. И опять люди обижались, чувствовали себя неловко, но убегали из дома-колхоза реже и всегда возвращались. Они не враждовали промеж себя, как прежде, до колхоза, полюбили труд и стали работать на подзадор — кто больше и лучше сработает. Это была общественная «помочь», только не на час или на день, а на все время.

Потом все увидели, что как-то незаметно завелись в доме вещи, подстать высоким и светлым комнатам, на первое время самые необходимые, как ее кровать, стулья, буфет; и все поняли, что будет и остальное, от них самих зависит сделать так, чтобы общий дом был полной чашей. И всем стало приятно и радостно, люди почувствовали в себе такую богатырскую силу, такую уверенность — кажется, гору своротить могли. И они в действительности ворочали горы.

И точно так же, как дом-колхоз, строилось все ее, Анны Михайловны, государство. И главным искусным плотником в этом необъятном строящемся государственном доме был Сталин.

XVIII

Весна в 1936 году шла ранняя, но с обильными снегопадами. В начале марта было морозно и ветрено, как в январе. Днем таяло, а к вечеру крепконько подмораживало, казалось, зиме конца не будет. На матовом чешуйчатом снегу был такой наст, что держал человека. Доярки ходили на ферму напрямиком от изб, как по паркету, минуя скользкую, в рытвинах и проступах, дорогу.

Скупое светило солнце, скрытое за серой пеленой облаков. Ветер раскачивал колючие сны, и крупный, пушистый иней струился с ветвей молочными ручейками.

Но тринадцатого марта, в полдень, ветер затаих. Нежданно проступила в небе голубая проталина, другая, третья. И в одну из них, как из окошка, радостно

и ярко, точно хорошо выпавшись, глянуло на землю солнце. Тотчас же зазвенела капель. Выскочили со двора, закудахтали куры. Беспокойно заржали кони, выведенные на прогулку.

И тогда на серую, набухшую водой дорогу откуда-то сверху, с синего потеплевшего неба, черной молнией упал грач. Тяжело и важно прошелся он по талой дороге и, склонив набок грузный белый клюв, задумчиво напился из позолоченной солнцем лужицы.

Чтобы не спугнуть грача, Анна Михайловна обошла лужицу стороной, щурясь от солнца, снега и голубизны. Она вслушивалась в нарастающую многоголосую и хлопотливую жизнь колхоза. Все спрятанное, примолкшее за зиму рвалось теперь наружу, гремело и двигалось, словно желая наверстать упущенное.

Навстречу Анне Михайловне вереницей тянулись со станции подводы третьей бригады с минеральными удобрениями. Поровнявшись, возчики почтительно взяли за шапки.

— Товарищу Стуковой... наш самый горячий!

«Призапоздали... — насмешливо подумала она, степенно кланяясь. — Мое звено давным-давно на всю бригаду удобрений запасло».

Дробно стучали молотки в колхозной кузнице. Из зернохранилища нарочные второй бригады выносили мешки с овсом и яровой пшеницей. В гараже заводили полуторатонку — красу и гордость колхоза. Голуби ворковали на ветхой колокольне. Анна Михайловна пристально посмотрела на колокольню и голубей, словно высчитывая что-то. «А пробу земли все еще не прислали», — вспомнилось ей, и она заторопилась.

Дел предстояло сегодня великое множество. Перво-наперво, надо было сходить в житницу, еще раз взглянуть на драгоценное брагинское льносемя; его вчера просортировали и осторожно ссыпали в сусеки. Пора толочь и просеивать селитру и сильвинит. Узнать, что делается в звене Ольги Елисеевой, с которым соревнуется ее звено высокой урожайности льна. А вечером — кружок текущей политики, значит — надо оповестить всю бригаду, пригласить к себе: простор-

ная горница Анны Михайловны как раз подходяща для многолюдной беседы... Много дел. Но главное — позвонить по телефону в район, поторопить лабораторию земельного отдела с анализом. Еще в декабре Анна Михайловна и полевод колхоза, утопая в сугробах, пробрались на участок и добыли из-под снега увесистый ком замороженной земли; старательно упаковали в ящик и отправили в лабораторию. И вот анализа все нет и нет, и нельзя точно знать — каких и сколько удобрений просит земля, чтобы родить пятнадцать-шестнадцать центнеров волокна с гектара, как намечено Анной Михайловной. Положим, удобрения привезены. Но все-таки пора же знать, что пойдет на стахановский участок.

На гумне, у житницы, Анну Михайловну ждало звено: высокая, сильная и веселая Екатерина Михайловна Шарова, которая после случая с мужем любила Стукову, как свою мать; старушка-хлопотунья Мария Михайловна Лебедева и недавняя единоличница Антониды Михайловны Богдановой, только что принятая в колхоз. «Четыре Михайловны», — говорят теперь про звено в колхозе.

Гремя ключами, Анна Михайловна торжественно открыла свой заветный «склад». Еловый свежеструганный сусек до краев был палит блестяще-коричневым, точно стеклянные бисеринки, льняным семенем. Анна Михайловна опустила в сусек руку, зачерпнула пригоршней скользящее, словно живое, зерно. Пять звеньев в колхозе нынче засеют свои поля льносеменем с участка Стуковой. Но самое лучшее, отборное, лежит здесь.

Антонида Богданова, щуплая и печальная, истрадавшаяся за долгие суматошные годы в единоличниках, держится в стороне, поджав отцветшие губы. Анна Михайловна, приметив это, как мать, ласково наставляет:

— Не робей, Танюша. Раз приняли тебя в звено, стало быть, нам ровня. Ну, чего покраснелась? Чай, в колхозе живешь, не в единоличке мыкаешься... Па, пощупай семечко, девяносто девять процентов всхожести, — говорит она, пересыпая семя с ладошки на

ладошку. Розовой струей брызжет оно на солнце. — Хорошо ли просортировали вчера, бабочки?

— Да уж на совесть, — откликается грудным, певучим голосом Шарова. — В Покровском, на очистительном пункте, у всех глаза разбежались на наше семя.

— Сроду такого не видывала, — застенчиво вставляет словцо Антонида Богданова.

Склонившись над сусеком, Анна Михайловна, точно в зеркале, ясно видит свой широкий ровный участок. Острый рандаль сыновнего трактора вспашет землю с навозом и минеральными удобрениями. Звено соберет с участка все кочки, дерн, корневища и прикатает легким катком мягкую землю. Потом рядовая сеялка пройдет вдоль и поперек участка. Весело будет смотреть, как падают и зарываются в постельку семечки. Звено осторожно посыплет участок размельченным в порошок торфом. Пройдет дней пять, и на коричневом торфяном атласе проглянут зеленые усики.

— Вырастим лен почище прошлогоднего... Ну, Михайловны, за дело! — отрываясь от сусека, распорядилась Стукова. — Подсеять семена решетом и протравить. Денек у нас сегодня будет горячий.

День выпал действительно горячий, но совсем не такой, как ожидала Анна Михайловна. Возвращаясь с гумна, она встретилась с Николаем Семеновым.

— Весна-а! — возбужденно закричал он еще издали. — Держись, Михайловна, грачи прилетели.

— Держусь... Скажи, председатель, колокольня... в твоём распоряжении?

— Все, что находится на территории колхоза, в моем распоряжении, в том числе и ты, — пошутил Семенов, ощупывая карман ватного пиджака. — А что?

— Разрешу забраться... на колокольню.

— Это еще зачем?

— Голуби там, смотри! — заволновалась Анна Михайловна. — Вон сколько голубей. Очень хорошо... помет... на удобрения.

— А голову свернешь — кто в ответе?

— Да мне сыновья помогут.

— Мишка? Ну, тогда другое дело, — согласился Семенов. — Сыновья за тобой — и в огонь, и в воду.

— Завидно? — усмехнулась Анна Михайловна.

— Радостно... мать ты моя, радостно!

Семенов наклонился, раскинул длинные руки и крепко обнял ее.

— Пусти... Ишь тебя проняло... на старости лет! — вырвалась Анна Михайловна. — С ума спятил!

— Спятишь, коли вот такую телеграмму получишь. — Семенов вытащил из кармана мятую четвертушку бумаги и подул на нее, словно она жгла ему пальцы. — Читай... тебе она...

Анна Михайловна расправила телеграфный бланк, сердце учащенно забилось. Буквы прыгали в глазах, — телеграммы она прочесть не могла. Впрочем, в том не было надобности. Содрав с головы шапку, Семенов махал ею и гремел на всю улицу:

— В Москву тебя вызывают... совещание стахановцев-льноводов с правительством... завтра. Соберайся сей момент, в Москву поедешь.

— Батюшки, да как же я поеду так далеко одна? — не на шутку испугалась Анна Михайловна. — Да я, Коля, на машине-то дальше нашего города не ездила... и то с попутчиками. Заблужусь в Москве, как в лесу... Опять же сильвинит толочь надо.

Семенов и руками на нее замахал.

— Истолчем сильвинит и без тебя. Что выдумала! И в Москве тебя, честь по чести, на вокзале встретят, тут прописано в телеграмме — к дежурному обратиться... — Он помолчал, подумал и сказал значительно: — Может... Сталина увидишь.

— Сталина? — встрепелась Анна Михайловна и решилась: — Поеду.

ХІХ

Провожали ее всем колхозом. Заложили серого в яблоках жеребца в ковровые санки. Оделась Анна Михайловна в лучшее свое платье, шубу черную, романовскую на плечи накинула; повязалась теплой

шалью; прихватила деревянный баульчик с лепешками и полотенцем и уселась в санки. Отвезти ее на станцию взялся сам председатель колхоза. Сыновья застеснялись при народе, простились с матерью за руку, молча, как посторонние. Но заметила она горделивый блеск их глаз и не обиделась. По привычке перекрестилась на дальнюю дорогу.

— Счастливого пути, Анна Михайловна... Поприветствуй за нас правительство, — наперебой говорили колхозники на прощанье. — Сталина коли увидишь — поклон ему самый большой... В гости зови к нам! Скажи — одобряем мы его... Сталина, мол, народ одобряет.

— Скажу... передам... все скажу, — сказала Анна Михайловна, перевязывая шаль и волнуясь. — Катя, голубушка, селитру и сильвинит как истолчете, не забудьте просеять... Да пробу земли из района требуй.

— Все сделаем, будь спокойна, — отвечала Катерина, заботливо укутывая ей ноги попонкой.

— Трогай! — сказал Семенов и шевельнул вожжами.

Жеребец заплясал, рванулся, высоко и легко вскидывая коваными копытами, осыпал седоков ледяшками и пошел споро и широко перебирать тонкими литыми бабками.

— Леша! Слушай-ка! — закричала Анна Михайловна уже издали, перегнувшись через задок саней. — Забыла я... в печи простокваша с утра стоит... Вынь поскорей, творог крутой будет... Да Красотку-то не ленись, по три раза дой.

Она слышала в ответ смех, крики, но разобрать ничего не могла — жеребец понес, только держись на ухабах.

В полях еще лежал снег, чистый, синеватый, как сахар. Он подступал сугробами к самой шоссе. Но в канаве снег оседал, грязный, зернистый, и глубокие звериные следы, пересекавшие канаву, были полны тяжелой, ржавой воды. Далеко в лесу, на поляне, там, где она круто взбиралась в гору, среди белого моря чернели островки первых проталин.

Анна Михайловна размотала шаль и сняла варежки.

Сладко пахло сырым снегом. Голые руки слегка пригревало. И навстречу, с теплым южным ветром, в лицо летели снежные и ледяные брызги и тут же таяли. Одна такая крупная прозрачная капля, уцав, дрожала на рукаве Анны Михайловны, и она увидела в капле краешек голубого неба и золотую точку солнца. Она не шелохнулась, пока капля не пропала. Погладив рукав ладонью, вздохнула.

— Как-то они там без меня управятся?..

— Управятся, — сказал Семенов, сдерживая стремительный бег рысака. — Женка за коровой приглянет, я скажу.

— О доме я не сумлеваюсь.

— Ну, и в остальном положишься на меня.

В поезде Анна Михайловна устроилась превосходно. Нашлись и попутчики до Москвы, попили чайку, разговорились. Когда соседи по купе узнали, что она едет на правительственное совещание, живо отыскалась свободная нижняя лавочка, даже нашлась у одного военного лишняя подушка, и Анна Михайловна, попривыкнув к толчкам и стуку колес, вздремнула немножко.

Телеграмма не обманула. Утром в Москве действительно ожидал на вокзале дежурный из Наркомзема, суетливый очкастый человек в бекеше. Он вывел Анну Михайловну на площадь, и вежливый милиционер, в зеленом шлеме и белых перчатках, козыряя, посадил ее в автомобиль.

Оглушенная звонками трамваев, гудками автомобилей, треском мотоциклетов, ослепленная блеском вывесок, стекол и особенно внутренним убранством машины, в которой она сидела одна-одишешенька, Анна Михайловна не скоро пришла в себя. Отдышавшись, осторожно понюхала мягкое сиденье, потрогала металлические и зеркальные, как шары у ее кровати, ручки, какие-то кнопки. Потом заглянула в боковое стекло.

Казалось, машина не двигалась с места, а все кругом нее расступалось и торопливо пятилось: пятились

и пропадали за кузовом трамвая, пешеходы, автобусы, грузовики, пятились дома, магазины, киоски. Анна Михайловна помигала, тряхнула головой, и обман пропал — машина обгоняла все на своем пути, и улица, широкая, точно добрый загон в поле, разворачиваясь, убегала вперед, блестя мокрым асфальтом.

«Вот она, Москва-матушка... столица наша. Ширь какая! Домищи-то, крыш не видать... точно во сне», — думала Анна Михайловна, покачиваясь на подушках.

Ее поместили в гостинице, в просторной, с высоким потолком, комнате, с другой приехавшей колхозницей, круглолицей, в плюшевом пальто и в сиреновом вязаном берете. Они познакомились и пошли вместе завтракать в столовую. Соседка оказалась звеньевой из Смоленской области. Она рассказала, что они, делегаты Смоленской области, привезли в подарок Сталину альбом с образцами своего льна.

«Ишь догадливые, — позавидовала втайне Анна Михайловна. — У нас и не сообразили, простофили... А льны наши, поди, не хуже смоленских будут».

— Да увидим ли Сталина-то? — усомнилась она. — Человек он занятой, всем государством управляет...

— Беспременно увидим, — решительно сказала колхозница. — Какое же совещание без товарища Сталина!

XX

Совещание передовиков по льну и конопле с руководителями партии и правительства должно было открыться, как узнала Анна Михайловна, в зале заседаний Центрального Комитета ВКП(б).

Анна Михайловна многозначительно переглянулась со своей знакомой по гостинице. Сразу же после завтрака они попросили, чтобы их отвезли в Центральный Комитет. Откровенно говоря, они побаивались, что их не пустят, так как было еще очень рано. Но они не могли больше ждать и нетерпеливо предъявили свои пропуска у входа.

— Проходите, товарищи, — сказал им дежурный.

И в широко распахнутую дверь Анна Михайловна увидела, что огромный, залитый светом зал уже полон людьми.

С бьющимся сердцем присела Анна Михайловна на первый попавшийся стул. Она не знала, куда девать руки, как положить шаль. Ей было неловко сидеть на стуле, и она все поворачивалась, вставала и опять садилась. Она раскрыла блокнот, который ей дали в гостинице, и царапала карандашом бумагу. Показалось, что все видит ее волнение, не одобряют его, и она, притихнув, опустила глаза на плотную глянцевую бумагу блокнота. Левая нога у нее как-то подвернулась, одеревянела, но Анна Михайловна не решалась шевельнуться.

И, как всегда бывает, вдруг совсем внезапно раздались аплодисменты, приветственные возгласы, и люди в зале поднялись, как один человек. Анна Михайловна вскочила и чуть не упала. На левую ногу нельзя было ступить, так она затекла. Вцепившись обеими руками в спинку впереди стоящего стула, Анна Михайловна увидела — к столу президиума шла группа людей. И она отыскала в этой группе Сталина. Она выпустила спинку стула и, не обращая внимания на колющую боль в ноге, захлопала в ладоши.

— Родимый... родимый наш... — шептала она.

Сталин, Молотов, Калинин, Каганович, Орджоникидзе, Андреев заняли места в президиуме. Мокрыми, горячими глазами смотрела Анна Михайловна на Сталина. Она стояла от него далеко, и он казался ей таким же, как на портрете.

Не скоро удалось председательствующему восстановить тишину в зале, не сразу все уселись. Но когда эта тишина все-таки наступила, Анна Михайловна услышала, как Сталин, внимательно вглядываясь в сидящих в зале колхозников, сказал:

— Женщин мало.

Совещание началось. Колхозники и колхозницы поднимались на трибуну и загрохотали, как у себя в колхозе, беседовали со Сталиным, Калининным, Молотовым, делясь опытом своего стахановского

труда. Руководители партии и правительства подробно расспрашивали, интересовались каждой мелочью, точно сами хотели, выйдя из этого зала, пойти на поле и выращивать лен и коноплю. Анна Михайловна предположила: они хотели уяснить себе все секреты льноводства. Но по тому, как Сталин обстоятельно входил во все подробности дела, толкуя о посеве, терблении и обработке льна, она, дивясь, поняла, что он, пожалуй, знает по льну не меньше их всех, собравшихся здесь стахановцев, и только проверяет себя.

Однако было, очевидно, кое-что и новое для Сталина в речах колхозников: он не раз брал карандаш и что-то записывал на листочках бумаги.

С завистью смотрела Анна Михайловна, как выступавшие на трибуне колхозники и колхозницы, по окончании своих речей, заходили в президиум, пожимали руку Сталину и всем сидящим с ним. Как ей хотелось пожать ему руку! Но она не решалась попросить слова, хотя ей казалось, что она не потратила бы попусту ни одной минуты и рассказала бы Сталину по льноводству такое, чего он еще, вероятно, не знал.

Колхозница из Смоленской области подарила Сталину альбом, о котором говорила Анне Михайловне, и тоже пожала Сталину руку. Потом она долго разговаривала с Калининным.

В перерывы колхозники и колхозницы окружали Сталина, и он, беседуя, гулял с ними по коридору. Анна Михайловна подходила близко и всматривалась в Сталина. Он выглядел старше, чем на портретах, и не такой высокий и плотный. Скорее он был худощав и, вероятно, немного выше ее ростом. Все ей нравилось в нем: и его спокойная походка, и привычка изредка трогать усы, и приятная усмешка, и его тихий, ровный голос, и его манера, беседуя, подчеркивать важное. И, главное, ей понравилась простота, с которой он общался с людьми.

«Неужели все большие люди такие простые? — думала она и отвечала себе: — Да, наверное... и оттого они большие... и любят их оттого».

Сталина остановил старик в толстых роговых очках. На пушистой, белой, точно одуванчик, голове его была черная шапочка. Колхозники и колхозницы, окружавшие Сталина, потеснились, отошли немножко в сторону, чтобы не мешать. Близоруко шурясь и то и дело поправляя сползающие на нос очки, старик, спрашивая, чертил в воздухе рукой какие-то знаки и, видать, волновался. Сталин, выслушав, объяснял спокойно и тихо.

— Кто это? — шопотом спросила Анна Михайловна.

— Академик... мировой ученый, — так же шопотом ответили ей.

Она подвинулась ближе, чтобы послушать. Но они говорили о чем-то сложном, чего она не поняла. Она только видела, что старик вдруг перестал шуриться, улыбнулся, закивал черной шапочкой, очки у него свалились, он живо подхватил их и, промко благодаря Сталина, тряс его руку.

И все, что ранее заметила Анна Михайловна, глядя на Сталина, сейчас осветилось для нее новым светом.

«Вот он какой... отец наш великий», — подумала она, не сводя горячих глаз со Сталина.

Не раз замечала Анна Михайловна на себе внимательный взгляд Сталина. Может быть, и вероятнее всего, ей это только казалось, но она, робея, пряталась за колхозниц.

«Поговорю с ним... непременно... в следующий перерыв», — говорила она себе, но когда перерыв наступал, у нее не хватало смелости подойти к Сталину.

Ее рассмешил и порадовал седенький старикашка — опытник из Горьковской области. Он хорошо и весело рассказал, как работает его колхоз «Заря коммунизма» («Вонистну — заря, скоро солнце будет, пречудесно», — говорил он), и в конце речи, обернувшись к президиуму, неожиданно произнес:

— Тут вот что мне нужно: моя горьковская делегация желает... чтобы вы, товарищи Сталин, снялись с нами на карточке... с делегацией.

— Обязательно, — согласился Сталин, — обязательно снимемся мы все, с делегатами и с вами, горьковцами.

— Вопросов больше не имею, — старикашка поклонился, но, как и все, засеменял в президиум и пробыл там порядочно.

Старикашка этот, как заметила Анна Михайловна, прямо места не находил себе на совещании. В перерывы, бегая по коридору, он, заигрывая, все приставал к колхозницам, отводил в сторону то одну, то другую, горячо в чем-то убеждая.

— Ударяешь за ударницами? — посмеялись над ним. — Или — за трудоднями?

— Своих некуда девать, — торопливо ответил старикашка и, беспокойно поглаживая седые вислые усы, добавил: — Нуждаюсь в хорошем человеке.

— Бери на выбор. Здесь все хорошие.

— Такому орлу отказа не будет.

— Уверен, — старикашка важно приосанился и, подлетев к знакомой Анны Михайловны, смоленской колхознице, вкрадчиво спросил: — Вдова?

— Замужем, — сказала та, улыбаясь.

— Пречудесно, — обрадовался старикашка. — Мне замужнюю и надо.

Анна Михайловна пошутила:

— Отобьешь?

— Отобью, — раздул старикашка усы и продолжал деловито: — Ребят много?

— Да ты — серьезно? — отшатнулась колхозница.

— Сватаю. Очень серьезно... Могу удостоверение показать.

— С ума спятил! — сказала Анна Михайловна.

Старикашка жалобно вздохнул.

— Что поделаешь? Мне в колхоз возвращаться одному нельзя. Слово дал — привезу. — Он потянул колхозницу за собой, и Анна Михайловна слышала, как торопливо зашептал: — Дом новый, пречудесный. Корова припасена. С новотелу по двадцать литров дает... Овцы, поросенок... и тыщу трудодней в придачу... Идешь?

колхозница, возвращаясь к Анне Михайловне. — Не к лицу такие шутки старому.

— Ста-арый? — жених вытаращил глаза и от удивления даже руками всплеснул. — Клевета! Прошлый год капитально отремонтировали.

Анна Михайловна и знакомая ее невольно расхохотались.

— Отремонтировали? Те-бя?

Старикашка живо смекнул, какое произошло недоразумение, и рассмеялся громче их, показывая розовые, как у младенца, десны.

— Льнозавод! Льнозавод! — выкрикнул он сквозь смех. — Пречудесно! Сватаю директором.

— А я перепугалась, думала...

— Верное дело, соглашайся скорее, — перебил он колхозницу. И, совсем как сват, принялся расхваливать свой колхоз. — И мужу, и ребятам, как подрастут, должности хорошие дадим. У нас народу мало, а славы хоть отбавляй... Оттого и беда с льнозаводом приключилась. Выдвинули спервоначалу девчонку. А она — рекорд и в академию. Назначили парнишку, а он — два рекорда и комбинатом в Москве теперь заворачивает. Старуху нашли завалиющую. Радует: кончились наши муки, на сто лет директора хватит, никто не позарится... Куда там! Загремела, как молоденькая. Мигнуть не успели — в соседний колхоз пречудесно выскочила, бригадиром там... Всех здесь обславил. Занятой пошел народ. Одна надежда на тебя... По рукам?

— Спасибо, — поблагодарила смоленская колхозница. — Меня вчера в Тимирязевку приняли.

— Пречудесно... пречудесно, — забормотал старикашка и налетел на Анну Михайловну. — Стой, а ты?

— И не сватай, своим колхозом довольна, — сказала она, жалея веселого старикашку.

Он постоял, огорченно крутя головой и наглаживая вислые усы.

— Видать, судьба, Петрович. Не возвращаться тебе домой... Дорога заказана.

— Напротив, — **попробовала** ободрить смоленская колхозница. — Поезжайте и сами командуйте льно-заваемом.

— Откомандовал, — вздохнул старикашка.

Анна Михайловна понимающе усмехнулась:

— Рекорд?

— Три, — старикашка развел руками. — И сам не знаю, как получилось. Не хотел, а вышло... Теперь Михаил Иванович на службу к себе пригласил. Неудобно знакомому отказать, — горделиво объяснил он и засеменил прочь, сам с собой рассуждая: — Де-ла. Не минешь в район либо в область кланяться. Авось найдут человека, к которому наша слава не пристанет...

XXI

Ночью, в гостинице, Анна Михайловна долго не могла уснуть. В номере было непривычно светло от уличного освещения. Тревожили приглушенные звонки трамваев, редкие, но басистые гудки автомобилей и непонятные шорохи за стеной. Город, видать, никогда не спал по ночам весь, какая-то часть его бодрствовала.

Ворочаясь, Анна Михайловна заскрипела пружинной матраца.

— Не спишь? — окликнула ее смоленская знакомая.

Анна Михайловна вздохнула.

— Не спится.. Устала, а глаза не закрываются, хоть ниткой веки зашивай... Я все думаю, какая ты молодчина.

— Почему молодчина?

— По всему. Вот с речью выступила... как взавраваданный оратор... И со Сталиным разговаривала... А я — не смею.

— А ты поговори... Подойди и поговори.

— Ой, что ты! — Анна Михайловна испугалась и даже закрылась с головой одеялом. Потом высунула нос, подумала. — Мне слова не сказать. На работе я не уступлю, а на слово робкая... Да и о чем беседо-

вать — не знаю... Спи, спи, милая, беспокою я тебя своей болтовней... утро скоро, спи...

И она затихла, притворилась спящей и вскоре действительно уснула и спала так долго и крепко, что опоздала к завтраку.

В этот второй и последний день совещания Анна Михайловна видела, как распознает людей Сталин. На трибуне был директор треста по конопле, бритый, губастый и солидный мужчина. Дела у него в тресте, видать, шли неважно, но директор не хотел в этом признаться и, утирая платком красное потное лицо, захлебывался словами.

«Выкручиваешься, парень... Ну-ну, холку тебе сейчас натрут», — сказала себе Анна Михайловна.

— Этот прием для нас большое счастье, — тараторил директор, повышая голос до крика. — Это для нас колоссальная зарядка, и мы на долгие годы так себя зарядим, что еще не то сделаем.

— Зарядки много, а конопли мало, — сказал Сталин, и в зале вспыхнул и долго не смолкал смех.

Директор торопливо налил себе из графина стакан воды и, жадно проглотив ее, стал сбивчиво объяснять, почему трест работает плохо. Он, директор, принял меры, своевременно сигнализировал, но...

— Неудобно итти через голову... Наркомзема, — пробормотал он, заикаясь.

Сталин быстро повернулся к трибуне и вынул изо рта трубку.

— С каких это пор неудобно стало итти в Цека? — строго спросил он.

«Правильно, — мысленно одобрила Анна Михайловна Сталина. — Коли не ладится дело, иди и чисто-сердечно скажи, кто мешает... Может, ты сам себе мешаешь».

Выступали агрономы, специалисты из Всесоюзного научно-исследовательского института льна, и многое новое открылось Анне Михайловне. Она записала некоторые советы агрономов себе в блокнот и решила применить их на своем участке.

Совещание приближалось к концу. Был объявлен перерыв, и Анна Михайловна, идя по коридору со своей приятельницей, опять видела Сталина, окруженного колхозницами. Приятельница вдруг остановила ее и, решительно примяв обеими руками сиреневый берет, протолкалась к Сталину.

— Товарищ Сталин! — сказала она громко и замялась. — Вот тут моя знакомая... хочет с вами поговорить, а стесняется.

Сталин усмехнулся, все расступились, он подошел к Анне Михайловне и поздоровался.

Она смутилась, забыла, как его величают, оттого еще больше растерялась и долго держала его теплую ладонь в своей дрожащей руке. Спрашивая, откуда она, как ее зовут, что она делает в колхозе, Сталин пошел с Анной Михайловной по коридору.

Отвечая с запинкой, Анна Михайловна искоса, вблизи, взглянула на него, и первое, что ей приметилось, — была серебряная седина, тронувшая волосы у висков. «Седые волосы, как у меня», — подумалось ей. Это ей почему-то особенно понравилось, она вспомнила, как его величают, и неотрывно всматривалась в Сталина. Да, точно, он был немного выше ее ростом, выглядел худощавым и казался значительно старше, чем на портретах. «Парное молоко бы ему пить», — подумала она и невольно вспомнила, как Леша, муж ее, любил хлебать парное молоко с ржаными лепешками. Грустно и ласково улыбаясь, она продолжала разглядывать Сталина. Просторная, защитного цвета, тужурка удобно сидела на нем. Широкие, такого же цвета, как тужурка, брюки были по-крестьянски во-браны в хромовые, на спокойном каблуке, русские сапоги.

— Колхозники наказывали передать... что они одобряют вас, Иосиф Виссарионович... Народ одобряет.

— Спасибо, — просто сказал Сталин.

Потом Анна Михайловна рассказала о колхозе, о своем льне, который она вырастила, сняв по двенадцать центнеров волокна с гектара.

— Очень хорошо, — сказал Сталин. — И как это вам удалось?

Анна Михайловна усмехнулась:

— Глаза страшатся, а руки делают.

Сталин на миг задержался, взглянул на нее и с уважением пожал ей еще раз руку.

— Сколько вам лет, Анна Михайловна?

— Без двух шесть десятков. Будет летом.

Сталин покачал головой:

— Не переутомляйте себя. В вашем возрасте это вредно.

— А вам сколько лет, Иосиф Виссарионович? — спросила Анна Михайловна, шурясь.

Он усмехнулся, поняв ее хитрость:

— Без трех... шесть десятков. Будет зимой.

— А-а! Только на один год? Но ведь у меня, Иосиф Виссарионович, участочек два гектара, а у тебя... у вас — весь белый свет. Ровно бы тоже не след переутомляться... Вы бы к нам приехали... в колхоз... Эх, и молоко у нас парное!

Сталин рассмеялся и полез в карман за трубкой.

— Да его и у нас тут много... молока парного.

Они гуляли по коридору, и Анна Михайловна неторопко рассказывала. Прозвенел звонок, коридор опустел, а Сталин все слушал ее, вглядываясь через непритворенную дверь в зал.

— Двойня? — переспросил он, когда она заговорила о сыновьях. — Счастливица... И без отца воспитала?

Он одобрительно кивал головой, и, когда Анна Михайловна рассказала, как сыновья ее работают сейчас в колхозе, он вынул изо рта трубку и, поглаживая усы, улыбнулся:

— В мать пошли. Хорошая мать!

И тут Анна Михайловна дрогнула, затормозилась, заговорила, что вот не привезла ему, как другие, подарочка, а есть у нее заветный споник льна, малость powyше ее будет ростом.

— Подарочка? От вас, Анна Михайловна?.. Да вы мне такой подарочек привезли — лучшее и не надо, — остановил ее Сталин. — Ваши сыновья — вот подарок.

Он подвел ее к окну и, глядя куда-то вдаль, помолчал.

— А лен — это хорошо. Очень... — задумчиво сказал Сталин. — Но лен — что? Лен — дело наживное... Дети — вот главное... Они — наше будущее, наша надежда... Ради кого проливали кровь, умирали отцы и матери? Ради детей своих... Ради кого мы с вами живем, боремся, строим? Ради детей своих... Мы начали, они завершат наше дело, сменят нас, стариков, донесут наше знамя до победного конца... Не правда ли? Дети наши — счастье наше. — Он опять помолчал, потом шагнул и, став совсем близко, поднял правую руку и, вытянув указательный палец, как бы убеждая, сказал: — Берегите свое счастье, Анна Михайловна!

XXII

Вечером совещание закрылось, но участников его попросили не разъезжаться.

— Ты знаешь, почему? — шепнула на ухо Анне Михайловне колхозница из Смоленской области. — Нас орденами наградят. Мне Михаил Иванович сказал.

— Ежели всех награждать — орденов нехватит, — усмехнулась Анна Михайловна.

Они посетили мавзолей Ленина, осмотрели Кремль, музеи, побывали в театре и, разумеется, покатались на метро. Все было ново, интересно, особенно лестница, которая спускала и поднимала людей и вдруг из ступенчатой превращалась под ногами в бегущую дорожку и ставила человека на изразцовый пол. Хороши были музеи. В театре, как в жизни, горевали и радовались люди. Но ничто так не потрясло Анну Михайловну, как мавзолей Ленина.

Когда она увидела это величественное мраморное сооружение, часовых, неподвижно стоявших у входа, молчаливую очередь посетителей, у нее на глаза навернулись слезы.

Она ступила на порог мавзолея, и ее сразу окружила тишина. Анна Михайловна шла, затаив дыха-

ние, почти наощупь, держась за мраморную стену. Камень был гладкий, чуть влажный, как памятник на могиле под липами.

На возвышении, в стеклянном гробу, лежал Ленин. Он словно спал. У него был высокий ясный лоб. Тужурка на нем была простая, только не защитного цвета, а темнокоричневая.

Анна Михайловна медленно обошла гроб кругом, не сводя горячих глаз с Ленина. Перед ней была вечность. И она поклонилась этой вечности.

Выйдя из мавзолея и заметив, что некоторые посетители снова встают в очередь у входа, она поступила так же.

И весь остаток дня Анна Михайловна была тихая, неразговорчивая, отказалась идти в кино и рано легла спать. Ей приснилось, что она третий раз была у Ленина. Он попрежнему лежал в хрустальном гробу. Она поцеловала Ленина в лоб, и он открыл глаза, встал. Они долго гуляли по коридору и о чем-то хорошо разговаривали...

А утром семнадцатого марта, когда Анна Михайловна еще лежала в постели, вспоминая ускользнувшие подробности сна и дивясь на него, принесли газеты, и на первой странице крупными буквами было напечатано постановление правительства о награждении передовиков по льну и конопле. Анна Михайловна нашла в этом постановлении и свою фамилию.

В этот день она так расхрабрилась, что вышла на улицу одна, пошла толкаться по магазинам, накупила сыновьям и себе всякой всячины — и, возвращаясь в гостиницу, заплуталась. Недолго думая, она обратилась за помощью к первому милиционеру, стоявшему на перекрестке. Он указал ей дорогу.

Через два дня в Кремле, на заседании Президиума ЦИК СССР, Калинин вручил Анне Михайловне орден, пожал руку и поздравил. И на ордене, выпукло и незабываемо, как звезда на мраморном памятнике далекой могилы, сиял облик того, кому она поклонилась в мавзолее. Анна Михайловна не пожалела праздничного платя, булавкой проколола дырочку на шерстяной материи и вдела орден.

В конце заседания, после речи Калинина, в зал вошли Сталин и Молотов.

Когда все немножко успокоились, Анна Михайловна подошла к Сталину. Он узнал ее и поздоровался, как со старой знакомой.

— Вот... наградили...— сказала Анна Михайловна тихо.— А за что, и сама не знаю.

Сталин протянул руку и потрогал орден.

— За лен...— сказал Сталин, помолчал и, улыбувшись, добавил: — За сыновей, Анна Михайловна.

Анна Михайловна всхлипнула, сделала движение, чтобы обнять Сталина, и не решилась.

Потом пришел фотограф. Анна Михайловна пригласилась в четвертом ряду, стала на цыпочки и повыше подняла голову. Фотограф нацелился аппаратом...

— Пойдите,— сказал Сталин, отыскивал Анну Михайловну, посадил ее перед собой за стол, где уже сидели самые знатные колхозницы, а сам стал позади.

XXIII

Вернувшись из Москвы, Анна Михайловна заметила, что сыновья словно бы изменились. Они и не поздоровались толком с матерью, неловко, как от чужой, приняли подарки и молча, чинно, будто гости, расселись по лавкам. Михаил не спускал широко раскрытых глаз с ордена. Алексей, насупившись, поглядывал искоса в окно и грыз ногти.

— Ну, как тут дома, что?— спрашивала Анна Михайловна, прибирая шубу, баульчик, распаковывая свертки, немножко досадуя на сыновей и тревожась.— Как жили без меня? Здоровы?

— Ничего... здоровы,— в один голос ответили сыновья.

— Голодные без матери не сидели?

— Н-не-ет...

— Да что мямлите, ровно неживые. Набедокурили, так сказывайте! — прикрикнула мать, начиная сердиться.— Коровы как?

— По три раза доил... как вы... наказывали,— сказал, запинаясь, Алексей.

— С чего это ты завывал? — спросила, усмехаясь и добрея, мать.

Сын взглянул на нее, смутился, пробормотал что-то непонятное.

В избе было тепло, чисто прибрано. Пахло щами и табаком. Полосатые дерюжки аккуратно лежали на свежeweымытом желтом полу. Анна Михайловна с удовольствием прошлась по этим дорожкам, заглянула в спальню, мимоходом оправила пикейное покрывало на кровати, у печки погрела руки.

— Прозябла,— сказала она, кутаясь в шаль,— чайку бы... с московскими гостинцами. Или уже пили?

Михаил, ни слова не говоря, сорвался с лавки, кинулся на кухню и загремел самоварной трубой. Алексей, расставшись с окном, торопливо колот лучину.

— Где угли, Ленька? — шопотом спросил Михаил.

— В корчаге, под шестком,— так же шопотом ответил брат.

— Пойдите, я сама,— сказала Анна Михайловна, чему-то улыбаясь и засучивая рукава праздничного платья.

Но сыновья, точно не слышали матери, суетились на кухне и вроде бы не подпускали мать к самовару.

— Ну-ну,— оттолкнула она их от самовара,— это еще что такое?

И за чаем сыновья молчали, будто стеснялись матери. Они почти не притронулись к городскому угощению, сдержанно благодарили, когда Анна Михайловна предлагала отведать того и другого, старательно дули в блюдца на горячий чай, как маленькие ребята. Анну Михайловну все это вначале смешило, а потом рассердило.

— Что же вы не спросите ни о чем? — с досадой сказала, наконец, она. — Ведь не в лесу мать была, в Москве... Со Сталиным разговаривала.

Глаза у Михаила стали совсем круглыми. Он смотрел то на орден, то на рот матери, и блюдце прыгало в его руке. Алексей навалился на стол, по-

краснел и подвинулся к матери ближе. Он достал папиросу и никак не мог ее раскурить.

— Сталин про вас спрашивал,— добавила мать ласково.

— Да что ты? — воскликнул Михаил, вскакивая. Неловкость и сдержанность с него как рукой сняло. Он засмеялся, подмигнул брату... и вдруг опять при-смирел.— И про м-меня... спра-шивал? — заикаясь, выдавил он шопотом.

— И про тебя.

— А что... а что ты ему... сказала?

Алексей, обжигаясь папиросой, нетерпеливо потянул брата за рукав.

— Да не мешай, сядь. Рассказывай, мама, рассказывай!

И Анна Михайловна рассказывала, смотрела на сыновей и думала о том новом, что открылось ей в Москве. Она опять видела Сталина, слышала его голос: «Дети — вот главное... Дети наши — счастье наше...» Да ведь она всю жизнь только этим и жила, вырастила, воспитала красавцев-сыновей. Но одна ли воспитала?

Она подумала о том, что ей ведь помогали выходить этих двух парней. И Анне Михайловне захотелось отблагодарить добром за добро, но она не знала — каким. Все, что она делала для людей, для своей страны, было такое малое, обыкновенное, какое мог делать и делал каждый. А ей хотелось большего, отплатить радостью за радость...

«Старуха... где мне... Может быть, ребята мои со временем отблагодарят», — сказала она себе.

Самовар допел свою песенку и затих. Остыл чай в стаканах. Стало смеркаться, пора было управляться по хозяйству.

Анна Михайловна хотела подняться из-за стола, но сыновья не пустили, зажгли лампу и пристали к матери с новыми расспросами. Лица у них горели, они, сыновья, теперь не стеснялись и не робели перед матерью, и все это ей было приятно.

— Дай... посмотреть,— сказал Михаил, подсаживаясь к матери и осторожно прикасаясь к ордену.

Анна Михайловна сняла орден. Михаил бережно подержал на ладони, потом передал брату. А когда гот нагляделся, Михаил, подавая орден матери, шепнул:

— Ах, Михайловна, да какая же ты у нас... славная!

Алексей услышал и негромко рассмеялся:

— А ты и не знал?

— Поболтайте у меня,— смущенно оборвала мать, неловко двигая на столе посуду.

Михаил вертел орден в руках и нерешительно вдел в петлицу пиджака, подошел к зеркалу и, подняв голову, расправив широкие плечи, точно вырос. Опустив руки по швам, он стоял, тонкий и стройный. Мать видела, как он, строго сжав губы, косился на орден, потом лицо его дрогнуло, сморщилось от смеха.

Повернувшись, Михаил подлетел к брату, щелкнул каблуками.

— Позвольте познакомиться — Михаил Стуков, летчик.

— Будет тебе дурачиться,— хмурился и улыбался Алексей.

— Нет, ты скажи, идет ко мне орден? — пристал брат.— Правда, идет?

— Заработай, так и пойдет.

— Заработаю, братан, честное слово, заработаю. Мне бы только в летчики попасть...

— Ну-ка, летчик... подай мне полотенце, которым посуду вытирают,— приказала мать.

*

Несмотря на распутицу, Анне Михайловне пришлось много разъезжать по району, выступая на колхозных собраниях.

Все проводили, что она встречалась с самим Сталиным, и все хотели в точности знать, о чем она с ним разговаривала. Она рассказывала, как умела, иногда подмечая с горечью, что рассказывает плохо. У нее не было слов передать все, что она видела, слы-

шала и чувствовала. Шерстяное платье с орденом она спрятала в сундук и надевала его только по праздникам.

Долгое время Анна Михайловна не замечала перемены в своей избе. Только когда из Москвы, в розовом пакете, пришла карточка и Анна Михайловна, купив большую со стеклом рамку, вздумала повесить карточку в красный угол, она ахнула: там, где привычно висели иконы, курчавился рыжеватый мох.

— Это кто же вам позволил снять? — набросилась она на сыновей. — Кто хозяин в доме, а?

— Вона! — удивился Михаил, насвистывая. — Сама сняла, а нас ругаешь. Память теряете, Михайловна... Ну, а хотя бы и мы? Так ведь когда это было, еще в марте... За давностью времени не такие преступления прощают.

— Куда девали? — строго спросила мать.

— На чердаке.

— Сейчас же принести... сейчас же! — она застучала кулаком по столу.

Сыновья посмеялись и не послушались матери.

Тогда она сама слезила на чердак, принесла иконы. Хотела поставить их на прежнее место, но карточка так хорошо подошла в пустоту красного угла, словно нарочно это место для нее оставили.

— Ну, ладно, — сказала себе Анна Михайловна и повесила иконы на кухне.

XXIV

Прошло два года.

Много событий произошло за это время в колхозе. Катерина Шарова родила тройню — двух девочек и мальчика, и Костя, ошалелый от счастья, устроил пир на весь колхоз. Была на этом пиру и Анна Михайловна, она сидела рядом с Дарьей, и та пожаловалась ей тогда, что у нее сердце ровно бы останавливается.

— Как лягу спать, так оно и зачнет прыгать, — сказала Дарья шопотом. — Упадет, и нет его... Ах-

нешь со страху, вскочишь, оно и забьется, застучит шибко-шибко... Простойдет, задремлешь, а оно сызнова падает... Недолго мне, видать, жить осталось.

— Ну, полно,—успокоила Анна Михайловна.— Я послабже тебя, да о смерти не думаю. Теперь нам, Дарья, с тобой только жить да жить.

— Дочку замуж выдать охота,—грустно сказала Дарья.

— И выдашь, не сумлевайся. Мы еще с тобой не на одной свадьбе погуляем. Может, породнимся... Вот раскисла!.. Ну-ка, выпьем красненького за новорожденных.

Дарья чокнулась, выпила и словно повеселела немного. Рассказала, смеясь, как Строчи́ха, «ослепшая» с весны, летает на станцию, только молоко из бидонов плещется. На всю одворину огород развела, картошку, морковь и лук мешками в город таскает, а чуть на колхозную работу нарядят — палку в руки, по стенке пробирается, скажи, совсем слепая.

— Притворяется. Базар ей дороже колхоза,—заметила Анна Михайловна.— И чего правление смотрит?

Захмелев, они поругали правление, попели песен, а потом, прогнав Катерину к столу, к гостям, по очереди качали огромную плетеную люльку, в которой поперек, под голубым атласным одеялом, лежали тройняшки. Дарья больше не жаловалась, нянчила ребят дотемна, пока пировал народ, ушла от Шаровых последней и, как потом рассказывал Николай Семенов, захотела еще чаю. Он согрел самовар, Дарья напилась, вздумала писать письма дочерям и сыновьям, звать их на лето в деревню, три написала, а четвертое, сказала, утром допишет, что-то устала,—легла и не проснулась.

Семенов загрустил, как-то сразу ослаб, сторбился и попросил освободить его от обязанностей председателя колхоза. Он решил переехать жить в Ленинград, к старшей дочери, работавшей поваром в ресторане. Просьбу Семенова уважили. Он заколотил дом, попрощался и уехал, прожил в Ленинграде зиму, а весной неожиданно вернулся в колхоз.

— Сбежал... скучно без дела,— невесело объяснил он. — Спи, ешь и сызнова спи... Эдак подохнешь... на сегодняшний день. Займусь, по-стариковски, пчелками, они у вас тут, я вижу, без призора.

Но пчелок ему оказалось мало, через месяц он заведывал молочно-товарной фермой, а потом его выбрали председателем сельского совета. Работал Николай с жадностью, как прежде, хотя уже не гремел его голос, а голова совсем поседела.

Анна Михайловна почти не изменилась за эти два года. Маленькая, худощавая, живая, она легко несла свою старость.

Иногда на нее находило забытье. Оставив работу, она углублялась в себя, как бы созерцая что-то, видимое только ей одной. Часами она сидела на солнце не шелохнувшись. Приятно припекало голову, руки, спину; ветер гладил волосы. Ею овладевала сладкая истома, она закрывала глаза, хотя и не спала. На душе у нее было спокойно. Она ни о чем не думала, просто отдыхала. Она слышала мерное биение своего сердца, ровное, глубокое дыхание и, как бы отстранившись, даже видела всю себя, согретую солнцем, недвижимую, в мудром покое. Потом, встрепенувшись, она восклицала:

— Ах, батюшки, никак я чуток задремала? Вот чудеса!

Живо вскакивала, принималась за дело, и все кипело в ее руках.

Сыновья настаивали, чтоб она не работала в колхозе, отдыхала, но она и слушать про это не желала.

— Поработаю, пока силы есть. Еще посижусь и належусь, когда хворь подойдет... Слава тебе, здоровехонька я,— обычно отвечала она на сыновние уговоры.— Без дела я, ребята, заскучаю, как Семенов Коля... Что, хозяйки молодой захотелось? Вот я вас!

В середине августа, на колхозном собрании, в клубе, Анну Михайловну поздравили с шестидесятилетием. Новый председатель колхоза Костя Шаров, большой мастер на всякие торжества, преподнес ей целый веник цветов и живую индюшку, купленную в

птицесовхозе, а сыновья подарили дома кашемировую шаль и пальто на меху, за которым не поленились, украдкой от матери, съездить в город.

Она поворчала на сыновей, что больно много денег попусту извели, но подарки приняла и была ими обрадована. Вечерами, оставаясь в избе одна, Анна Михайловна зажигала лампу-«молнию» и примеряла пальто и шаль перед зеркалом, с нетерпением ожидая зимы, когда можно будет, нарядившись, пойти вместе с сыновьями в клуб, на люди.

XXV

В конце сентября произошло событие, которого мать с некоторых пор ждала с трепетом, мучилась, горевала и, главное, не знала, как ей поступить.

В тот день пал туман. Белый и плотный, как вата, окутал он село, схоронил поля, крутые увалы, речку, завесил, словно полотном, далекие леса.

Часу в шестом мгла поредела. Туман таял, и медленно, словно на фотопластинке, проявлялись предметы: вначале ближние — высокие избы, каменная двухэтажная школа с цветочными клумбами, лавочками и палисадом, мраморный памятник на площади, телеги у магазина, колодец; потом дальние — приземистая овчарня, литые, как из воска, скирды ржи и пшеницы, длинная из свежих, розоватых бревен конюшня, амбары и навесы с сельскохозяйственными машинами, церковь, и, наконец, отчетливо стали видны поля, привольно разбежавшиеся по увалам, огромные стога клевера, раскиданные там и сям, как шапки сказочных богатырей, крохотные шалашики льна, поднятого в низине со стллиц¹, березняк, калина и осинник на болоте.

Светлеела и раздвигалась молочно-голубая даль. Проглянуло позднее солнце. Вспыхнули пламенем гроздьи на рябине, и вся окрестность вдруг засверкала в лучах солнца золотом и багрянцем осени. В про-

¹ Стллице — луг, где стелют лен.

зрачном, потеплевшем воздухе пронеслась легкая заблудившаяся паутина.

И все ожило вокруг. Громко и весело загремела на току молотилка. Из соседних колхозов потянулись на станцию грузные возы с картофелем, льнотрестой, хлебом. Затрещали дрозды на огненной рябине. Точно седое облако, проплыло на выгон стадо романовских овец. Следом за ними черной тучей прошли коровы и нетели, предводительствуемые молчаливым быком Умником. Из конюшни вывели на прогулку коней. Гнедой поджарый жеребец Голубчик по обыкновению поднялся на дыбы, и конюх Петр Елисеев повис на узде.

— Ба-алуи! — сердито прикрикнул он, сдерживая жеребца.

Проводив за околицу корову и телку, Анна Михайловна пошла обратно, как всегда, гумнами, знакомой тропой. Она распахнула полушубок, приспустила на плечи теплый платок, так что обнажились волосы, поделенные прямым пробором на два тугих белых повесма, и шла, щуря глаза то на солнце, то на седую от росы тропу.

Из-за конюшни, приближаясь, донеслись смех и девичьи голоса. Идя навстречу этим голосам, Анна Михайловна невольно прислушивалась.

— А я и не скрываюсь, — звонко говорила Настя Семенова. — Люблю Мишку. Он такой смешной! С ним весело... Вот в армию пойдет — летчиком будет.

— Еще неизвестно, кто пойдет... Может, Леня — в танкисты. Да, да! — разговаривали и смеялись девушки.

— Анна Михайловна Леню больше любит. Дома оставит, — не сдавалась Настя.

— Кого любит, того и пошлет, — долетел тихий, обиженный голос, и Анна Михайловна нахмурилась.

— Оставит!

— Пошлет!

— Да тебе, Лизка, не все равно? А-а, попалась!.. Попрошу Анну Михайловну за Мишу, — проговорила Настя и торжествующе засмеялась.

— Ты мне больше не друг.

— Пожалуйста!

— Тихо, снохи, свекровь слышит! — зашикали девушки.

Они почтительно уступили дорогу и хором поздоровались. И, как всегда, как-то по-особенному выделился приятный голос звеньевой. Стройная, несмотря на свой небольшой рост, чисто одетая, Настя прямо и весело смотрела в глаза Анне Михайловне, и та наособицу ласково кивнула ей, по обыкновению подумав, что вот и она сама в молодости была такая же хлопотунья, круглая и опрятная, и что у Мишки губа — не дура, ладная из них выйдет пара.

— Погляди, Анна Михайловна, кажется, улежался лен. Поднимать идем. — Настя проворно вынула маленькой загорелой рукой из-за пазухи пучок тресты. — Хоть и звеньевая, а никак не привыкну соломку на глаз определять, — призналась она.

— Ну, хитрость не большая.

Очень довольная, что Настя обратилась за советом к ней, старой и опытной мастерице льна, Анна Михайловна медленно отделила от пучка несколько светлорыжих длинных стеблей, помяла их пальцами, осторожно и тщательно сдула с ладони костру, и тончайшие золотистые нити мягкими кудрями опутали ее натруженную, в узловатых синих венах, руку.

— Как пух... Вот он, миленочек! — воскликнула Настя, заглядывая в руки Анне Михайловне.

Девушки обступили Анну Михайловну, радостно разглядывая шелковую паутину волокна, будто сроду его не видывали. Конечно, они хитрили, воструши, поди, раз десять украдкой делали эту немудрую пробу, и вовсе не нужен им был сейчас совет старухи, просто хотелось немножко похвастаться перед матерью двоих сыновей. Анне Михайловне и это было приятно, она понимала девчат.

— Ой, волокнистый!

— Восемнадцатым номером пойдет.

— Сказа-ала! Двадцать четвертым, — цобетали девушки, толкаясь.

Одна Лизутка Гуцина не трогалась с места. Вы-

— Солнце, ровно летом... а сыро, — пробормотала Анна Михайловна.

Обернулась, скользнула взглядом по взволнованному лицу Насти; опять ей приметилась неподвижная, побледневшая Лизутка Гущина. Она просяще и диковато смотрела на Анну Михайловну, первый раз так смотрела, даже сделала к ней два порывистых, неловких шага и вдруг, заплакав и круто изменив путь, побежала догонять подруг.

Анна Михайловна пожевала сухими, горькими губами.

— Иди-ка ты, Настя, лен поднимать... и не бреди мое сердце.

— Я хотела только насчет Миши... Уж вы, пожалуйста... пусть Леня остается дома... и воды принесу, и пол вымою...

— Иди, иди, — сурово приказала Анна Михайловна.

Настя повиновалась, ушла.

А сердце так и осталось разбереженным.

XXVI

То, чем жила Анна Михайловна эти последние дни, о чем думала и не могла всего передумать ночами, что огорчало и радовало и, главное, было нерешенным, — все это стало перед ней сизнова.

Сыновья призывались в Красную Армию. Одному из них полагалась льгота — оставаться дома с матерью. Сыновья втихомолку спорили промеж себя: и тот и другой не хотели оставаться дома. И, вероятно, в колхозе все это знали.

Анне Михайловне было жалко и странно расставаться с сыновьями. Она боялась одиночества, боялась, что сыновья уйдут и не вернутся, как муж. Вон, слышно, японцы войной лезли, озеро какое-то русское хотели забрать. Для того ли она поила, кормила сыновей, почей не спала, во всем себе отказывала, даже в куске хлеба, чтобы вырастить их и, не подлюбовавшись досыта, расстаться с ними, а может быть и потерять?

Все ее материнское существо протестовало против этого. Она видела перед собой дорожную руку, указательный палец предостерегающе протягивался к ней. «Берегите свое счастье, Анна Михайловна!» — слышала она тихий, запомнившийся на всю жизнь голос.

— Беречь? Как же его беречь... счастье? — шептала она, бредя к дому с опущенной головой и спотыкаясь. — Научи меня, подскажи... как? Ведь уйдут и не вернутся...

«А может, вернутся?» — первый раз иначе подумала она и даже остановилась, пораженная этой простой мыслью.

Анна Михайловна подняла голову и удивилась, — оказывается, она давным-давно стоит у дома. И, как всегда, дом порадовал ее. С изумлением она покачала головой: «Экий дворец сгрохали... подумать только!»

Высокий, в четыре окна по фасаду, со светелкой и резными крашеными наличниками, дом был окружен кустами черной смородины, малины, крыжовника. За этим живым палисадом, у крыльца, голубел тополь, обронив на землю тяжелые червонные листья. Сучья его были голы, и только на самой вершине трепетали, слабо звеня, точно жалуясь на помеху, маленькие легкие листики. Набежал ветер, гибко склонилась вершина тополя, листья оторвались и, подхваченные порывом, точно играя и догоняя друг дружку, как желтые бабочки, полетели через дорогу, на гумно. Тополь махал им вслед сучьями, словно прощаясь и говоря: «До весны!..»

Анна Михайловна проследила за полетом листьев, пока они не скрылись из глаз, глянула на тополь, и ей стало стыдно за свой страх.

Да, сыновья должны покинуть мать, чтобы сохранить ее настоящее и их будущее счастье. Они взрослые, ловкие, сильные — что им делается? И, как всегда, она почувствовала горделивую материнскую радость за сыновей.

«Кого же отпустить... чтобы не обидеть... Мишу или Леню? — задумалась Анна Михайловна. — Поймай, да ведь они оба хотят идти», — с болью сказала

она себе, вспомнив, что они потихоньку спорят, не желая с ней посоветоваться.

Она горько поджала губы. Выходило — стала мать-старуха родным сыновьям поперек пути. И она опять не знала, что ей делать.

Поднимаясь на крыльцо по широким сосновым ступеням, Анна Михайловна запнулась за половику и чуть не упала. Должно быть, сыновья, возвращаясь ночью с гулянки, впотьмах загнули каблуками половику и не поправили.

— Все ноги обломаешь, пока доберешься... — проворчала она.

И не мил ей показался этот большой, желанный дом; не мило крыльцо, вместимостью со старую избу, общитое тесом; не мила крашенная дверь, которая вела в сени, заставленные ларями, ящиками, корзинами, мешками, столь приятными каждой хозяйке.

«Глазыньки бы мои ни на что не глядели...» — думала Анна Михайловна, входя в избу.

В прихожей посредине пола лежал баян. К нему прислонились хромовые сапоги с комьями бурой застывшей грязи на голенищах. Из-под обеденного стола выглядывали такой же чистоты штиблеты. Кожаная куртка и драповое пальто были брошены на лавку.

Анна Михайловна пнула ногой баян.

«Умереть бы в одночасье... развязать их...»

Она прошла к печи и ожесточенно рванула заслон. Гром прокатился по кухне.

А к заслону был прилеплен мякишем хлеба лист бумаги. Осыпавшимся углем выведено крупно, попечатному:

МИХАЙЛОВНА!

РАЗБУДИ НАС РОВНО В ВОСЕМЬ!!

Она еще сердилась, хмурила строгие седые брови, но губы ее, добрые материнские губы, стянутые в узелок морщины, против воли развязались в улыбку.

«Ох, уж мне этот Минька... постоянно чудит. Тоже выдумал... почту».

Она взглянула на часы (было пол-седьмого) и заторопилась. Стуная тихо и двигая осторожно посу-

дой, чтобы не разбудить сыновей, спавших в прирубе, Анна Михайловна живо затопила печь, замесила на пахтанье пресное пшеничное тесто, накатала из него тонких сдобных лепешек, намяла целое блюдо творогу с яйцами и сахаром, принесла густой, как масло, сметаны. Потом слазила в погреб за картофелем, луком и бараниной, приготовила суп и жаркое. Когда печь растопилась, Анна Михайловна накалила сковородку, облила ее шипящим маслом и шлепнула туда первую лепешку с горой творога и сметаны.

Ее проворные, охочие до труда руки делали все это, привычное, размеренно и споро. Она погрузилась в работу, чтобы не думать. И не могла. Все делалось будто само собой. И сами собой тянулись грустные думы.

Ей вспомнился последний разговор с Семеновым. Она пожаловалась, что грустно ей что-то в последние дни, плакать хочется.

— Не решила? — тихо, понимающе спросил Николай Иванович. — Надо решать, Михайловна, надо.

— Не могу... Коля, милый, не могу, — сказала она тогда. — Отпустишь одного — другого обидишь... На всю жизнь. Обоих люблю, обоих жалко... Остаться одной? Страшно... Новый-то дом могилой покажется.

— Жени... Алексея на сегодняшний день, — задумчиво предложил Николай.

Анну Михайловну так и передернуло.

— Да знаешь ли, с кем он хороводится?.. Отец — пройдоха ласковая. Что он в колхозе натворил, забыл? Отсидится в тюрьме, ну как сюда пожалует... Сва-ат! Избави бог!

Семенов помолчал, покашливая.

— Дочь за отца не ответчица. Сталин сказал.

— Знаю, Коля, знаю, — горячо и сердито сказала она. — Не лежит мое сердце, и все тут... Вот Настя твоя — по душе, скажу прямо, — добавила она, усмехаясь и чувствуя, как на сердце отлегают. — Точно я сама в молодости... Видать, породнимся.

— Мы и так родные, — сказал Семенов.

«Верно, — думала сейчас Анна Михайловна. — Вся моя жизнь, как не стало Лещи, с Семеновым прошла.

Сколько пережито... А такого вот не бывало... Что же делать мне, господи?!»

Все кругом говорило о сыновьях. Анна Михайловна брала скалку, и память подсказывала — скалку делал Ленья, приметив, что старая плохо раскатывает тесто. Он строгал скалку целый вечер, шлифовал стеклом и обрезал палец. Она, мать, бранила его, а сын, как всегда, усердно точил и скоблил, пока березовый кругляш не превратился в настоящую, словно купленную на ярмарке, скалку. Вот и полочка на кухне сделана его руками. А помойное ведро выкрасил Миша зеленой масляной краской. И кто же, как не баловник Мишка, закрутил эту новенькую алюминиевую ложку штопором. Вот у тарелки с розовой каемочкой Ленья ненароком край отбил...

Все эти знаки сыновней заботы и баловства трогали ее и мучали.

И снова закипело ее сердце.

Хоть бы одно слово сказали: дескать, посоветуй, мама, как быть. Так нет, молчат при ней, притворяются, а тайком грызутся, разве она не видит?.. Да, может, она и посоветовала бы, может, и спору никакого не было бы...

Часы пробили восемь. Анна Михайловна подсыпала в самовар горячих углей. Наскоро прибралась в избе и пошла будить сыновей.

В прирубе стоял холодный полумрак. Свет робко пробивался в щели ставня. Белесые прутики света лежали на полу, точно оброненные из веника.

Сыновья спали крепко. Ватное одеяло они сбили в ноги и, жаркие, молодые, в одинаковых оранжевых майках и синих трусах, не чувствовали холода. Каменной глыбой возвышался на кровати Алексей. Он лежал на боку, лицом к краю, обняв могучей рукой изголовье. Русский вихор свисал ему на щеку. Михаил, прижатый к стенке, спал на животе, зарыв кудрявую голову в подушку.

Затаив дыхание, Анна Михайловна долго стояла у кровати. И видела она темный чулац, скрипучие козелки и доски и себя, вот так же разметавшуюся у стенки, и мужа, спавшего на боку. Русский мягкий ви-

хор, отлетев, щекотал ей щеку. И еще мнилась зыбка и в ней два горластых человечка. Неужели это они, крохотные, беззащитные, нахрапывают сейчас и полуторная кровать мала им? Неужели им принадлежат эти добрые, как бугры, плечи и груди, эти мускулистые ноги, эти ладони широченные, словно лопух? Да когда же они выросли? Кто выкормил их, таких богатырей?

Она застенчиво оглядела себя, маленькую, высохшую. И как-то в первый раз по-настоящему поняла свое счастье.

— Ребята, — тихо позвала Анна Михайловна. — Вставайте... пора.

— Встаю, — пробормотал Алексей. — Сейчас встаю... — Повернулся на спину и захрапел.

Анна Михайловна присела на краешек постели, бережно оправила простыню. Она смотрела на свое счастье и не могла досыта насмотреться. Счастье ее было не в том, что она жила богато, в новой избе (на то и колхоз, так живут все, кто честно трудится); счастье ее, матери, было в том, что она вырастила этих двух парней и, повторяя ее и мужа, сыновья продолжали их жизнь. И не гуменная тропа пролегла в жизни для ее сыновей, пролегла большая дорога, прямая, светлая.

Может быть, она, мать, скоро умрет, ей не страшно потому, что будут жить ее сыновья; будут жить и глядеть на мир ее глазами, радоваться ее сердцем, кипеть ее кровью... Так могла ли она, мать, стать сама себе поперек дороги?

Ей показалось — она нашла ответ на вопрос, который ее мучил.

И тут же заколебалась. Смешанное чувство гордости и обиды опять охватило ее.

— Да встанете ли вы, лежебоки? Вот я вас!.. — закричала сердито Анна Михайловна, стаскивая одеяло.

— А лепешек напекла? — спросил Михаил ясным голосом, точно он и не спал.

— Раскрывай рот шире.

— Есть раскрыть рот шире... По-одье-ом! — гаркнул он в ухо брату, как мячик перелетая через него,

и, коренастый крепыш, вытянулся перед матерью: — Товарищ командир, разрешите доложить... за время моего сна никаких происшествий не случилось.

— Отстань, артист! — отмахнулась Анна Михайловна.

Алексей, поднявшись, открыл одной рукой тяжелый ставень, распахнул окно. Свет хлынул в прируб. От полу до потолка вырос и закружился пыльный солнечный столбик. В углу вспыхнули зеркальные крылья велосипедов, и зайчики метнулись от них и запрыгали на стене. Из окна видно было, как за шоссе дорожкой расстилались поля. Поднятая зябь дымила паром, блестела на солнце зелень молодых озимей. Поля убегали к лесу, и на желто-оранжево-багряной кайме его могуче и сурово проступали темные, почти синие, купола елок и сосен.

— Погодка... Только зябь и пахать, — прогудел Алексей, сгибая спину и по пояс высовываясь в окно.

— Спи больше, зябь-то и вспашется, — насмешливо отозвалась мать, прибирая постель.

— Отчего же не поспать? Поспать можно... ежели план выполнен, — сказал Алексей, взглянув на распахнутое приволье зяби. Он выпрямился, потянулся, и что-то сочно хрустнуло у него в суставах. — В колхозе «Завет Ильича» просили подсобить. Кажется, не успею.

— Не горюй, братан, — подскочив, Михаил шлепнул его ладошкой по коричневому плечу. — Зябь—не Лиза, от тебя не убежит. На будущий год досыта напашешься.

— Кто знает...

— Я знаю.

— Да ну?

Они взглянули друг другу в глаза и рассмеялись.

XXVII

В трусах и майках сыновья пошли на улицу. Анна Михайловна видела из распахнутого окна, как Михаил притаился из колодца студеной воды.

— Прикажете освежить? Тройным или цветочным?—вкрадчиво спросил Михаил и выплеснул ковш брату на голову.

— Мишка, не балуй! — сказал Алексей, жмурясь и фыркая мыльной пеной. — Лей на ладони.

— Слушаюсь.

Ледяная вода окатила Алексею спину.

— Мишка, хватит!

— Ну, хватит так хватит, — покорно согласился Михаил и, почерпнув полный ковш, плеснул брату на лицо и грудь.

Алексей сграбастал брата, не торопясь пригнул к земле и так же медленно и старательно, точно выполняя серьезное дело, облил из ведра.

— Бр-рр... — Михаил приплясывал в луже. — Чорт медвежий... я тебя ковшом, а ты — из ведра! Воспаление легких можно заработать! Или тебе это на руку?

— Ну еще бы! — усмехнулся Алексей и стал серьезным.

Вытирая мохнатым полотенцем короткую красную шею, он исподлобья взглянул на брата.

— Миша, последний раз прошу... уступи...—глухо проговорил он.

Михаил молчал... Легкая, зыбкая тень набежала на его мокрое подвижное лицо. Он потрянул кудрявой головой, морщась, провел по лицу тыльной стороной ладони, будто стирая эту тень, улыбнулся и снова вошел в привычную для себя роль.

— Уступи...— просяще и ласково повторил брат.

— Пожалуйста, пожалуйста! — Михаил расшаркнулся, освобождая дорогу к крыльцу. — Семафор открыт, путь к лепешкам свободен.

— Не треплись! — сказал Алексей. На его бронзовом нахмуренном лице медленно проступали багряные пятна. — Ты знаешь, о чем я говорю...

— Говорила, говорила—не люби меня Гаврила...—запел Михаил, не слушая.

Он круто повернулся и, оставляя на ступенях мокрые следы подошв, вбежал на крыльцо. Анна Михай-

ловна поспешно отошла от окна. Сын еще в сенях закричал ей:

— Михайловна, поторапливайся... Нас ждет военком. Эх, буду летчиком — прокачу тебя до самого поднебесья!

Когда сыновья завтракали, пришел Николай Семенов. Анна Михайловна посадила его за стол и вспомнила, что не кормила еще нынче цыплят. Она налила в корытце простокваши, намочила хлеба, вышла и покликнула цыплят к крыльцу. Цыплята сбежались пестрой кучей, набросились на корм.

Анна Михайловна взяла хворостину и караулила корм от прожорливых кур и забияки-петуха. Окно в горнице попрежнему было открыто, и она слышала все, что делалось в избе.

— Дай-ка я вас освидетельствую, — шутливо говорил Семенов, поворачиваясь на стуле. — Глаз у меня боевой, командирский, скажу — не ошибусь... как в военкомате. Ну, Алексей Алексеевич, становись передо мной во фрунт и не моги дышать. Брюхо не выпячивай... Силен, брат, силен, ничего не скажешь... Годен! В танковую часть, как тракторный специалист.

— А я? — спросил Михаил.

— Ростом маловат. Гм... Стой на ногах крепче! Во флот таких берут.

— В морской или воздушный, товарищ военком?

— А тебе в какой бы хотелось?

— У меня желание... А в оба нельзя зараз, товарищ военком? — дурачился Михаил.

— К сожалению, нельзя, товарищ призывник, — серьезно сказал Семенов, покашливая.

— Разрешите тогда быть летчиком?

— Разрешаю... — Он помолчал, вздохнул. — Да, ребята, шутки шутками, а все-таки как же вы порешили?

— Насчет чего? — спросил Алексей.

— Насчет льготы. Кто с матерью дома останется?

У Анны Михайловны выпала хворостинка из рук. Куры и петух, выглядывавшие из-за крыльца, воспользовались этим и, разогнав цыплят, принялись хозяйничать у корыта.

— Ленька! — быстро и решительно говорил в избе Михаил. — Его Михайловна больше любит, лепешки наособицу печет.

— С чем же она ему печет наособицу? — рассмеялся тихо Семенов.

— С творогом, дядя Коля. Вон она, улика-то, перед тобой на тарелке. Гляди, сметаны сколько... А мне завсегда только помажет, честное слово!

— Ври больше, — сказал Алексей. — И сегодня ты один всю сметану съел.

— Опять же я на баяне играю, — продолжал Михаил. — Двойную нагрузку могу в армии нести.

— Зато я тракторист, не какой-нибудь счетоводишка, — напомнил Алексей, посапывая.

— Дылда ты, а потом уже и тракторист! — закричал сердито Михаил. — На тебя и шинель-то ни одна не влезет, по швам треснет. На заказ надо шить, лишний расход государству.

Разговор в избе затих. Слышно было, как Алексей грузно прошелся по горнице, половицы гудели под его каблуками.

— Уступи, Леша... — чуть слышно сказал Михаил дрожащим, не своим голосом.

— Не могу, братейник.

— Жребий! — запальчиво закричал Михаил. — Счастье мне еще не изменяло... — Он затопал на кухню, должно быть за спичками. Крикнул оттуда: — Дядя Коля, будь свидетелем!

— Что ж, жребий так жребий, — глухо согласился Алексей. — Лучше здесь порешить, чем в военкомате на чужих людях спорить. Давай... только, чур, без плутовства.

Опять наступила в избе тишина. Анна Михайловна заметила, что куры отогнали цыплят от корыта. Она поднялась, хотела махнуть на кур и села, не шевельнув рукой.

— Длинная спичка — итти, короткая — дома оставаться, — послышался снова нетерпеливый голос Михаила. — Тащи, братан... Ловкость рук и никакого мошенства... Да тащи же, не тяни за душу!

— Постойте, ребята, — сказал Семенов, и голос

его загремел, как в былые времена. — Стоп! Дело не шуточное... не со спичкой матери жить придется, а с кем-то из вас... Ну вот, пусть Михайловна и рассудит сама: с кем ей любее дома остаться.

Анна Михайловна не могла больше вытерпеть, она порывисто вскочила, вытерла фартуком сухие, горящие глаза. В скорбный и строгий узелок завязались губы. Она вошла в избу, суровая и спокойная. Только левая бровь дергалась у нее, колючая и ласковая материнская бровь.

Сыновья догадались, что мать все слышала. Они посмотрели на Семенова, который, сторбившись, сидел за столом. Семенов кивнул головой. Не глядя на мать, Алексей глуховато пробормотал:

— Вот дядя Коля... посоветовал... Тебе, мама, жить, тебе и решать... Который — скажешь, тот и останется.

Анна Михайловна усмехнулась:

— Справедливый человек дядя Коля. Что ж вы сами... головешками своими не могли до этого додуматься?

— Мамка, не мучь! — закричал Михаил, оттягивая крахмальный воротничок, душивший его.

— Сами вы себя мучили... да и меня заодно.

Она пристально посмотрела в глаза сыновьям, и они потупились. Алексей крутил пуговицу на кожанке, пуговица висела на ниточке, но еще держалась.

— Оставь в покое пуговицу, — приказала мать. — некогда мне сегодня пришивать.

Сын покорно опустил руку. Михаил уловил сердитые нотки в голосе матери, покосился на брата и улыбнулся глупой и счастливой улыбкой.

— Идите оба, — просто сказала мать и пошла на кухню мыть посуду.

Михаил изумленно вытаращил глаза, застыл на месте, потом догнал мать, обнял за плечи и поцеловал в морщинистую шею.

— Вот здорово, вот это здорово! — приговаривал он, приплясывая. — Лешка, кланяйся Михайловне в ноги!

— Поклонится он, держи карман, — проворчала

мать, доставая из печурки мочалку и мыло. И в тот же миг она почувствовала на щеке тяжелый поцелуй Алексея.

— Спасибо, мама, — сдержанно сказал сын.

Ей хотелось плакать, обнять сыновей, прижать к груди и не отпускать. Но в руках у нее была мочалка, вода стыла в тазу, и она рассердилась.

— Да не мешайте вы посуду мыть... Мне еще переодеться надо. В этом, что ли, платье я вас провожать пойду?

— Ну, Михайловна, — сказал Семенов, появляясь на кухне. — Притти в себя не могу... Вот оно, сердце материнское... нет его добрее на свете! — Он всхлинул, полез в карман за платком и усталым, сконфуженным голосом забормотал: — Вот и разревелся... Старик, совсем старик... Да, что я хотел сказать? — Он помолчал и, сквозь слезы озоровато взглянув на ребят, вдруг рявкнул на всю избу: — Смирр-на-а!

Михаил и Алексей, вздрогнув, вытянулись перед ним.

— Отставить! — строго приказал Семенов. — Животик... головка... ножки, — важно бормотал он, требуя воинской выправки.

Потом торжественным шагом прошел мимо, и ребята, кусая губы от смеха, проводили его радостными глазами. У порога Семенов обернулся и, не сдержавшись, засмеялся. Михаил и Алексей вторили. Слабо улыбнулась и Анна Михайловна.

XXVIII

В любимом шерстяном платье провожала Анна Михайловна сыновей. Они вывели из прируба велосипеды и катили их рядом с собой.

Молча усадьбой пошли они на шоссе. Отава на усадьбе была густая, хоть второй раз коси. Запоздало цвели одуванчики.

Канава у шоссе была полна воды. Сыновья перенесли на дорогу велосипеды и вернулись к матери.

— Вашу ручку, Михайловна! — пошутил Михаил, помогая перескочить через канаву.

Анна Михайловна не рассчитала и оступилась. Алексей подхватил ее и на руках вынес на дорогу.

Не говоря ни слова, мать оправила платье, сыновья, придерживая велосипеды, стали один по правую, другой по левую руку матери, и так, втроем, словно гуляя, они медленно пошли селом.

В избах еще кое-где семьями пили чай, завтракали. Окна были открыты, и говор затихал, когда они проходили мимо. Бабы, отодвигая плюшки с цветами, высовывались из окон и кланялись Анне Михайловне. Они не останавливали ее, не заговаривали, как всегда, потому что понимали, что этого делать сейчас нельзя. Иные выходили на крыльцо и подолгу провожали взглядом.

За околицей Анна Михайловна остановилась. Прямая широкая дорога уходила вдаль и пропадала за нарядной бахромой осеннего леса, там, где небо соприкасалось с землей.

— Ну... — сказала Анна Михайловна.

— Ну... — сказали сыновья, избегая глядеть на мать.

Они боялись прощанья, слез, поцелуев. Но мать не плакала и не прощалась. Они вскочили на велосипеды и, пригнувшись, нажали на педали.

Скоро мать уже не могла различить, который из них Алексей, который Михаил. Слезы застилали ей глаза. Она прижала ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть, и долго следила за сыновьями. Вот они слились в черное, стремительно летящее пятно, и что-то сверкнуло в нем. Должно быть, задние крылья велосипедов блеснули на солнце. Серебряный зайчик скакал по дороге, потом и он пропал.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	85
Часть третья	187

ЦЕНА 5 руб. 50 коп.
по прейскуранту 1952 г.

Редактор Л. Левин

★

Художник В. Никифоров

Худ. редактор И. Николаевцев

Тех. редактор Н. Греймер

Корректор Е. Краснюк

☆

А 09414. Сдано в наб. 31/X-51 г. Подп. к печ. 19/XII-51 г.
Бум. л. 5,0=печ. л. 16,40. Авт. л. 14,81. Уч.изд. л. 15,02.
Тираж 75 000 экз. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Заказ 2100.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся
СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва.
Пушкинская пл., 5.

★

Цена 6 р. 50 к.